



БОРИС
КРЯЧКО

*ПИСЬМА
К
ИНГРИД*

**БОРИС
КРЯЧКО**

ПИСЬМА К ИНГРИД

Эпистолярный роман

**БУХАРА
МИНАРЕТ КАЛЯН**

Рассказы

**ЭКСКУРСИЯ
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
ДИВЕРСАНТЫ**

Повести

**VE
ТАЛЛИНН
2006**

Борис Крячко
Письма к Ингрид

Литературный редактор-составитель
Людмила Глушковская

Технический редактор-оформитель
Олег Костанди

Корректор
Алла МалOVERьян

Благодарим
за финансовую поддержку
Фонд Eesti Kultuurkapital

Подлинные, “живые” письма Бориса Крячко (1930-1998) совершенно естественно сложились в роман о любви. В то же время “Письма к Ингрид” - откровенный, открытый дневник семидесятых-девяностых годов XX века, документ эпохи. В книгу вошли также рассказы и повести Б.Ю. Крячко, воспоминания о нем.

ISBN 978-9949-13-831-9
ISBN 9949-13-831-0

- © Eesti Kultuurikeskus Vene Entsüklopeedia -
Эстонский культурный центр “Русская энциклопедия”
- © Журнал “Вышгород” (Таллинн)
- © Ингрид Майдре, наследники
- © Людмила Глушковская, составление и подготовка текста,
литературное редактирование, примечания.

I

вместе уш с изамашильнич, но со вьбара
 камовиньт вассинадуаньбо стьмешня, когда
 Екатерина II разогнала Запорожскую Сечь и
 переселила этих Белокошачь хохлов на
 северной Кавказ, чтобы они там бесшайтно
 черкесов и джигешанцев ослывали. Я еще
 шимно хуек пелин, которую распеваи мий
 гуд в подштити

Ой, спасибо тий царь
 Ушо взимла на

Уадо тебе



апуш
 той
 сеоси
 мось
 я те
 то с
 по шур
 тогда,

шья мой,
 по одна
 поградов
 шисова-
 шна,
 да и
 шшо
 шресно,

Кривошубов, 50-лет я,
 Кривошубов, ший шис,
 Кривошубов Маркович, дед,
 Кривошубов Марк Петрович, прадед,
 Кривошубов Петр Ильич, прапрадед,
 Кривошубов ? , прапрапрадед,

но это уже такая древность, которая
 уходит к 1800 году. А вот ший шубман,
 которого я, к шьбоду, не знаю, и был, навьртшка,
 тем самым Кривошубов, который переехал
 со своим куренем на Сев. Кавказ, и во времена
 которого начала существовать станица Ново-
 мьшашевская, существовал и коньме.

ПИСЬМА К ИНГРИД

1972 (16.10)

Хива

Я Вас помню

Уважаемая Ингрид Майдре, здравствуйте!

Благополучно получил путеводители по Таллину, которые Вы мне послали. Очень хорошо изданы, отлично иллюстрированы, приятно глядеть и испытывать отчасти то же самое, что чувствует мальчик, собравшийся в чужой сад через забор за яблоками. Красивый город. А текст мог бы быть лучше. Но ничего, бывает и хуже, вроде путеводителя по Хиве. Дело это сложное, а если уж я о яблоках вспомнил, то можно сказать, что не каждому автору путеводителем дано упасть к читательским ногам спелым яблоком.

Я Вас помню. Вы были в Хиве в мае м-це с группой человек в 17. Вы говорите по-английски. Вы красивы и умны. Первое - свойство женщин довольно общее, а второе - редкое и по нему запоминаются люди. Если я ошибаюсь, пожалуйста, не сердитесь на меня. В конце концов, все это не столь важно, гораздо важнее, что Вы обо мне вспомнили и я тронут этим, как бы ни было. Выражаю Вам мою признательность, возможно, не совсем обычным путем, но мне хочется рассказать Вам, мой добрый друг, что-нибудь такое, чего я не рассказывал.

Посылаю Вам рассказ "Бухара, минарет Калян".* Он, правда, побывал во многих редакциях и нигде его не захотели печатать. Не беда.

* Рассказ опубликован в сборнике: Борис Крячко, "Битые собаки", Таллинн, "Ээсти раамат" 1989. Впервые в журнале "Таллин" (1983, №5). Писатель никогда не переставал разрабатывать среднеазиатские сюжеты. Многого осталось в его архиве. Бухарский цикл из семи композиций помещен в журнале "Вышгород" 3-4, 2005. Здесь см. с. 197.

Стиль, пунктуация и авторское написание в основном сохраняются. Примечания и сноски везде редакционные, если не помечено иначе.

Буду рад, если он Вам понравится. А если не понравится, все равно напишите. Сейчас я уезжаю в отпуск в Россию и вернусь числа 20 ноября.

Будьте здоровы. Искренне благодарный Вам -

Б. Крячко.

16.10.1972.

1973 (13.3 - 29.3)

Бухара

...Держу взаперти сюжеты и образы

Деликатная змея, Бемоль и типографская краска

Дорогой друг, Ингрид, здравствуйте.

Я получил Ваши *Season's Greetings** вполне благополучно дней пять тому назад, но обрадовался Вашей открытке так же, как если бы получил ее в сочельник. Открытку мне переслали из Хивы, где она пролежала два месяца с лишком.**

Теперь я не в Хорезме, а в Бухаре с начала декабря прошлого года. Работаю в газете областной, работа сама мне нравится. Как-никак все-таки слово, а я люблю слова и порознь, и в сочетаниях, и на слух, и на вид, так что это как раз то, что мне надо. Жаль только, что в газете приняты слова стандартные, в которых уже нет ни смысла острого, ни даже искренности подчас. Экскурсиями почти не занимаюсь. Очень мне жалко Хиву, Вы даже не знаете, Ингрид, как жалко. Ну да что же делать.

Там у меня была домашняя змея, очень воспитанная и хорошая. Но когда я уезжал оттуда, уже она спала где-то в норе и там осталась. А собачку свою я взял. У меня есть собака. Зовут - Бемоль, потому что она, как черная клавиша среди белых. Вся она цвета вороньего крыла, а на груди - белоснежная блузка! а лапы - в белых перчатках! На редкость красивая собака. Полтора года тому назад по ней машина проехала, а собака осталась на дороге между колесами. Она тогда совсем маленьким щенком была и от нее пахло ржаным хлебом. Так я ее взял с дороги, так она у меня и живет.

На редкость умная, понятливая и добрая. На всех людей смотрит одинаково приветливо и думает, верно, по собачьему, что все люди - очень добрые и честные. Находясь в таком приятном заблуждении, она совершенно не

* *Season's Greetings* (англ.) - в данном случае: рождественские поздравления.

** Три первых письма из Бухары марта 1973 года (13, 28, 29) нами напечатаны в "Избранной прозе" Бориса Крячко: VE, Таллинн 2000.

умеет кусаться. Я ее берегу от разочарований и не стараюсь разуверить, что все это далеко не так. <...>

Свой отпуск я провел наполовину вблизи Вас, в Ленинграде, но в Таллине побывать не привелось, да и погода была не очень хорошая.

Это великолепно, что Вы пишете по-английски. С радостью читаю, почерк Ваш доступен вполне. Буду ждать Ваших английских писем и писать Вам о своем житье-бытье. Помню Вас хорошо и ясно. Если мне доведется когда-нибудь встретить Вас опять, думаю, что узнаю без труда. А если из моей писанины (этим я сейчас занят) выйдет что-либо путное, пришлю Вам непременно.

Здесь я прощаюсь с Вами, Ингрид, и остаюсь искренне и дружески к Вам расположенным

- Б. Крячко. До свидания.

13.3.1973.

На полях.

Мой адрес: 705014. Уз. СССР, г. Бухара, ул. 40 лет Узбекистана, 5/4, кв. 14. Крячко Борису Юлиановичу.

28.3.1973.

Здравствуй, Ингрид.

Получил письмо от Вас, очень обрадовался, был весел, приветлив, добродушен целый день, здоровался с посторонними, никого не обижал и не задира, вел себя очень прилично, много шутил и пел, словом, был в таком расположении духа, которое называют отличным. Этим я хочу сказать, что я не просто обрадовался Вашему письму, а очень. Будь Ваше письмо больше, я был бы рад вовсе неумеренно. Душенька, Ингрид, не сокращайте Ваши беседы, ежели Вам хочется поговорить со мной, потому что для меня разговор с Вами - такое же удовольствие. Думаю, что Вы просто хотели меня напугать, сказав, будто "в дальнейшем постараюсь писать короче".

Ваши письма хороши еще и потому, что я чувствую, где Вы в них засмеялись, где задумались, где недосказали, - и все это мне нравится. Даже если в Ваших письмах много вопросов - мне это тоже нравится, хотя общение людей по схеме: "вопрос - ответ" мне представляется чисто женской точкой зрения на белый свет. По такому правилу сделаны все учебники иностранного языка (о чем Вы знаете, конечно, лучше меня), и я люблю их читать.

Например, такой содержательный разговор:

А.: Есть ли у вас интересная книга?

В.: Нет, у меня нет интересной книги, зато я умею играть на мандолине.

Пожалуйста, не принимайте все это всерьез, это всего-навсего мои личные, собственные привычки. Может, Вы это отметили, а, возможно, и нет, но я очень редко спрашиваю, а письма мои лишены вопросов вообще. Тут сыграли роль два обстоятельства. Во-первых, общался я с книгами больше гораздо, чем с живыми людьми, а во-вторых, мне за 20 лет пребывания здесь пришлось по душе туркменская и узбекская манера ни о чем не спрашивать. Мне это пришлось оценить, когда я по весьма сложным обстоятельствам приехал в Хиву. Там очень мало русских и мое появление вызвало у стариков такой отзыв: “Приехал высокий урус. Видел много плохого”. Настолько точная формулировка привела меня в восхищение, и я тотчас же вспомнил слова Авиценны:* “Хорезмийцы менее живописны, но более благородны”. Это было верно 1000 лет назад. Сейчас тоже так. Меня никто ни о чем там не спрашивал.

Ингрид, я действительно Вас вспоминал очень ясно. Помню даже, что виделись мы с Вами дважды - 4 мая в автобусе Бухара-Ургенч и 5 мая уже в Хиве. Значит, скоро будет год.

Когда-нибудь мы должны увидеться. Наверное, это будет возможно, когда я буду в Москве либо в Ленинграде, только я не знаю наверняка, когда это будет. Как бы там ни было, но я непременно сообщу Вам, и если Вы не будете заняты, то встретите меня, и я сразу Вас узнаю. Заранее согласен, что Таллин - интересный красивый город, но все-таки доведись мне в нем - иншалла!*** - быть, буду я ради Вас больше, чем ради старого Тоомаса.

Мой друг, хорошо, что Вы сказали мне, где Вы будете в июне, где в июле и в августе. Это создает определенное равновесие и чувство покоя. Только бы Вы не уезжали дальше, чем есть теперь. Это и так достаточно далеко.

Уезжать из Хивы было непросто и нелегко, но что было делать? Зимой мне было там так скверно, что пробыть еще одну зиму я не рискнул. Ко всему вдобавок, начальство заповедника и экскурсионного бюро переругались друг с другом и работать стало по этой причине вовсе невозможно. Некоторое время я наблюдал эту административную гражданскую войну, а потом, не будучи чем-либо кому-либо обязан, подал в отставку. Тем дело и кончилось.

Но Бухара тоже интересный город. Как ансамбль Хива лучше, а врозь по памятникам - Бухара Хиву превос-

* Ученый, философ, врач, музыкант Ибн Сина (ок. 980-1037), жил в Ср. Азии, Иране.

** Если Бог позволит (араб.).

ходит. Работа в газете не бог весть какая. Хуже всего, что нынешние нормы вовсе не обязывают газету быть интересной. От этого страдает все остальное. Отчаянное дело искать в газете жанры, образы, художественные приемы, и все такое, потому что официальная сентенция сильно теснит и жмет шаблонами, стандартами, стереотипами. Надо надеяться, что сейчас идет такая струя, но дальше пойдет лучше когда-нибудь. Хемингуэю было, наверное, легче. А попадись он теперь в газету, его бы в два счета выправили, что сам себя в зеркале не узнал бы. Да что ж Хемингуэй. Легче было и Тэффи, и Ильфу с Петровым, и Аверченко, и даже Зошенко, хоть и прожили они ославленные при жизни хуже некуда.

Рад, что у Вас прошли благополучно экзаменовки на магистра. Когда все завершится наилучшим образом, поздравлю телеграммой маэстро И. Майдре. Вы, в самом деле, Ингрид, хорошо излагаете по-английски, и я так не смог бы. Правда, я больше привык к книгам, и всегда меня преследовала одна мысль, приводившая к наивному постоянному удивлению: как этот англичанин хорошо пишет по-английски. Или француз по-французски. Немец по-немецки. Потом я пришел к выводу, что русский лучше всех, и этим вполне утешился.

Я теперь пишу мало, потому что ни времени, ни условий для работы нет. И устаю крепко. Опять-таки надежды возлагаю на будущее, а пока держу взаперти сюжеты и образы, которым хочется на волю, и мне охота с ними, да вот беда, что недосуг.

Из Бухары я не уезжаю никуда. Летом предполагаю взять отпуск за свой страх и риск сроком на месяц (с дозволения начальства) и поехать в Хиву. Но это если отпустят.

Снова возвращаюсь к мысли и говорю: Ингрид, какая Вы умница, что пишете по-английски. Вы мне рассказали историю об ипостасях, о двух крайностях в одном человеке, о двух братьях, убивших друг друга, и мне она запомнилась. Я в долгу перед Вами, но долг платежом красен, поэтому расскажу тоже одну историю давнишнюю и невыдуманную.

2350 лет тому назад греки воевали с македонцами и захватили в плен гонца. У гонца в сумке было с десяток писем. Греки растерялись, не знали, как быть, и вынесли все дело на решение народного собрания. Собрание решило: ввиду военного времени вскрыть все письма, кроме одного - письма царя Филиппа к жене Олимпиаде. Греки пришли в неописуемый ужас, что, вскрыв это пи-

сьмо, они окажутся причастными к отношениям двух людей и к их личным делам. Гонцу отдали это единственное письмо и отправили во-свояси. Так до сих пор и неизвестно, что там было написано. Может быть, Филипп пенял маленькому Саше за шалости, а может, спрашивал, по-прежнему ли Аристотель настаивает, что у женщин зубов больше, чем у мужчин. Ничего не известно.

Удивительно, насколько примитивна была мораль. То ли дело теперь, когда письмо может вскрыть родственник, знакомый и вообще кто угодно. А я не хочу о Вас никому говорить и тоже не хочу, чтобы и мои письма кто-то читал, помимо Вас. Потому и хорошо, что Вы пишете так.

29.3.1973.

Сегодня я дежурю в редакции ночью и правлю или "вычитываю" газету. Все четыре полосы вычитаны и сданы матрицовщикам, есть час поговорить с Вами. Расскажу Вам, Ингрид, о змее - симпатичной и милой твари, разделявшей мое общество в течение весны и лета 72 года. Жил я в узбекском доме, где кроме меня ни одной души не было. Говорили, будто за год до моего приезда в Хиву хозяин этого дома нехорошо помер и из дома все съехали. Продавать дом хозяйка по каким-то признакам сочла за грех и с удовольствием сдала весь дом и двор мне. В нем я и жил, наслаждаясь полным покоем, потому что два дома по соседству тоже пустовали без хозяев. В апреле месяце уже стало вовсе тепло и, вернувшись с работы домой, я застал в комнате прекрасную блестящего светло-серого оттенка змею. Уползла она довольно неспешно в поддувало печи, но с того времени часто выходила.

Обычно ее появлению предшествовало тоненькое шипение, похожее на свист. Возможно, это своеобразное предупреждение благородной коммуникабельной гадины относилось непосредственно ко мне. Во всяком случае, когда у меня было настроение, я в ответ тоже подсвистывал.

Каким образом рептилии воспринимают мир и жизнь, я не знаю. Но, вероятно, по-иному, чем мы: - волнами, ультразвуками или лучами, кто его знает. Если так, тогда, значит, волны, исходившие от меня, вполне змею устраивали, потому что она никогда не проявляла ко мне ни агрессии, ни боязни. Мне не пришлось видеть, чтобы она когда-нибудь вела себя экстерриториально. Змея ни разу не пересекла комнаты по диагонали или поперек, а полз-

ла всегда вдоль плинтуса, извиваясь очень мелко, так что наступить на нее было практически нельзя. Усвоив это, я без особой боязни ходил в темноте по помещению. Вероятно, здесь со стороны гадюки была проявлена приспособляемость к условиям. Мне это показалось воспитанностью, деликатностью.

Вскоре в доме перевелись мыши и тараканы, которых было много. Мне довелось увидеть, как моя змея убивает мышь. Это молниеносное, неуловимое, как полет стрелы, движение, мгновенное и легкое, как поцелуй, прикосновение, а затем медленно-сонное оттягивание тела назад. Раз! - и все. Такой быстроты и реакции я не встречал никогда и ни у кого. Это было единственный раз. В основном же, мы оба были ленивы и неспешны и поэтому, думаю, нравились друг другу. Пробовал я оставлять ей сахар, колбасу, печенье, но она ничего этого не ела. Мне сказали, что змеи любят молоко, а мне только и не хватало, чтобы ходить на базар за молоком для змеи. Так я и не угостил ее ни разу.

Представлялась возможность много раз убить ее, но эта мысль никогда не осеняла меня, хотя брать ее в руки я все-таки не рискнул. Несколько раз она заползала в мои туфли, а однажды в скатанную рулоном постель, но всегда так, что ее хвост свисал и бросался в глаза. Я ее без церемоний вытряхивал и прогонял. Она послушно и лениво уползала, а потом совсем перестала это делать.

Изяществом ее движений, непринужденной грацией и чистотой ее линий можно было залюбоваться. Это, если хотите, ручей ртути, бесшумно переливающийся изгибами, но уж никак не ползание. У женщин есть что-то лучшее, что можно было взять от змей. Мне часто приходили в голову аналогии и абстракции такого рода - то чудовищные и страшные, то смешные. Ингрид, Вы не должны на меня сердиться за это.

Собака моя инстинктивно и дико ненавидела змею. Когда она замечала змею через низкое раскрытое окно, начиналось целое представление. Бемоль лаяла, выла, тявкала, скулила, исходила от ярости пеной, как подогретое шампанское, и ее вечно приходилось долго успокаивать. Она страшно переживала за меня, и в ее собачьих интонациях так и слышалось: "Уходи сейчас же. Это опасно". Я нахожу, что у собак богатая и выразительная звуковая гамма.

Но о собаке я Вам в другой раз расскажу, а о змее кончу тем, что в конце сентября она ушла спать к себе в нору и больше я ее не видел.

А теперь я закончу, уже поздно.

Приглашаю Вас в мои сны. Спокойной ночи, будьте здоровы и радостны.

Ваш Б. Крячко.

Ингрид, Ваше ближайшее письмо мне будет проще получить по адресу:

705000. Уз. ССР, г. Бухара, Главпочтамт, до востребования, мне.

Жду от Вас известий и надеюсь получить числа 10-15 апреля. И не забудьте сообщить Ваш почтовый индекс. Без него письма мои, наверное, дольше идут, а могут, говорят, и потеряться.

1973 (21.4 - 28.6)

Бухара

Поселись там, где поют. А муки любви сильны?

Сон о Шекспире. Если умеешь ждать...

Да будут глаза твои светлыми

Душа моя!

Я получил от Вас открытку и письмо. Сперва мне дали открытку, я ее по дороге прочитал, вернулся и сказал, что еще письмо должно быть. Нашли письмо. Ну вот. А сегодня у меня опять дежурство в газете, а номер трудный - доклад Устинова* - и ни одна полоса еще не готова. Так что опять всю ночь я с Вами пробуду.

Конечно, об этом можно бы и не говорить, я знаю о Вас, да ведь и Вы обо мне знаете. А ежели говорить, то иначе, наверное, и не скажешь: я люблю Вас, Ингрид. Возможно, вы поймете меня чрезмерно или не так, тогда я поясню: я просто (*just*) люблю Вас, Ингрид. Это Вас ни к чему не обязывает и не понуждает, Вы решительно ничем не стеснены и все оттого, что я очень люблю Вас. И очень одним этим счастлив.

Думается, что люди однажды ошиблись, совместив это чувство с правами и обязанностями, потому что обязанности заглушили и убили чувства. По крайней мере я почти не знаю семей, где жена и муж не были бы друг для друга самыми чужими, случайными и посторонними людьми лет после 3 или 5 жизни вместе.

Вы, например, приписываете мне великодушие. Милая Ингрид, это совсем не так. Великодушие - хорошее свойство. Великодушным можно быть и к поверженному врагу, и к раскаявшемуся преступнику, и к незнакомому

* Устинов Д.Ф. (1908-84) в то время секр. ЦК КПСС, поэтому читка номера особо ответственна.

человеку, и даже с большим трудом (внимание!) к ближайшему другу. Но нельзя быть великодушным к возлюбленной, иначе это не любовь, а черт знает что такое. Ингрид, я отказываю Вам в великодушии именно по причине этого самого.

То, что Вы меня любите, делает мое счастье полным. Только, ради Бога, не надо меня *to worship* и *to adore*^{*}, не ставьте меня на пьедестал (дорогая, мне было бы там, верно, тоскливо и скучно), а душе всего не сотворите из меня, многогрешного человека, кумира. Не то потом разочаруетесь, как это всегда в таких случаях бывает, а я совсем не хочу терять Вас и себя для Вас тоже. Вы полюбуйте только, что Вы из меня сделали. Возвели на пьедестал почета, откуда я спустился с видом кинозвезды или высокопревосходительства и удостоил Вас обращения почти наравне с собой. *Obligations! It's very condescending of me. I'm immensely in love with my dear own self.*^{**} Хорошо, что это неправда, я никогда таким не был, не могу быть и не желаю. А если хоть на миг предположить такую нереальность, так я бы в тот же миг разбил бы трюмо со своим отражением и просил бы небо сокрушить меня его мощью, как самую зловредную тварь. Простите, Ингрид, но это - не я. Вы меня придумали и не очень удачно. Я не в состоянии даже нарочно таким сделаться, даже если бы Вы отвергли мое чувство к Вам - все равно не могу.

Ингрид, сердце мое, душенька, мой ангел, я люблю Вас. В автобусе Бухара-Ургенч Вы сидели с правой стороны по ходу впереди меня через одну скамейку. У вас коротко подрезанные прямые волосы, не рыжие и не белые, а как бы Вам рассказать точнее. Похоже вот на что: сейчас-то деревья уже распустились и стоят зеленые всюю, а вот недели три тому назад кроны деревьев в одну ночь взорвались нежными зелеными облачками, прозрачными насквозь. В этой зеленой прозрачности виднелась прошлогодняя неопавшая листва. А все вместе было похоже по цвету на Ваши волосы.

Во время экскурсии я потерял Вас, т.е. очень редко встречался с Вами взглядом. Но, видите, запомнил. Крепко хочу Вас видеть, а когда увижу - не знаю и планов не строю ближайших затем, чтобы нам все же с Вами встретиться *before long we die.*^{***} Предполагаю, что в

* Почитать, обожать (англ.), здесь - обожествлять.

** Премного обязан! Я соизволил до вас снизойти. Хотя я безмерно обожаю себя любимого.

*** *before long we die* - раньше, чем мы умрем.

самом крайнем случае - в ноябре м-це, когда я получу отпуск и поеду в Ленинград к брату, а больше к Вам в Таллин. Возможно, что какая-нибудь благословенная okazия сделает наше свидание раньше, но тут уже - сплошное гадание. Я очень не хочу, чтобы Вы из-за меня приезжали сюда по той причине, что не хочу предстоять перед Вами, подавленный обстоятельствами и условиями. Мы увидимся, увидимся, я сообщу Вам об этом при первом же случае. Я почти воочию представляю себе, как я Вас увижу и что скажу, и что вы ответите, и какой при этом будет день, и я обниму Вас, потому что Вы - моя милая Ингрид.

Что же нам делать до поры и как быть. Думайте так: "Очень далеко живет один человек. Он меня любит и помнит". Это будет правда. Когда у меня на душе плохо, я о Вас думаю. Впрочем, когда мне хорошо, я о Вас тоже думаю. Так.

Дорогая Ингрид, не присылайте мне книги. Мне писать нужно, а не читать, да и на то времени нет. А читать мне надо Ваши письма. Тот пассаж, что Вы написали в письме, великолепен, а главное его достоинство в том, что он Вашей рукой написан.

Моя радость, поздравляю Вас с днем рождения и желаю опять-таки видеть Вас. Возьмите мою фотографию по этому случаю. Будьте всегда радостны. Не придавайте особого значения всяким совпадениям дат. А то ведь в таком случае мне пришлось бы считать себя продолжателем Льва Толстого лишь потому, что я родился буквально на следующий же день вслед за ним - 10 сентября.

Как только можно будет, я отстучу на машинке (в рабочее время, разумеется, другой возможности нет) один из моих снов и Вы вдоволь посмеетесь. Лучше всего для этого выберу свое знакомство и встречу с В. Шекспиром - это как раз в духе. Фантазма! Чего только не приснится. Видите, с какими я именитыми людьми встречаюсь. А еще ведь Бернадотт, М. Твен, Сет.-Томпсон, Наполеон, Чингиз-хан, Семирамида, Ал. Македонский, Гоголь, Рахманинов, Пушкин, Лермонтов. О Лермонтове целая серия снов. Последний - моя дуэль с Мартыновым, которого я, конечно, убил. Все это ничего, но у меня в самом деле два дня рука болела, так как секундант переложил пороху и была очень сильная отдача. А еще встреча с Музой, на которую так же больно глядеть, как и на солнце. Только и заметил, что у нее облик моей покойной мамы. И с Фортуной, которую я безжалостно прогнал, как капризную беспутную девку. Ингрид, я вижу Вас, когда за-

сыпаю в самом начале, но образ очень нестойкий и туманится. И нет сюжета сна. Ну да не все еще сны просмотрены. Увидимся.

Помните ли, я рассказывал Вам о моей собаке по имени Бемоль. Черная, в белой блузке и в белых перчатках. Я напишу Вам лучше стих арабского поэта Ибн Хафаджа, который он писал с моей собаки 1000 лет назад.

“Вислоухая, если бы она стала опережать молнию,
то крылья успеха полетели бы с ней.
Она нюхает землю, расспрашивая о её детях, и запах
даёт о них весть её носу.

Худая в стане - когда мчится, её лук берёт на плечи
сама назначенная судьба.
На гибком теле её утвердилась чёрная ночь,
а шею её перевязало утро”.*

Пишите мне по-прежнему на до востребования. Будьте осторожны, любовь моя, в лесу среди машин и людей. Берегите себя.

Ваш Борис
21.4.1973

Ингрид, пятна на письме от типографской непрсохшей краски.

Моя радость!

Ждать писем от тебя - надо обладать большим терпением. Я решил, что чем чаще я тебе буду писать, тем чаще стану получать от тебя письма. К счастью или несчастью (не знаю) я нетерпелив и потому прошу тебя: родная, прости мне мое нетерпение.

Пишу тебе не только оттого, что тебе хочется быть со мной, но гораздо больше потому, что я сам хочу этого. И опять чувствую, как меня охватывает нетерпение сесть у твоих ног, положить голову тебе в колени и закрыть глаза. Я люблю тебя, Ингрид.

Мне хочется побыть с тобой 5 мая и я спешу это сделать. Буду с тобой весь день. Чтобы тебе не было скучно, я буду о чем-нибудь говорить. Посылаю тебе, мой свет, журнал бандеролью (“Охота”), там мой рассказ “Катя”**. На рассказе я ставлю свою подпись и дату твоего дня рождения, хотя сегодня уже 26. Думаю, что день твоего рождения намного значительнее для нашей встречи. Мне

* Ставим букву “ё” в некоторых случаях в цитатах и рассказах, следуя Б.К.

** “Охота и охотничье хозяйство” - 1972 (1-я и последняя в том десятилетия журнальная публикация Б.К.). Сборник “Бытие собаки” - 1989.

весело и я счастлив, что ты в этот день когда-то родилась, а уже потом случилось все остальное.

Когда я читаю твое письмо, я вижу тебя и многие строки открывают тебя впервые. Об этих открытиях я напишу тебе в следующий раз, а сейчас хочу тебя просто успокоить немного. Мой ангел, не думай обо мне и о каких-то женщинах, к которым я могу как-то по-особенному относиться. Ведь это никому еще не удавалось - любить сразу двух. Ну вот, видишь. Теперь засмейся и будь абсолютно спокойна за меня и не делай заключений, если в моих письмах есть комплименты женскому полу в сравнениях двух величин: женщины и змеи.

У меня две слабости, два удовольствия всего. 1) зеленый чай, который я потребляю в большом количестве и завариваю его крепчайше и 2) трубка, к которой я привык и иногда держу во рту без всякой надобности.

В юности мне нравилось спать в обнимку с землей и потому до сих пор я люблю твердую ровную поверхность под спиной, но уж не перину и не прогибающуюся, как гамак, кровать. Можешь предусмотреть это и, когда я приеду, постелить мне на картошке. Делается это просто: два ведра картошки высыпается на пол, накрывается тремя газетами и - постель готова. Ради Бога, Ингрид, не думай, что я говорю всерьез. Просто, мне охота пошалить для твоего удовольствия.

Знаешь ли, в бытность мою в Хиве, летом, когда было очень жарко, я уходил в скалы, ложился на мрамор могилы Аллакули-хана и прекрасно спал. Когда начальство спрашивало "Где Крячко?" им всегда отвечали: "Крячко изучает орнамент". Ингрид, если бы ты знала, что за прелесть этот орнамент. Я еще повторю:

“О ты, вкушающий от радостей предопределения,
Посмотри на эти прекрасные цветы.

Ведь куст роз на них глянул, им позавидовал и
стал на них похож.

От этих зеркально-блестящих изразцов идет путь
в сторону духовного мира.

Эти цветы будут вечно волновать людей и оставят
в их памяти имя мастера Абдуллы”.

26.4.1973.

Родная моя.

Опять я тебе пишу, охваченный нетерпением и не дожидаясь больше, когда ты мне ответишь. Будучи достаточно терпелив, чтобы встретить и увидеть тебя через це-

лых полгода, терпеливо ожидать твоих писем и слов - сверх сил.

Мне запомнилось твое имя сразу, еще тогда, когда твой руководитель группы - высокий сухошавый эстонец и, кажется, с эспаньолкой и в усиках - позвал тебя. Он сказал: Ингрид. Я тоже, чтобы запомнить, сказал про себя: Ингрид. Вот и все, потому что остальное ты знаешь.

Посылаю тебе свой сон о Шекспире.* Правда, Шекспира самого там очень мало, но я все-таки называю сон по имени этого человека. Мне трудно предположить, понравится ли он тебе. Потому что я в нем живу всеми обычными мне чертами и ты, может быть, просто-напросто разочаруешься, как разочаровываются поклонники в артистах.

Один мой знакомый когда-то давно и будучи глубоким стариком рассказывал, как он разочаровался в Элеоноре Дузе, когда услышал, как она ругается по-итальянски, разобрав только по сути одно слово - каналья! - и очарование пропало.

Другой мой приятель (тоже гораздо старше меня) разочаровался в хорошей пианистке, когда она перед ним запросто скинула концертную юбку, хотя, конечно, все было совершенно прилично, и она была одета и все пр. Любимая, да хранит тебя и обережет моя любовь от всего такого. А я не хочу тебя терять, потому что ты для меня одна и во всем Таллине и в целом свете.

Ну, а если сон хорош и понравится, тогда я бесконечно счастлив подарить его тебе и даже посвятить, будь можно сны посвящать кому-либо из близких.

Моя радость! Пиши мне больше и чаще, я жду твои письма и слова, что в них будут сказаны, очень жду.

Крепко тебя обнимаю и целую.

Твой Борис.

30.4.1973.

Моя милая, резвая, нетерпеливая, нежная, благоразумная, маленькая Ингрид. Здравствуй. Что же ты не спешишь писать мне? Что замешкалась? Что там случилось? И почему так мало пишешь? И почему вдруг по-русски, на "Вы" и едва ли не с окончанием на "с".**

Видишь, сколько вопросительных знаков. Успокойся, ради Бога, все вопросы - риторические, на них можно не отвечать. Просто мне хочется привести тебя в твое обычное естественное состояние и радоваться, на тебя глядя.

* Нашли в пярнуском домашнем архиве Б.К. и опубликовали в журнале "Вышгород" 3-4, 2004 под заголовком "Подайте Шекспиру".

** Частица, употреблявшаяся для выражения почтительности или в шутку.

Получил поздравительную Первомайскую открытку от тебя и схватился за голову: я-то писал тебе писал, а поздравить не пришло в голову. Мой ангел, всему виной праздники более значительные: во-первых, 22 апреля, а во-вторых, 5 мая.* Так что эти дни закрыли для меня все остальные.

Твое поздравление несколько меня озадачило и формой и существом, а на память сразу же попросились древние стихи одного араба:

“Когда же я ей поведал о муках любви своей,

Спросила она у подруг: “А муки любви сильны?”

У меня никогда не будет недостатка в глупости рассказывать об этих самых муках, но твое послание первомайское так корректно, сдержанно и почти официально, что я засмеялся и подумал: кто их поймет, эти северные народы! Может быть, перкеле,** у прибалтов и скандинавов так принято. Не зря же тамошние скальды когда-то придумывали саги о небесных девах, полюбивших земных юношей и выплакавших глаза янтарными слезами по причине отдаленности друг от друга.

Мой милый сердечный друг! Прошу тебя всегда писать по-английски. Твоя мысль прекрасно укладывается в формы этого слова, ты вовсе не насилуешь себя и не принуждаешь и это так мне нравится, так я тебя чувствую и вижу, что уж никогда и ни с кем не перепутаю. Когда мы с тобой увидимся, мы перейдем на русский, потому что ты на нем, мне кажется, так чудесно и мило говоришь, что мне будет невтерпеж схватить тебя и расцеловать. Но в письмах ко мне будь, пожалуйста, ради меня “англичанкой”.

Недавно я опять дежурил, но письмо тебе в ту ночь не писал, а был занят рассказом, над которым потом мои товарищи вволю посмеялись, хотя, конечно, печатать его решительно нельзя. Иногда у меня бывает охота шаржировать газету и товарищей, иной раз пишу какую-нибудь ерунду, но для полных хороших картин у меня нет времени и я со своими сюжетами и образами готов плакать, как неразрешившаяся женщина от страха загубить дите. А когда я к тебе приеду, писать будет и подавно некогда, потому что я очень по тебе соскучился.

Послал тебе много писем. Читаю твои письма часто. Открытка с видом Таллина очень хороша, чтобы глянуть, закрыть глаза и тут же решить, что город похож на человека, а человек - на город. Но разве, скажи, в Таллине есть море? Ведь море в Риге, а не в Таллине.

* 22.04 - день рождения Ингрид; 5.05.1972 - день их первой встречи.

** перкеле - финское выражение, вроде “чёрт возьми”.

Мой друг! Поздравляю тебя со всеми праздниками, что были и что будут в твоей жизни, на тот случай, если я когда-нибудь забуду это сделать во-время.

Нежно тебя целую и остаюсь

- Всегда твой Борис.

4.5.1973.

Мой ангел, свет моих глаз, отрада души и лучший миг моей жизни, Ингрид, здравствуй, любовь моя, 100 лет, а если хочешь, то и больше. Получил от тебя целых два (!!)

письма сразу. Bravo, душенька, спасибо, спасибо. Я теперь доволен, спокоен и весел еще на некоторое время, только не надолго мне этого хватает, и ты не забывай об этом.

Не мог тебе ответить в этот же день, а всему виной мой эгоизм, потому что я радовался, сидя в одиночестве над твоими письмами, так же, как скряга над золотой казной. Я тебя так нежно люблю во все минуты твоей жизни: едешь ли ты автобусом в Пярну, поешь ли непонятные мне песни или сажаешь шесть кроватей картошки.* Дружок, но зачем так много. Я не спорю, что картофель для постели очень хорош, я даже писал тебе об этом и говорил, как надо готовить картофельную постель. Да ведь мне одной кровати картофеля вполне хватит.

Видишь, у меня все с ног на голову поставлено. Я ухватился за кусочек твоего письма из середины и - пошел на радостях. Случись это со мной в деревне, небось, дня три плясал бы на улице. Ты - моя радость, а письма твои - тоже.

Господи, ну какая же это ссора? Разве так люди ссорятся? Ты совсем, оказывается, не умеешь этого делать. Говоришь - говоришь, а сама краем глаза косишься, не обиделся ли я. Да будь ты хоть тысячу раз магистром всех филологических наук, ты всего лишь капризный ребенок, твои надутые губки - просто прелесть, и я люблю тебя еще больше.

Мне нравится жить в замке с красной крышей. Красная крыша - вот чего мне не хватало всю жизнь. Только сейчас я это понял. Это, пожалуй, даже все, что человеку нужно для безбедного существования. Сюда долетают очаровательные в своей непонятности слова песен, что ты поешь, а в мелодии есть что-то григовское и сибели-

* Раньше в одном из писем о том, что "кроватью" для него могут служить два ведра рассыпанной и застеленной газетками картошки. Видимо, здесь он обыгрывает садово-огородные заботы Ингрид (в Пярну у нее родительский дом с садом).

усатое, не разобрать против ветра. Да вот беда: мне хочется из замка хоть на одну минуту под одну крышу с тобой, а если это много, тогда хотя бы на полминуты.

Ингрид, о чем ты говоришь, будто я смог бы припомнить всех, кто с тобой был тогда в Хиве, и рассказать о прическах и волосах. Ничего подобного. Я никого, кроме тебя, не припомню и не узнаю. Запомнилась ты мне, единственная, помимо моей воли и намерений. Какие там намерения, когда я даже не предполагал, что судьба будет ко мне так милостива и благосклонна, и подарит мне любовь единственной запомнившейся женщины. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Теперь ты настолько прочно устоялась во мне, что при способностях к рисованию, я мог бы тебя написать гораздо увереннее, чем Пигмалион Галатею. Моя единственная, это вовсе, однако, не избавляет тебя от некоторых в общем-то обычных вещей для всех влюбленных. Пришли мне свою карточку, потому что мне не терпится утонуть в твоих глазах, да еще завиток волос, чтобы я мог счастливо блуждать в их тумане.

Моя радость, я пишу тебе сейчас не о себе, а о тебе и о твоём письме, потому что настроен таким образом и не хочу ломать себя. Буду, наверное, писать тебе чаще, чтобы ты и не была подолгу без меня и чтобы не забывала обо мне.

Послушай, когда мы увидимся с тобой, я спою тебе много песен.

“Поселись там, где поют.
Кто поет, тот плохо не думает”.

Целую тебя крепко и много.
Всегда твой Борис.

10.5.1973.

Мои письма к тебе не имеют начала, потому что бумага кончается, а беседа с тобой - нет. Конца у моих писем тоже нет, и никакой мой поцелуй не последний и не прощальный, если все это тебе нужно. Так ведь и мне это тоже нужно, не меньше, чем тебе, и - Да буду я твоей жертвой, женщина, но ты сказала правильно.

Ингрид, мой сердечный друг, здравствуй! Получил сегодня твоё милое и долгожданное письмо. Ходил за ним на почту с Бемолью. Читал в парке и тоже с Бемолью. А сейчас дежурю опять всю ночь в редакции и пишу тебе. Последнее письмо отправил тебе позавчера.

Мой свет, душенька, мне не очень нравится конец твоего письма, где ты пишешь, что после счастья всегда

следует *a long period of unhappiness*. * Очень прошу тебя: успокойся, ради Бога. Я думаю как раз наоборот и имею к этому основания. У меня было столько *unhappiness*, что я со счета сбился, плюнул и перестал их считать. Да ведь по всем законам и признакам не может *unhappiness* преследовать без конца одного человека. Так что мне очень хотелось бы, чтобы все *unhappiness*, какие у меня только были, послужили нам с тобой авансом и хорошим задатком за то *happiness*, которое у нас есть сейчас.

Слушай дальше. Все, что я тебе сейчас скажу, очень важно. Мы с тобой оба смертны, и никто из нас не может знать, сколько лет еще мы будем топтать землю. Никогда не падай духом. Ни завтра, ни через двадцать лет, ни со мной, ни без меня. Настроению я, конечно, следовал всегда, чувству своему верил и отдавался, но принципа этого придерживался всю жизнь. Если бы это было не так, то мы с тобой никогда бы не увиделись. Я сам когда-то получил этот совет от доброго и близкого мне человека - не падать духом, а теперь хочу, чтобы ты его тоже взяла в дорогу. Пусть сохранит тебя судьба и моя любовь от всяких падений, достаточно вполне и того, что я много раз падал, не только на двоих, а и на десятерых хватит. Успокойся, пожалуйста.

Хотя, конечно, интересное дело. Упрямства у меня всегда хватало и очень рано развилось пассивное сопротивление событиям и обстоятельствам, если я не был в ладу с ними. Говорю “пассивное”, потому что для “активного” я ленив и абсолютно не умею ни драться, ни защищаться. Но все равно, мне бы, дураку, ничком лежать или на коленках стоять, может, меня бы и пощадили, а я только физиономию вытирал и шутил, и с удовольствием наблюдал, как “порядочные” люди зеленеют со зла от моих шуток. Конечно, издержки моего характера велики, но главное в том, о чем я тебе говорю: любимая, единственная, ненаглядная моя девочка, Ингрид, не падай никогда духом и - мы увидимся.

Ну, ну, ну, *steady, steady*** , элегия слишком затянулась, пора и к скерцо перейти. А скерцо начинается на сей раз с Киплинга. У него есть превосходная вещь, называется “If”. Там есть строчка прямо-таки о тебе и обо мне: *“If you can wait and not be tired by waiting...”* ***

Ингрид, не уставай, родной человек. А у иранцев и

* *a long period of unhappiness* (англ.) - длительная череда несчастий.

** *steady* (англ.) - спокойно.

*** Редьярд Киплинг (1865-1936, англ. писатель). Стихотворение “Если” - строка “Если умеешь ждать и не устать от ожидания...”

таджиков тоже есть хорошие слова, которые говорят близкому человеку при расставании <...>

- “Чашли роушан”, т.е. “Да будут твои глаза светлыми”.

Раз о глазах, так о глазах. У японцев есть целый ритуальный диалог при знакомствах. Мы, например, услышав имя нового знакомого, говорим: “Очень приятно”, “Весьма рад” или еще что-нибудь. А японцы говорят “Нигарэ какаримасита” (первое слово - не уверен, по слуху и на память). Но значит все это (замечательно): “Я навеки прикован к вашим благородным глазам”.

Дружок, твое письмо великолепно и празднично вполне. Оставь, пожалуйста, всякие опасения, что ты могла проговориться или сказать не то, что следует, в разговоре обо мне с членами вашего туристского клана. Я только засмеялся, вообразив, какими круглыми стали бы глаза у твоей собеседницы, если бы ты ей сказала: “А знаешь ли, этот самый человек из Хивы влюблен в меня до смерти и притом нетерпелив, как мальчишка. Он мне пишет такие забавные письма, что я веселюсь от души” и т.д.

Ингрид, я, пожалуй, слишком легко перехожу от “*moderato*” к “*allegro*”, но ведь ты умница, ты поймешь, где - что и не станешь обижаться на твоего *sweetheart*.*

И в самом деле. Уж не думаешь ли ты, что когда я приеду в Таллин, то замкнусь в комнате и никуда не буду выходить? Ничуть не бывало. Мы ведь с тобой пойдем и в концерт (верно?), и в кино (разве не так?), и на улицу (само собой разумеется), и возможно даже разопьем бутылку сухого вина в каком-нибудь старом эстонском кабаке, где вместо стульев и кресел стоят бочки из-под пива, а откроет нам бутылку какой-то Сизый Нос с охрипшим от пьянства голосом. А на улице мы с тобой можем повстречать и твою знакомую даму и бывшего руководителя группы (высокий эстонец в эспаньолке и в усах). Вот когда глаза у них станут круглыми.

Миленькая, ты уж, прошу тебя очень, не пугай меня, чтобы заикой не сделать, и не вздумай мне ничего посылать. Кроме писем, конечно. То, что мне нужно (фотографию твою и прядку волос), я уже у тебя попросил. А больше ничего. Точка.

Ты еще спрашиваешь! Ну конечно, *on the floor*.** А в общем-то, все равно, где, - ты только подвинься немного. Я люблю тебя. Целую тебя.

Твой Борис.

12.5.1973.

* *Sweetheart* - возлюбленный.

** *on the floor* (англ.) - на полу.

Прости, чуть не забыл. Цветы, что ты прислала в письме, пристали к листку и сделались аппликацией. Целую тебя.

Зеленый чай вполне можно держать до моего приезда, он не испортится. Если хочешь, возьми пачки две-три. Только не заваривай сама, потому что ты не умеешь. Его пьют без сахара, надо чтобы он был терпкий и с привкусом горечи. Из стеклянной и металлической посуды он теряет во вкусе. Заваривать и пить его надо в чайнике из фаянса, фарфора или даже обычной глины, а пить из пиал или чашек.

Целую твои руки и лицо. Здравствуй, моя радость Ингрид. Я получил твое письмо. Долго сидел в парке, читал, перечитывал и улыбался от счастья. Сегодня я прекрасно себя чувствую, до конца работы еще целый час, а потребность сказать тебе лишний раз, что я тебя люблю, очень велика, поэтому мне хочется писать тебе.

Дружок, ты обеспокоена пустыми страхами! Ну что мне за дело до кого бы то ни было, кроме тебя. Мои глаза на тебе остановились и ничего больше неохота замечать. Сейчас я уже не могу представить себя без тебя. Навероятно, что все так хорошо. Даже немного не по себе, боюсь загадывать слишком много и далеко, боюсь думать о тебе нежно и сладостно, чтобы не расстроить, не сглазить, не отпугнуть наше счастье. Я говорю за двоих сразу, за тебя и за себя. Это у меня от самоуверенности, потому что, смешно признаться, но я сам от себя не ожидал этого. А вот-таки взял да и влюбился. И страшно обрадовался, что ты - тоже. Тут у меня терпения уже не хватило, и я кинулся к тебе, по сути дела ничего о тебе знать не желая, кроме тебя самой, и о себе ничего не рассказывая, потому что все это не особо интересно. Потом как-нибудь расскажу, не сейчас.

В жизни я больше полагался на свое собственное субъективное мнение и на личный опыт, а не на объективное мнение и общественный взгляд. Мне пришлось нести издержки за самостоятельность и платить налоги в виде моральных утрат и материальных платежей. Хорошего тут, конечно, мало, но все-таки есть. Я не стал злее, чем был, и желчь у меня не разлилась, и враждовать я не научился. Зато я научился снисходительности, милосердию, терпению и противостоянию. И все за недорогую цену отчуждения от людей и одиночества душевного. <...>

...Ты пишешь мне о любви стихами и песнями. В другом любом случае я бы, пожалуй, только улыбнулся

бы сардонически и снисходительно. Но в данном случае ты ведь о нас с тобой говоришь, и это резко меняет дело, настолько, что я сам готов тебе сказать стихами царя Соломона Суламифи из библейской “Песни песней”.

Се еси добра, прекрасная моя,
Се еси добра, любимая моя,
Очи твои горят, яко пламень огня,
Зубы твои белы паче млека,
Зрак лица твоего паче солнечных луч,
И вся в красоте сияешь, словно день в силе своей.
Положу тебя, яко печать на сердце моем,
Положу тебя, яко печать на мышце моей,
Зане сильна, как смерть, любовь,
Зане сильна, как смерть, ревность,
Стрелы ее - стрелы огненные.

Ты ведь умеешь сказать и взволновать меня так, что я теперь все время буду думать *about the warmth of your body*.* Я тебе уже писал немного об этом. Ты мне разрешена, потому что я люблю тебя. <...>

Что касается времени, то оно тем драгоценнее, чем меньше я им располагаю. У меня его вовсе нет. Отсюда родилась моя мечта забраться когда-нибудь подальше, чтобы мне никто не мешал, кроме Музы, Аполлона и Ингрид: писать, забыв о суточном вращении земли. Кстати же, хочу тебя предупредить, потому что ты этого еще не знаешь: я тогда крайне неаккуратен в еде, в отдыхе, в письмах - во всем. Мои немногие знакомые уже знают, что, ежели я им ничего не пишу, значит, что-нибудь другое пишу.

Но покамест ничего такого не предвидится, и я хочу писать тебе так часто, как только смогу.

Целую тебя много, сильно и нежно.

Конечно, твой Борис. Чей же еще?

16.5.1973.

...Не знаю, обычно это или нет, но когда на человека наваливается какая-нибудь пагуба в виде немочи, думается, что ему самое время шутить. Я сегодня шучу с утра, едва добравшись до редакции, и многие мои товарищи, наверное, желали бы в глубине души, чтобы я всю жизнь болел. Но в самом деле, сейчас я наиболее гротескная фигура в газете. Вчера вечером мне захотелось влезть в ванну в рассуждении выкупаться. А потом по обыкнове-

* *about the warmth of your body* - о тепле твоего тела.

нию я лег спать на полу, слегка укрывшись, и приоткрыл дверь на балкон. Зато теперь я не смог бы поклониться как следует главному редактору, если бы вдруг захотел, потому что в пояснице у меня поселилась дикая боль, которую люди называют почти *ridiculously** - радикулит.

Один зубной врач говорил: чтобы избавиться от боли в зубах, надо об этом поменьше думать, а всего лучше совсем забыть. Я тоже лечусь этим советом, и когда мне надо забыть болевые ощущения, я читаю твои письма. Представь себе, помогает.

Забыл тебе прошлый раз написать, что приезжал ко мне на день мой брат, и я ему рассказал о тебе. Знаешь, что он мне сказал? Боюсь, говорит, что это у тебя серьезно. Жалко, что ты, говорит, не способен к легким опереточным дуэтам.

Ну, это своеобразно благожелательное мнение. Ты на него не сердись. Он отличный человек и умен более чем я и практичнее тоже. Он - это одно, а ты и я - совсем другое. И я тебя очень люблю. Как-нибудь я тебя с ним познакомлю, его зовут Олег,** а я его называю Алька. Теперь он недели две будет в пустыне командировку проводить, а потом еще дня на три приедет.

Я часто припоминаю твой рассказ о двух враждующих людях, заключенных в одном человеке, и связываю с одной сентенцией Марка Твена. (Ты, верно, встречала этот парадокс. "Если бы у меня была собака, похожая на совесть, то я бы ее задушил".) Вот этот самый второй человек, который в печёнках у меня сидит, такой, оказывается, скверный тип, вредный, неуживчивый и вздорный. Он не дает мне шагу ступить без его согласия. Стоит мне совершить глупость, как он сразу же начинает меня мучительно донимать, да еще так изощренно и издевательски, что хоть плачь. В конце концов я ему всегда уступаю, чтобы он не ворчал и жил бы со мной в согласии. Правда, мы большей частью ладим и дружим. Но мне пришлось поступиться перед этим *alter ego* честолюбием, амбицией, карьерой, материальными выгодами и пр. К слову тебе сказать, что он даже не заикнулся и ни словом не возразил, когда я тебе объяснился. Должно быть, ты ему так же нравишься, как и мне. Словом, все в порядке. А это очень важно.

Сравнительно до недавнего времени я думал, что большие расстояния нужны некоторым людям для душев-

* *ridiculously* - смехотворно, нелепо.

** Олег Юлианович Крячко, младший брат Б.К., геолог, живет в С.-Пetersбурге.

ного исцеления, для такого, знаешь ли, оздоровления, что ли. В общем, добротное средство, не учтенное медициной нисколько и никем открыто не рекомендуемое. (Ах, мне бы время, я такую бы диссертацию по этому поводу закатал - докторскую, не меньше, потом послушал бы, как люди вокруг грохнулись бы от хохота, а еще потом с удовлетворением бы скончался. Как мне хочется написать веселую, смешную штуку, в особенности сейчас, сию минуту. Если бы ты только знала, как хочется.) Прости мне этот прыжок в сторону. Итак, *presto*, дальше. Так вот: это самое расстояние очень образно действует на мое чувство к тебе и на душевную взаимосвязь с тобой, и на сложившееся к тебе отношение. Не притупляет, а обостряет, не гасит, а разжигает, не ослабляет, а делает прочнее. Благо дальним расстоянием. Благо тебе, Ингрид, моя маленькая девочка и моя большая радость. Да здравствует, как утверждают лозунги.

Теперь я с ужасом думаю о таких, например, понятиях - прошлых и нереальных: что было бы, если бы ты не поехала в поездку по Азии или, скажем, я на день больше задержался в Бухаре и в Хиву приехал бы 5 мая 1972 года вечером. Что было бы? Действительно, страшновато. А тебе разве не страшно вообразить, что ты в прошлом году поехала смотреть не азиатов, а итальянцев? Ну вот, видишь как.

Мой ангел, до свидания. Будь благополучна и весела. Бемоль целует тебе руки, а я - губы, глаза, нос и шею, там где возле уха. Твой Борис.

17.5.1973.

Уже совсем жарко. У нас в отделе весь день крутится потолочный вентилятор, а я выпиваю чайников 6-7 горячего крепкого чая - все равно жарко. Физиономии у людей на улицах копченого и густо кофейного оттенка. У меня тоже.

Акации отцвели. Давно. Сперва белая - гроздьями, потом желтая - кашкой. У белой запах облачный, густой и нежный, а желтая пахнет эфиром, лекарствами и аптекой. Потом пошли цвести маслины и джуда. Их пряный, сладкий, опьяняющий до дурноты аромат напоминает пение сирен, заморочивших голову хитроумному Улиссу* и многим путникам, падким до сладкого и хлебнувшим нектара в лошадиной дозе. Я не доверяю маслинам, как и начальству, когда меня хвалят. У меня тогда уши торчком, будто у собаки, почуявшей опасность, и я замираю

* Улисс (*Ulisses, Ulixes*), греч., лат., варианты имени Одиссея.

в стойке, ожидая какой-нибудь подвох. Когда я попадаю в струю цветущей маслины, то застываю на минутку, делаю протяжный глубокий вдох и сразу же спешу выбраться из потока на воздух, как пловец на берег.

Теперь вот-вот зацветут липы. Их здесь мало, но есть. Их я люблю больше других деревьев, потому что у них запах сотового меда и давнего детства, и если бы юность и поцелуй ребенка имели свойство пахнуть, то это был бы, верно, запах цветущей липы.

В Бухаре на Ляби-хаузе сейчас всю продают розы и лилии. Лилии, пожалуй, по-своему хороши и свежи, но чопорны и безвкусны, как невеста под венцом. Мне больше по душе розы. Алые - горячи и радостно откровенны; розовые - похожи на зарумянившуюся девчонку, которая пока еще не сложила себе цены и умеет искренне смущаться; чайные желтые и оранжевые - точь-в-точь русалки: дразнят, щекочат и ласкают взгляд, вначале делается приятно и весело, а потом надоедает.

Самые лучшие розы - белые. У них слабый запах, но недостаток становится преимуществом в мгновение ока. Нет на свете такого символа надежды и нет другой такой недвусмысленной аллегии прекрасного, как белые розы. Возможно, это оттого, что у них отдаленный неуловимый запах, к которому человек вечно будет вожделеть и никогда не насытится досыта.

Белые розы - сновидение Всевышнего Бога. Белые розы Ланкастеров. Белые розы Стефана Цвейга. Белая роза, окрашенная кровью и песней соловья - чудесная сказка Уайльда. Белые розы свиданий и встреч - сказочная действительность и прекрасный миг жизни, который люди либо забывают, либо не умеют воспользоваться. Я люблю белые розы, я нахожу в них что-то с тобой общее.

(На тот случай, когда я не смогу дарить тебе цветы, я наперед составляю для тебя целую клумбу, чтобы надолго хватило.)

Мне не нравятся пунцовые, темно-красные розы из-за цвета старческой венозной, лишенной кислорода крови. Ну а раз не нравятся, то и рассказывать тебе о них не буду.

Однажды я видел черную розу, непроглядно черная, как ночь, сквозь которую не видать ни зги, хоть глаза выколи. И все же те розы были почти так же прекрасны, как белые. Розовый куст зацвел впервые и выгнал всего-навсего три бутона. Они лопнули одновременно, явив чудо из чудес. Вокруг куста собрались люди. Каждый поочередно склонялся к розе, легко касался губами черного

ломкого бархата лепестков и, зажмурившись от восторга, набирал полную грудь воздуха. Сколько потом было всяких разговоров о черных розах! Как ими гордился хозяин, который вдруг стал похож сразу и на петуха, и на генерал-майора. А на другой день весь куст умер, потому что черные розы были не от мира сего.

Черную розу как-то увидел Александр Блок и написал стихи:

...Где-то пели смычки о любви.

Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, аи.

Возможно, что роза в бокале шампанского была великолепна, но чтобы оценить ее в таком виде, надо, по-моему, быть и тонким эстетом и немножко снобом. Мне это не дано.

Роза хороша сама, без добавлений и приложений, - они ей нужны не больше, чем хмель винограду. Хмель сказал: "Как хороши мы с виноградом! Как мы с ним красиво вьемся и растем! Мы так похожи друг на друга по виду, что нас часто путают. Как нами упиваются люди!" А виноград сказал хмелю: "Поди вон, пропойца. Я и без тебя хорош".

Проделай такой опыт: в одну вазу поставь розу и гвоздику. Ты увидишь, как роза безжалостно умертвит соперницу: - гвоздика сломается в черенке и поникнет. Но за секунду до смерти гвоздика уронит в воду слезу, где будет собрана вся горечь пылкой неразделенной любви и демоническая страсть, перебродившая в отраву и ненависть к прекрасной недоступной возлюбленной. Потом роза тоже умрет. Лепестки ее быстро пожухнут и сникнут, она на глазах потеряет аромат и прелесть, суть и форму. И убьет ее скромная маленькая гвоздика. Видишь ли, цветы тоже, как люди. Потому-то мне всегда неохота ставить розу вместе с другими цветами или сравнивать ее с чем-либо. А еще лучше, если ты не будешь экспериментировать. Пусть будут розы и гвоздики сами по себе. Моя мама очень любила полевые цветы - васильки. Я их тоже люблю.

Я собрал этот букет и сложил его у твоих ног, во-первых, потому что люблю тебя, во-вторых, чтобы ты никому не завидовала и даже жене Эдварда Грига,* и в-третьих, потому что я мало смыслю в практических и полезных вещах.

* Упоминание норвежского композитора Эдварда Грига (1843-1907) неслучайно. У Ингрид - семья любителей музыки и музыкантов. В письмах у Б.К. она - Сольвейг...

Я шучу. Я умею делать замечательные кораблики из бумаги, составлять букеты цветов и рассказывать о запахах. Правда, все это ровным счетом ничего не стоит, но если тебе нравится, то я счастлив вполне, крепко-крепко тебя целую и остаюсь

Всегда твой Борис.

21.5.1973.

Отрада и успокоение моей души, моя девочка, любовь моя Ингрид - здравствуй. Получил два твоих письма и вот уже несколько дней каждую минуту счастливо живу с тобой и слышу твои слова прямо из уст в уши одному мне. <...>

Мы, на самом деле, прожили с тобой в письмах за полгода целых полвека, любили друг друга верно и до конца, ездили с тобой по белому свету, говорили, пели, сидели в театрах, пили-ели, читали, словом, все у нас с тобой было, и никто не стоял между нами, и никто не мешал нам.

Я боюсь загадывать так смело и далеко, как это делаешь ты, потому что очень хочу этого - держать тебя близ моего сердца, - и боюсь искушать нашу судьбу.

Когда я полагаюсь на собственный разум и жизненный опыт, мне становится понятно состояние матерого одинокого волка, окруженного собачьей стаей. И если мне волка жаль, так это мне себя жалко. Да глаголит твоими устами сама судьба, но я старше тебя гораздо и осторожнее...<...>

...Сценарий нашей встречи, нашей жизни. Кто их напишет - сюжет, мизансцены, контрапункты? Все это *an impromptus*. * Впрочем, если тебе хочется, попробую на отдельном листке и отправлю следующим письмом.

<...>

Мой ангел! Когда я - иншалла! - к тебе приеду (ты видишь, с какими оговорками я пишу об этом заветном нашем свидании? Боюсь сглазить и потому добавляю “иншалла”, а по-арабски это значит “если захочет Бог”), то, разумеется, приеду без Бемоли (привет и поцелуй тебе от моей псины в самый кончик твоего носа), потому что - ну куда нам столько хлопот сразу. Если бы я ехал куда-то далеко, тогда, конечно, привез бы ее к тебе и оставил бы, а уж ты увезла бы ее, наверное, в Пярну. Дальше, чем есть, я от тебя не уеду, не хочу. Ты не беспокойся ничуть, потому что я твой...

4.6.73.

* *impromptu* (англ., франц.), *exromptus* (лат.) - экспромтом.

Вариант I, Акт I, Явление I

Сцена I.

(Стук в дверь. В квартиру входит человек. Мужчина. Жгучий брюнет, карие глаза, рост - выше среднего, возраст - тоже, вид - растерянный, смятый и потный с дороги. В руках авоська и чемодан. Это, конечно, я.)

Я: Можно?

Ты: Сначала вошли, а потом спрашиваете, можно ли. Вам чего, гражданин?

Я: Я приехал.

Ты (со смехом): Это хорошо. Вы, наверное, думаете, что если Вы приехали, то этого достаточно, чтобы врывать в чужие квартиры, да? Вам кто нужен, я Вас спрашиваю.

Я: Ингрид Майдре.

Ты: Это - я. Что дальше?

Я (очень робко): Здравствуйте.

Ты (опять смеешься): Ну, здравствуйте. У вас все? Вот уж, действительно, здравствуйте, я - ваша тетя. Вы кто такой?

Я (в большом смущении переминаюсь с ноги на ногу): Если позволите, то я, некоторым образом, - Крячко.

Ты: Кто-кто?

Я: Крячко. Ну, тот самый, знаете? Который из Бухары. Борис в общем. Гм! Да! Кхм!

Ты (с испугом, слегка заикаясь): Н-н-н-н-е мо-мо-жет быть!

Немая сцена. Занавес.

Вариант II, все то же самое.

Я (швырнув авоську и чемодан на стол, свалив при этом вазу и растопырив руки в стороны, радостно, с подъемом): Ба! Кого я вижу! Здравствуй, мой друг, то есть, дорогая и прочее.

Ты (смущенно и взволнованно теребишь передник): Здравствуй, дорогой. Ты приехал?

Я: Как видишь. А ты что же, здесь живешь?

Ты: Да, я здесь живу.

Я: Ты точно здесь живешь?

Ты: Так точно!

Я: Чудно. Ну, а как ты живешь? То есть, я хотел спросить, как здоровье и так далее.

Ты: Ничего живу. Хорошо, одним словом.

Я: Сам вижу, что хорошо. (Разглядываю квартиру с выражением живейшей заинтересованности) Это что такое?

Ты: Это, милый, стена.

Я: Тэкс. Стена - это великолепно. (Считаю стены) Раз, два, три, четыре. Четыре стены. Еще есть?

Ты: Ну что ты! Больше не бывает.

Я: Ну-ну-ну. Не успел приехать, как ты меня сразу же учить начинаешь. Без тебя знаю, что не бывает. Потолок как?

Ты: Что,- как?

Я: В смысле, не течет?

Ты: Никак нет!

Я: Ладно. Мебель, вижу, порядочная. Дуб или орех?

Ты: А черт его знает, дорогой мой. То ли дуб, то ли орех, то ли карельская береза. Сам разберешься, если такой грамотный.

Я: Ну вот, ты опять за свое. Не ворчи. Ехал-ехал и приехал, называется. Устал, как лошадь, проголодался, как сто собак, домой приехал, а тут - на тебе за рубль двадцать. Ни сна, ни отдыха. Обед готов?

Ты: Скоро будет.

Я: Все у тебя скоро. Ничего нет вовремя.

Ты: Подожди немного. (В сторону) Приехал на мою голову, чтоб тебе провалиться.

Я: Что ты там говоришь?

Ты: Соскучилась, говорю, по тебе.

Я (самоуверенно): Ну еще бы! Небось, любая соскучилась бы. Сколько времени не видела меня, - с ума можно сойти.

Ты: Вот именно.

Я: Это - ничего, полезно. Зато теперь всей твоей хандре конец, не заскучаешь у меня.

Ты: Это верно, не заскучаю.

Я: Фу, устал однако. (Устраиваюсь на диване не раздеваясь, но поудобнее) Я пока сосну минут шестьсот, а ты тем временем, дорогая, приготовь пулярку в винном соусе и ростбиф с кровью. Да коньячок не забудь. Если надо, сбегай в магазин и ни в чем себе не отказывай. (Я засыпаю с громким храпом. Ты скрываешься на кухне, через полчаса выходишь оттуда с ведром кипятка и медленно, на цыпочкахходишь к дивану.)

Занавес.

Вариант III.

Вокзал или аэропорт осенью. Я выхожу из вагона или из самолета - не знаю точно. Что у меня в руках - тоже не знаю, не исключена возможность, что ничего. Место мне незнакомо. Я вообще ничего здесь не знаю. И никого. Одну только тебя. Вот я, наконец, вижу тебя. Ты спешишь. Я тоже спешу к тебе. Обнимаю тебя, целую и

чувствую своей щекой твою, как во сне. Так мы стоим с тобой молча и долго. Потом я засмеюсь и скажу, наверное, первые слова:

- Ну вот. -

Дальше занавес. Зрители нам с тобой не нужны, нам с тобой никто не нужен...

5.6.1973.

Здравствуй.

Виделся с тобой во сне дважды. Последний раз - сегодня. Вернее сказать, тебя не видел, не пришлось, но сон был о тебе. Состоял он из двух серий. В первой я попадаю на Луну, брожу по ее поверхности и проверяю свои о ней понятия: действительно ли там предметы в 5 раз легче, нежели на Земле? На сколько метров там можно прыгать в длину и ввысь? И прочие *tutti-frutti*.^{*} Оказывается, все это ерунда, ничего подобного нет, все так же, как и на Земле: гравитационная константа такая же, вес предметов не меньше (я там камни перетаскивал). Пробовал сам себя поднять - не смог, только вспотел от натуги. А кислорода мне там действительно не хватало, - временами я прямо-таки задыхался. (Я сплю на балконе теперь, а ночь сегодня была душная. В общем надоело мне там, стряхнул я с себя лунную пыль, плюнул в сердцах на лунную поверхность и слез с Луны на Землю прямо в город Таллин. (О чем я жалею, так это о том, что я не догадался прихватить для тебя лунный камень. Но ведь, ты пойми, что я не знал, куда я попаду. А помнить я о тебе всегда помню. Да ты не расстраивайся. Ничего особенного в лунных камнях нет. Обыкновенные, с рваными острыми краями. В другой раз захвачу.)

Прихожу в Таллине туда, где ты работаешь. Меня сразу окружают люди. Все знают, что я - к тебе. Интересуются, спрашивают: кто такой? зачем? откуда? почему к тебе? Я отфыркиваюсь, как кот, и отказываюсь отвечать. Угрожают: говорят: "Не видать вам Ингрид, как свинье неба". Игнорирую угрозы, дальше иду. Выясняю, наконец, в каком помещении ты, обычно, работаешь. Вхожу. Тебя еще нет, а у меня мало времени. Чья-то добрая душа поймела ко мне милосердие и говорит: "Хотите, я вам покажу любимое занятие вашей Ингрид". "Покажите", - говорю. Тут появляется микроэкран, куча разных линз, склянок и зеркал. Оказывается, твое любимое занятие в том заключается, что ты берешь каплю чистойшей дис-

^{*} *tutti-frutti* (ит.) - всякие фрукты, здесь - всякая всячина.

тиллированной воды, помещаешь ее на зеркало и рассматриваешь ее через систему линз. Пробую сам это сделать: беру твой микроскоп и т.д. Гляжу, сощурившись, словно из ружья стреляю. Вода прозрачная, кристальная, как бриллиант. В ней нет ни жизни, ни признаков ее. Не могу понять, почему тебе нравится это занятие. Говорю людям: “Передайте Ингрид, пусть возьмет воду обыкновенную, питьевую из водопроводного крана. Это гораздо интереснее. Там - шевеление, беготня и вечный бой. Бактерии и микробы в виде палочек, запятых и цепочек. Они пожирают друг друга, борясь насмерть, как в жизни”.

Разве я не так говорю? Ты досадуешь на меня? И тебе не нравится мой сон, да? А ведь я ни на чем не настаиваю, а всего лишь говорю свое мнение, что *“the first day of the nothingness”* гораздо хуже, чем *“the last of danger and depress”*.*

Дорогая моя душенька, я тебе пишу, а ведь мне тоже работать надо. Немедленно прекращаю и допишу тебе потом. Ну, целую, целую, не забыл, не забыл, еще целую.

Только что пообедал хлебом, сыром, огурцом, помидором, чесноком, солью и запил все это дело чаем. Я не хожу в столовую вообще, а ем там, где сижу.

Милый мой волчонок, я тебя очень люблю. Когда я пишу тебе об этом, мне хочется для торжественности даже трубку изо рта вынуть. Но продолжим.

Пишу тебе несколько дней подряд. Приучаю тебя обо мне думать по тем дням, когда от меня письма не будет.

Несколько раньше сегодняшнего сна видел тебя очень ошутимо: ты прижималась левой твоей щекой к моей, тоже левой. Я резко проснулся, чтобы обнять тебя и схватил руками пустоту. Вот как еще бывает, *Miss Everywhere*.**

Получил письмо с твоими волосами и двумя фотографиями. Волосы твои я узнал бы повсюду и сразу. Я ведь на них глядел всю дорогу от Бухары до Ургенча. У них твой запах. Но ты сама свой запах не знаешь, так что я тебе потом расскажу.

Фотография, на которой ты снята с Отеллами в бурнусах и с прочими цивилизованными мужиками, мне не нравится. Зато другая! Там - моя Ингрид, моя. Я готов был раздуться от гордости и лопнуть на месте от счастья. По улицам я шел высоко задрав голову и пустив грудь ко-

* *“the first day of the nothingness”* гораздо хуже, чем *“the last of danger and depress”* - “первый день небытия гораздо хуже, чем последний - опасности и уныния”.

** *Miss Everywhere* - Мисс Везде.

Моя радость, Ингрид.

...Сейчас я буду тебе говорить только о себе, т.е. без выводов и обобщений, а о тех страхах и радостях, что во мне есть с того времени *de facto*, когда ты мне сказала и когда я тебе сказал. (Ну ты же знаешь, что мы друг другу сказали.) Тогда я стал чувствовать себя ровнее, тверже, спокойнее и лучше во многих смыслах. Мне помимо воли захотелось быть лучше, чем я есть на самом деле. Думаю, что это тщеславие можно назвать естественным и единственно по этой причине - извинительным. Ты просто с трудом можешь представить, до чего мне вдруг захотелось тебе понравиться. Ведь я тебя люблю. Понимаешь ты это? (Странная штука, вторая моя сущность хранила в данном случае благородно-деликатное молчание и не взыскивала строго. Не взыскивай и ты.)

Но говорю все же: слава Богу, что в большинстве, на девять десятых, я оставался верен самому себе - в характере, в манерах, в привычках - и тебе это, наверное, тоже известно. Слова, что из меня выходили, тоже на девять десятых, сказаны, когда я о тебе помнил, а о себе забывал. И забывал о многих условностях, определяющих отношение одного человека к другому, что очень важно. И поворачивался в забывчивости иногда той стороной к тебе, какая у меня выглядела не совсем привлекательной. И был вовсе не так красив и хорош, как мне хотелось, когда я о себе помнил. Тогда тщеславие сползло с меня, как мишура, и я становился обычным, каким я был, есть и буду, независимо от того, полюбишь ли ты меня больше или разлюбишь.

В письмах я приходил к тебе, как приходят в лес или к речке. Подумай, ну кого мне было стесняться, если ты - речка? И перед кем гордиться? Просто я раздевался без малейшего зазрения совести, и вполне возможно, что многое для тебя было такой же неожиданностью, как родимое пятно на моем правом соске. Но опять-таки, никакого стыда я при тебе не чувствовал, да и сейчас не чувствую. Больше того, не хочу, чтобы у меня к тебе это когда-нибудь появилось. И входил в тебя я так же, как входят в воду. Самое главное в том, что я тебя полюбил и люблю, и это правда.

Ты как-то однажды сказала, что пыталась спасти одного человека своей любовью. Я не верю в это, не верю. Рассчитывать на благодарность взамен любви - не стоит связываться. Это не было у тебя любовью - вот и все. Если я тебя люблю, то вижу в этом свое спасение, прежде всего, и спасаю себя сам, как врач, который сам себя ле-

чит. А твое спасение - в твоей собственной любви. Погляди сама, и увидишь, что так оно и есть, если ты говоришь: любовь - благо, в первую очередь, для того, кто любит.

<...>

Мне мало приходилось о себе рассказывать. Ничего, расскажу еще. Но мне неохота говорить о неприятностях, которые у меня были прежде, да и сейчас есть. Но все, о чем я тебе писал за все время - мои мысли и мои чувства. Ты написала, что в каком-то письме я тебе наврал три короба. Думаю-думаю и не могу вспомнить, где же это было и в связи с чем. Конечно, я не исключаю вовсе, что этого не могло быть. Мне приходится часто погружаться в мир вымышленных образов, оживлять трупы, сбивать один коктейль из трех-четырех ингредиентов и ощущать желаемое, как действительность. Порой бывает мучительно в действительность возвращаться. Не обращай на это внимания. Возможно, что я тебе при случае резко скажу: "Не смотри туда. Там люди бьют друг другу морды". И еще знаешь что? Мы с тобой не пойдем ни в кафе, ни в старинные кабаки. Тебе это не идет. А мне одному без тебя что-то не хочется.

Удивительное, легкое и теплое ощущение создают у меня в душе твои письма. Ощущение дома. У меня прежде этого никогда не было - ни в первый, ни во второй раз. Как я ни старался, - не было. Зато теперь есть. Если даже это иллюзия - все равно есть.

Везет же дуракам! Ведь я дурак не только не хуже тебя, а такой, каких свет не видывал. Как мне говорили дважды, "Дураку и сны снятся дурацкие". А если двое говорят тебе, что ты пьян, тогда, значит, иди и проспись, хоть ты и трезв.

Ты несколько раз повторяешься, что терпеть не можешь людей, которые слишком *fond of their glasses*,* будто боишься и думаешь помаленьку: "А бес его знает, что он за механик, этот Крячко. Может, и вовсе какой-нибудь беглый каторжник". Успокойся, душенька. У твоего Крячко есть две отвратительные привычки, которые очень мешают ему жить. Во-первых, этот тип, Крячко то есть, безумно любит свою трезвую голову, эгоист. У него, дескать, там идеи и открытия, и всякая муть. Во-вторых, когда он вливает в себя водку или коньяк, тогда у него тупеют органы чувств и он не может разобрать, где кислое, где сладкое, где - что, а это ему страшно не нравит-

* *fond of their glasses* - тянутся к рюмке.

ся. Раза четыре в жизни я набирался до положения риз, раз десяток был просто пьян. (Как бы мне тут выкрутиться половчее перед тобой, ты не подскажешь?) Не то, чтобы очень пьян, но весел бесконечно. Веселье это впрок мне не шло, потому что я порой делал и говорил глупости, а тот человек, что внутри, беспощадно эти эскапады регистрировал и, начиная со следующего дня, мучил меня и избивал неделями. Мне тоже это не идет.

О детка! Пороки мои бесчисленны. Я даже гашиш курил. Один раз. Для опыта. Эта дрянь с маслянисто-парфюмерным привкусом не производила никакого впечатления, но я все же выкурил порцию до конца. Потом вынул ручку и приготовился записывать видения, которые меня должны были посетить. Видений не было ни прекрасных, ни плохих, и я разозлился, что тратил время впустую. Кроме того, я не мог удержаться от брезгливости и отвращения (хотя по природе я далек от чистоплюйства), когда видел конвульсии физиономий завязтых курильщиков. Это - мгновенные и частые сокращения мышц лицевых, которые искажают лицо до неузнаваемости и ужаса, хуже чем пляска святого Витта. Мне достаточно было вообразить себя в таком жалком бесконтрольном положении, чтобы решить: "Чтоб вас всех черт побрал, нашли забаву".

Ну, хватит. Лучше о чем-либо другом. Камень, что я ношу (и тогда при тебе носил), - гранат. Он черный и оживает лишь на солнце. Мне он нравится из-за неяркой тепловой, внутренней игры. Здесь его называют "цейлони", т.е. цейлонский камень. Свойств ему приписывают три: 1) прогоняет дурные мысли, 2) удерживает владельца от посягательств на самого себя, 3) делает приятную беседу. Мне он помогает только в третьем случае, в особенности, когда я пишу тебе письма и беседую. Я с тобой постоянно беседую: просыпаюсь с тобой, ложусь спать тоже с тобой.

Еще мне запомнилась строчка из твоего письма, что ты меня любила бы и в том случае, если бы меня никто не любил. Сердце мое, Ингрид, соображаешь ли ты сама, что ты мне сказала? Если соображаешь, значит ты в самом деле крепко меня любишь. Мне это могла сказать только одна женщина, что меня когда-то на свет родила. А теперь ты говоришь. Целую твои руки. Люблю тебя, люблю.

Твой Борис.

8-9.6.1973.

Вот мы с тобой и отдежурили в газете. Уже поздно. Ты ложись и поспи хоть немного, а я пойду пройду по улице и опущу в ящик письмо...

Свет моих глаз, девочка моя, Ингрид!

Значит ты не веришь, что все так, как я тебе говорил? Тогда я с самого начала. Тем паче, что мне на редкость приятно рассказывать, как я в тебя влюбился.

Ну, ты уже знаешь, как мы ехали в автобусе. Ты сидела справа у окна, через одно сиденье от меня. Я имел возможность всю дорогу глядеть тебе в затылок, что я и делал, потому что мне нравилось это занятие. Я подумал тогда, что волосы у тебя на редкость хороши и задался вопросом, какое у тебя должно быть лицо? Что оно у тебя округлое я знал точно, сидя еще сзади, потому что форма твоей головы не предполагала никакого другого: ни овального, ни продолговатого.

Голос твой я слышал, когда ты сказала впереди сидящей женщине из вашей группы несколько слов. Но по голосу трудно судить. Когда-то, лет 15 назад, я шел по городу Краснодару, а впереди меня шли две девушки и о чем-то меж собой говорили. Голос одной из них показался мне таким чистым и ангельским, что я решил: физиономия должна быть непременно такой же. Словом, я следовал за ними, как на привязи, потеряв первоначальную цель движения. Не знаю, способна ли ты понять мое возмущение и разочарование, когда я, наконец, дождался, чтобы девица повернулась ко мне лицом. Я был обманут самым подлым образом. Знаешь ли, я очень люблю лошадей. Это животное самых благородных линий, и греки были абсолютно правы, когда из сочетания лошади с человеком сделали кентавра. Но - кесарево кесарю! - а когда у человека лошадиная физиономия, это действует удручающе. Вот что я увидел. Вот как я ошибся.

Но я отвлекся, ты меня извини. Так вот: сначала ты повернулась вбок и показала мне свой профиль. Представляешь, как я был доволен? Нет, ты себе этого не можешь представить. Я был обрадован и немножко счастлив. Не подумай, что я в тебя был уже влюблен с этой минуты. Совсем нет. Но теперь, с этой минуты мне потребовался твой анфас. Я уже мечтал о нем и следил за каждым поворотом твоей головы. И твое лицо оказалось... Моя единственная, моя жизнь и сладость жизни, сейчас я могу наговорить тебе массу приятных слов и ты не разберешься, да и я тоже, где - правда, где - заблуждения. Ведь мы с тобой богаты задним умом по отношению друг к другу. Мне вот кажется, что я люблю тебя с самого начала, и я верю в это, хотя знаю, что это - не так, что это пришло несколько позже, я тебе скажу, когда. Так ведь и ты - то же самое, писала мне, что когда ты меня увидела, то с тобой едва ли не приключилось

что-то вроде легкого обморока на почве неосознанной любви. Сейчас нам это кажется, мы оба с тобой в это верим: - блажен, кто верует.

Что же было в твоём лице для меня? Спокойствие, безмятежное спокойствие, как будто у тебя все решено и ты все знаешь, и во всем уверена. Ты совсем не волновалась, я бы сказал, на тебя глядя. Мягкость - очаровательная настолько, что я не уловил ни одной резкой черты, и мне решительно не хотелось представлять себе другое лицо, искаженное болью, досадой или гневом. Мне очень мало видеть приходилось лица, которые бы сами говорили за себя: "Я никому не хочу ничего плохого. И у меня нет врагов". Может, это мне теперь так думается, но я вправду так думаю, и ты не смей упрекать меня во лжи.

Очертания рта лучше всего выражают характер человека, поскольку рот и губы - самая мышечная и подвижная часть лица. Характер резкий, жадный, злой, сластолюбиво распутный, замкнутый всегда узнаешь по складкам, сжатиям и растяжкам губ. Рот у тебя сделан великолепно, губы были без признаков помады и сложены немножко капризно по-детски, как у девочки, которая вот-вот скажет: "У других есть, а у меня - нет. А мне тоже хочется". Любовь моя, как я хочу напиться из твоих губ. Я страшно хочу пить, а утоление жажды в твоих губах. Ты мне дай напиться, а больше никому не давай.

В глазах у женщин либо чувство, либо пустота. Это обычно. Но я не успел промерить до дна глубину твоих глаз, у меня просто не было возможности мало-мальски задержаться, поймав твой взгляд надолго. К тому же я побаивался женщин и предпочитал глядеть в сторону, а не *point-blank**. Да оно и лучше. Что бы ты подумала, если бы я тарашился на тебя? "Вот, сказала бы, прошелыга. Сразу видать, что за каждой юбкой волочится". Во время экскурсии я даже терял тебя из вида (помню, что писал тебе об этом.) А теперь ты уж мне дашь на себя наглядеться, когда я к тебе приеду. Кажется, я досыта на тебя не нагляжусь. Ты - моя ненаглядная любовь.

Где-то, не доезжая Ургенча, автобус остановился и стоял минут двадцать. Многие сошли, ты - тоже. Я увидел, что ты невысокого роста и сложена, как мне хотелось угадать. В теле твоём я не увидел ни хрупкости, ни грубости. Ты вся была близка мне, движения твои, как и ты сама, просты, естественны и прекрасны. Я никогда не говорил тебе это, чтобы не взглянуть и чтобы ты лишнего о себе не возомнила, как

* *point-blank* - прямо в глаза.

это в обычае у женщин, но, Ингрид, ты не только совершенство, ты - родной человек и половина меня самого. И мне не хватает тебя. И пусть всегда так будет.

Имя твое я запомнил сразу и навеки. Тоже писал ведь тебе об этом раньше. Но я повторил его несколько раз, чтобы покрепче помнить. И мне было невыразимо хорошо, когда шли с тобой рядом от дворца Таш-Хаули до мавзолея Пахлавана Махмуда. Ты понравилась мне. Очень. Очень. Тебе хочется, чтобы я написал, что тогда я полюбил тебя? Опять же нет, это было потом. Но начало было здесь, это я точно знаю.

Рекламу на финском языке я дал тебе случаем. Если тебе хочется, тогда верь, что это счастливый случай. Я тоже верю в это, раз ты придаешь ему значение.

Когда я писал свой адрес на рекламе, мне так захотелось, чтобы ты написала. Это единственная возможность, которой я свои чувства к тебе выразил - адрес. Потом я несколько месяцев ожидал, а ты не писала, и потому я перестал ожидать. И даже не поверил, что это ты, когда получил Таллинский путеводитель. Без письма. Как тебе не стыдно только. Но мне так хотелось считать, что это - ты, и я выразил это все догадками моего первого к тебе письма.

Узнал я, что ты меня любишь из письма, где ты пригласила меня к себе в Таллин. Помнишь, как это было? Теперь можно было бы и мне сказать о любви к тебе, но я побоялся. Решил предполагать, что это просто радушие и привет. А когда ты совсем ясно об этом сказала, я сидел на скамейке, читая письмо твое, и ничего не видел, кроме фразы *"but now loving you is a real blow"*. * И все во мне звенело от счастья, и все вокруг было сказочным, и люди все добрые, и до тебя было совсем недалеко. Я тебя нашел и взял тебя к себе.

Непривычно было чувствовать себя влюбленным. Но ты мне ничуть не мешала, носить тебя было легко и радостно. А сейчас я не могу с тобой расстаться, у нас с тобой вечное свидание день и ночь. Я тобой люблюсь издали и рядом. Ты - моя Ингрид.

Чего я боюсь, так это загадывать вперед. Пока мы с тобой не увидимся. А потом уж загадаем, если тебе захочется. Душенька, я люблю тебя и целую, а больше ни о чем тебе писать не могу.

Будь весела, довольна и счастлива.

Всегда твой Борис.

12.6.1973.

* *but now loving you is a real blow* - "но теперь любовь к тебе - настоящее потрясение".

Душенька!

Когда от тебя не приходит письмо, а поговорить с тобой мне нужно, тогда я возвращаюсь к твоим предыдущим письмам, нахожу какую-либо мысль, верчу эту мысль в руках, будто ребенок игрушку, а потом раскручиваю ее. Ты совершенно права в том, что не преуменьшаешь свою значимость для меня. Вследствие этого ты и составляешь для меня все, а я в тебе нахожу все, что мне надо: и близкого человека, и верного друга, и любовницу, и мать, и родную душу - все решительно. Так что ты еще не всех назвала прекрасных женщин.

И все ж я тебя ни с кем не сравниваю, потому что они - это они, а ты - это ты одна-единственная. О возлюбленной Петрарки мне почти ничего не известно, поэтому Лаура отпадает сразу. Беатриче мне нравится, только она ведь и не жила почти что. Кто ее знает, какой она была бы потом, поживи она еще десяток-другой лет. В том виде, в каком она сопутствует Данте, я ее принимаю. Но еще раз говорю, что никогда не пытался олицетворять тебя через попутную абстракцию. Дульсинея мне представляется более живой, чем Лаура с Беатриче, хотя ее и на свете не было - все же она воплощенное, чем другие. Но и Дульсинею я готов зачесть лишь ради Дон-Кихота, потому что люблю этого нелепого витязя и готов быть его паладином. Дульсинея рождается из Дон-Кихота, как Ева из ребра Адама, как *deus ex machina*,* как Аполлон из головы Зевса, как Афродита из морской пены и как чертик из табакерки. Без Дон-Кихота она - ничто, хотя, конечно, и Дон-Кихот без нее не тот. Мне милее долговязый рыцарь, а не дама его сердца. Такого же мнения, наверное, и все жители Монтельской округи, которые "поныне говорят, что такого целомудренного любовника и храброго рыцаря с давних пор не бывало в их краях".

Если хочешь, тут есть некоторая связь: я тоже фантазирую о тебе. Но мои фантазии на редкость хорошо совпадают с тем, что ты собой являешь. Мой ангел, ты не должна сердиться на меня, если мои фантазии иной раз бывают чересчур смелыми, вроде того что я представляю себе, как ты меня обнимаешь. Мне это доставляет покой и счастье. Но ведь и ты, думаю, не согласилась бы, чтобы я тебя любил, повторяя кого-нибудь, а тем паче Дон-Кихота, потому что наши с тобой мысли, желания и чувства совпадают.

Не приходило ли тебе в голову, что мы часто выражаем независимо друг от друга одни и те же заботы, сомне-

* Как "бог из машины" (лат.)

ния, ощущения и радости, словно все это - наше общее достояние. Готов подозревать, что между нами установилась до того прочная связь, что тысячи верст не мешают нашему общению, и я тебя понимаю и чувствую. Ты для меня лучше всех на свете, кого я знаю и кого - нет. Будь спокойна на этот счет: я тебя все равно люблю.

Целую тебя -
Твой Борис.

13.6.1973.

Сердечный друг, Ингрид!

Вчера в письме я обманул тебя и сказал неправду. Если же говорить прямо, то прямо-таки ложь сказал, наврал и наврал целую кучу. Сейчас мне стыдно. Я краснею и мучаюсь. Ночь спал плохо, ворочался с бока на бок и зубами скрипел.

<...>

Возьми мое вчерашнее письмо за 13.6.1973, возьми теперь карандаш и вычеркни Аполлона, а вместо него поставь Афину Палладу. Ну, теперь все. Вроде легче стало жить.

Ты видишь, какой я болван? Так забыть, что Зевс из собственной головы родил женщину Афину Палладу, а не мужчину Аполлона. А Дон-Кихот уже родил Дульсинею, тоже женщину.

Небось, думаешь, что я тебе опять заливаю. Ничуть. Я могу рассказать, как это было у Зевса. Роды были тяжелыми, он долго страдал головными болями, а на голове у него образовалась шишка больших размеров, которая все время увеличивалась в размерах, пока, наконец, не лопнула. Так появилась Афина Паллада.

Моя прелесть, мне захотелось немного пошутить и разыграть тебя. От тебя уже четвертый день писем нет и я скучаю по тебе и по письмам твоим.

В Бухаре наступила жара. Термометр вчера показывал в тени +39°C. Это еще не предел, еще будет и 40, и 41, и 42. Трудные месяцы июнь и июль, потом будет легче. А в ноябре - лучше всего, потому что ноябрь - самый прекрасный месяц города Таллина. Ты знаешь, почему так.

Жару я переношу хорошо. В жару до 40 градусов можно вполне нормально жить. А вот уже когда больше, то становится трудно, давит. Самую большую температуру летом я переживал в г. Термезе, что на границе с Афганистаном. Там столбик ртути поднимался в тени до 45-46°C. Это значит, что на солнце доходит до +70°+72°C. Тогда человек при движении механически выключает все

лишнее и, например, совсем не размахивает руками при ходьбе. Воздух сухой, и пот испаряется мгновенно, оставляя на коже поваренную соль в мельчайших кристаллах и в чистейшем виде. Я думаю даже, что этот NaCl можно вполне в дело пускать - солить борщ, к примеру. Поэтому потеть в жару - блаженство. Поэтому я люблю чай зеленый, как и те, кто тут постоянно живет. Древние египтяне знали толк в этом и приветствовали друг друга словами "Как потеешь?", а не "Как живешь?"

Холод я тоже хорошо переношу, хотя он выводит меня из состояния ленивого равновесия. Милая галочка, я тебя в жару и в холод люблю, летом и зимой, потому что ты меня и остуживаешь, и греешь, когда надо.

Нежно и крепко тебя целую.

Твой Борис

14.6.1973.

Сегодня мы с тобой опять дежурили в газете.

Ингрид, любовь моя!

Ну вот, Крячко и Майдре дежурят. С большим интересом читают газету вдвоем.

Мне нравятся дни дежурств. Сначала я отправляюсь поспать, где-то около 1 час дня. С тобой, разумеется. Потом в половине четвертого встаю, беру тебя и Бемоль (тебя-то я всегда беру, а Бемоли дни дежурств нравятся потому, что я ее прогуливаю больше обычного) и иду на почту. Сегодня мне от тебя не было ни слова. Тогда я возвращаюсь домой совершенно несчастный, и собака чувствует это. По пути случаются разные разности. Бемоль, увидев пса, начинает тянуть свору и скулить. Тогда я ей говорю: "Оставь его. Он недостоин тебя", и мы идем дальше.

Дома я кормлю Бемоль и наливаю свежей холодной воды для нее, сам слегка питаюсь и к 6 вечера иду в редакцию.

Сейчас еще нет готовых полос, и я пишу тебе. Слушай, возьми меня как-нибудь к себе на занятия. Отчего бы не взять? Я ведь тебя беру. Сел бы я в самый конец класса с каким-нибудь двоечником, только не с отличником и не с девицей, так как девицы мне ни к чему, а отличников я презираю с детства. Среди отличников мерзавцев встречается намного больше, чем среди других разрядов. Разве ты не замечала?

Так бы я сидел и внимательно слушал все, что ты рассказываешь (прости, волчонок, принесли полосу. Сейчас вычитаю и продолжим).

Одна полоса вычитана. О чем мы с тобой? Да, сидел бы я тихо, затаив дыхание, и слушал бы о фонемах и дифтонгах, об открытых и закрытых слогах, честное слово, обо всем, что ты говоришь. Иногда бы я незаметно для других подмигивал бы тебе, чтобы ты не волновалась в моем присутствии. Как Финдлею* быть серьезным!?

Потом ты вызвала бы меня и сказала: “Крячко, *darling, fire ahead about something*”,** а я поднялся бы и ответил: “Ис из лондон овегио джаз колхокей. Джони мако иди-си. Мюзикхолл”, или что-нибудь еще похлеще. (Этой фразе меня научил один студент-медик, когда я тоже был студентом. Он ее усвоил по радиоприемнику на слух и всегда меня ею озадачивал, спрашивая потом: “Что я сказал?” Я отвечал: “Не знаю”. Тогда он мне говорил: “Эх ты! А еще читаешь толстые английские книжки, а сам ни бум-бум”. Самолюбие мое страдало, и я запомнил фразу, которую до сих пор не могу ни осмыслить, ни расшифровать. Передаю ее тебе, может быть ты сумеешь догадаться, что все это значит, а я поднимаю руки вверх и капитулирую.)

Мое сокровище, Ингрид, возлюбленная моя, принес ли еще одну полосу для читки. Ты посиди, пока я ее прочитаю. Выпей чаю. Тебе жарко? Сейчас я включу до отказа вентилятор. Вот так.

Нет, галочка, лучше я ждал бы тебя на улице. Так хорошо дожждаться тебя и глянуть в твое лицо сразу. Мне очень хорошо, что ты меня любишь. Я тоже тебя люблю. Мне было бы уже невозможно без твоей любви обходиться.

Но почему ты думаешь, что я нравлюсь многим? Вовсе нет. А некоторые переносят меня с большой натяжкой. Ты, наверное, думаешь, что такие же письма я пишу еще кому-либо, помимо тебя. Но ведь это невозможно, ты и сама должна понимать, что слово, сказанное дважды, теряет в смысле и в весе и делается фальшивым. Я говорю только с одной тобой, какой же из меня *enchanter*,*** когда я всего-навсего влюблен в тебя по уши.

Если от тебя долго нет писем, я читаю твои старые и нахожу в них что-нибудь новое, связывающее нас с то-

* Персонаж стихотворения “Финдлей” шотл. поэта XVIII века Роберта Бёрнса. Судя по всему, Б.К. ценил переводы его стихов С.Я. Маршака, хотя наверняка читал поэта в подлиннике.

** “Крячко, *darling, fire ahead about something*” - “дорогой, удиви-ка нас чем-нибудь”.

*** *enchanter* - обольститель.

бой. Или гляжу на твою фотографию, где стоит единственная женщина, которая мне так сильно нравится, так сильно, что у тебя фантазии не хватит вообразить. Она, эта женщина, прекрасна и умна, добра и скромна, одним словом, она – единственная. Зовут ее Ингрид. Я ее нашел с опозданием, но, главное, нашел-таки. Детка, маленькая, держись крепче за руку и не потеряйся среди людей и машин.

Ты проголодалась, а я – тоже. Давай с тобой поедим, а то целый день на молоке. Ты меня когда-то спрашивала, что я люблю есть? Все, что ты приготовишь. Что проще и легче тебе готовить. Гурман и гастроном из меня вовсе никакой. Утром мне нравится налить молока в миску, крошить туда хлеба и есть ложкой. Ты не пробовала? Вкусно. Из общедоступных лакомств я равнодушен к тортам и пирожным. Позволяю это себе один раз в два-три месяца. А по личному предпочтению люблю такое сочетание крайностей, как пчелиный мед и соленые огурцы. Я умею готовить яичницу и сбивать гоголь-моголь. А самое неприятное вкусовое совмещение, на мой взгляд, это дыня с селедкой.

Ингрид, у меня с собой есть: огурец (один), помидор (один), колбаса докторская (сто граммов), соль, хлеб. Сейчас мы с тобой все это прикончим и выпьем зеленого чая. Чаю у меня сколько угодно.

(Принесли третью полосу. Придется нам повременить с чревоугодием. Ничего, девочка, ничего.)

Только мы с тобой поужинали всухомятку, как принесли последнюю полосу и пришлось сразу читать. Теперь все прочитано. Дело за матрицовщиками и печатниками. А поскольку сейчас 1 ч. 30 мин. ночи, то газету подписывать придется часов в 7 утра.

Я тебя совершенно замучил. Раздевайся и ложись, а я отнесу письмо, чтобы оно ушло завтра пораньше к тебе. Скоро я приду, тоже лягу и разбуду тебя. Мне без тебя плохо спится. Не беспокойся и не вставай, ключ у меня есть.

Целую тебя, мой ангел.

Твой Борис.

15.6.1973.

Мой ангел!

На девятый день твоего молчания мне вдруг стало невыносимо скучно жить. И тоска. Знаешь ли, что это такое? Ее, тоску то есть, легко воспроизвести искусственно, если зажать кому-нибудь пальцы дверью и медленно

придавливать. Тогда сразу станет видно, как человек за-тоскует лицом и заскучает.

Сегодня я напросился дежурить, чтобы встряхнуться от твоей летаргической и тоскливой немоты. А не погово-рить с тобой - не могу, потому и пишу. Сменил вче-ра один перстень на другой и ношу теперь вместо гра-ната сердолик. Его на Востоке зовут “хакык” (к=“к” гортанное, на Западе, наверное, таких звуков нет). У меня нет особого пристрастия к сердолику, хотя я их носил много - от темнокоричневых до опаловых, близ-ких по цвету к белым изумрудам. Самый интересный из них был в виде кривой изогнутой слезы или крупной запятой. Он не был оправлен, но отшлифован мастер-ски, и лет ему было не меньше 1500, а то, возможно, и все 2000. По нему шла надпись клиньями мертвого ара-мейского наречия: “Благословение бога Митры тому, кто носит”.

Сердолик - тяжелый камень. Но помимо всего, это - любимый камень пророка Мухаммеда. Его свойства - Ве-ра, Надежда и Ожидание. Все эти свойства - трудные, по-тому он, вероятно, такой тяжелый, что от него начинают ныть пальцы. Я его вынужден носить, так как ожидаю твое письмо, надеюсь его получить завтра, а если и завт-ра ничего не придет, то верю, что когда-нибудь письмо от тебя все же будет.

Моя родная галочка, я жив и здоров, и тебя по-преж-нему люблю и даже больше. Следовательно, у меня все в порядке.

Сегодня газета задерживается, не готова еще ни одна полоса, и придется мне быть тут до утра. Только что сбил немножко свой сплин тем, что посмотрел по телевизору встречу Брежнева с Никсоном. К Брежневу я отношусь без личных симпатий, думаю, что их у него и без меня вдосталь, а передачу смотрел с большим напряжением и боялся, как бы какой идиот не пнул в него из пушки. У них это запросто делают. И был прямо-таки доволен, когда вся церемония закончилась в лучшем виде и благо-получно.

Если ты смотрела передачу, то, верно, заметила “сце-ну на балконе” Белого Дома, интереснейший момент ин-тима, когда Брежнев говорит что-то этакое Никсону на ухо. В интима, мне кажется, не было бы никакой необхо-димости, и он наверняка потерял бы всю свою сладость, если бы Леонид Ильич не знал, что за ним сейчас наблю-дают китайцы, а Дик не знал, что за ним следят в оба Ла-тинская Америка и арабы. Политика, разумеется, скучное

дело, но иногда она бывает такой же захватывающе интересной, как и театр.*

Знаешь ли, в газете тоже при всей ее нынешней однообразности бывают веселые моменты. Нам поступает авторский материал, и мы его обрабатываем. Авторы разные и материал тоже разный. Мне недавно попал для обработки очерк, где автор описывает одного колхозника: как он примерно трудится, как он любит землю, как он дидактически делится опытом и какой он “энтузиаст своего дела” и пр. Очерк называется просто и вразумительно: - “Любовник родной земли”. Великолепно! Мы с полчаса не могли успокоиться и навести в отделе трудовую дисциплину.

Когда я напишу тебе письмо, а полос еще не будет готовых, буду что-нибудь писать свое, а ежели не получится, тогда сяду за газетный материал.

Моя милая девочка, Ингрид, ты мне споешь эту финскую песню, что прислала мне в последнем письме, когда мы будем с тобой. Эта песня мне кажется веселой. А мне очень не хватает веселых песен, я больше пою какую-нибудь печаль. Кроме того, эта песня, как ты говоришь, про тебя и про меня, а это очень важно. Настолько важно, что я целую твои губы и остаюсь с вечной любовью к тебе.

*Твой Борис.
18.6.1973.*

Моя единственная!

Я получил твое письмо на одиннадцатый день. Понимаю и воспринимаю твою занятость, но прошу тебя: не оставляй меня в неведении о себе больше, чем на неделю. В крайнем из крайних случаев оповещай меня кратко: жива-здорова. Возможно, ты по привычке думаешь о

* Недаром же и роман, зарождавшийся в те годы событийно судьбой самого писателя, назван “Сценами”. Фигуры политиков также “захватывали” его мысли. А Никсон, 37-й президент США как раз с 1969 по 1974-й (при нем окончена война во Вьетнаме), видимо, совсем не казался Б.К. скучным. В начале 90-х писатель введет его персонажем-инкогнито, обнаруженным славными “органами” в качестве простого туриста в Самарканде еще аж в 1961 году, когда тот был вице-президентом и у него “не заладились” московские переговоры с Хрущевым, - в свою пародийно-парадоксальную повесть “Во саду ли, в огороде”. В 1994 Б.К. отослал рукопись за рубеж, в журнал “Грани” (Франкфурт), где в конце 80-х уже публиковались его рассказы. Эту повесть для “Вышгорода” (№ 3,96) он “выправил, и она стала на пять страниц больше. Отдельно поработал над Ельциным” (“Избранная проза”, письмо Т.П. Милютиной в Тарту от 13.5.96). Повесть “Во саду ли” включена и в “Избранную прозу” (2000), а в 2002 появилась в журнале “Дружба народов” № 5 (Москва), но в усеченном виде, без дописанного “к выборам” новорусского царя-батюшки... Так что Борис Юлианович не зря считал политику “захватывающе интересной” до конца своего и XX века.

себе в какой-то степени отчужденности от меня, тогда как ты для меня - все или почти все, и твое молчание действует на меня и давит со страшной тяжестью. А сейчас в особенности.

Новостей навалилось на меня множество, и все одна другой хуже. Состоялся разговор с *daddy-of-them-all** нашего листка. Суть всего этого такова: *decent people, in corpore, take me to be persona non grata and not wanted any more.*** Честное слово, это явилось так сразу, что я не успел приготовиться. Слава Богу, что не расплакался, дело стояло за малым. Таковы дела.

Теперь я вскоре должен буду из Бухары уехать. О выезде я тебе сообщу, а ты покамест пиши по прежнему адресу. В голове вертятся Хива и Самарканд. Думаю, что Хива как-то приличнее, наверное туда поеду. Там мне надо будет заработать немного денег. Следовательно, ты можешь понять, что с отпуском все валится в тартарары, и я, по всей видимости, приеду к тебе раньше ноября.

Сейчас я написал несколько писем, в том числе в Хиву. Душенька, если хочешь, то я представляю тебе поразмыслить над одной проблемой: чем я мог бы заниматься в Таллине? Что я там делал бы? Я стараюсь себе вообразить это, но у меня ничего не выходит.

В эти минуты мне думается иначе, нежели обычно, и я чувствую себя счастливым лишь по той причине, что где-то есть ты. А это опять-таки потому, что лучшие свои надежды я возложил на тебя в желании и стремлении найти в тебе все, что мной было потеряно прежде. Если и ты найдешь во мне то, что ищешь, тогда все будет хорошо.

Не давит ли на тебя все это? Не трудно ли тебе, Ингрид, миленький мой дружок? Ты не волнуйся за меня. Все в порядке вещей, нормальный ход событий. Это уже было не раз раньше, так что не бойся, не упаду.

Крепко целую тебя, очень крепко. Будь благополучна и обычна, спокойна и весела.

Твой Борис
21.6.1973

Могло случиться, что я тебя огорчил своим последним письмом. Крошка, ты меня прости, сказалось мое скверное настроение. Теперь уже ничего, сносно, терпимо. В

* *daddy-of-them-all* - босс, наше всё (примерно так).

** *decent people, in corpore, take me to be persona non grata and not wanted any more* - все порядочные люди больше мне не доверяют и больше во мне не нуждаются.

любом случае настолько терпимо, что я опять в состоянии смеяться сам над собой.

Письмо твое милое и долгожданное получил и фотографию - тоже. Все это было очень кстати, чтобы вскоре прийти в себя и опять о тебе думать.

Я тебе, помнится, написал, что отправил в Хиву письмо сразу же после беседы. Ответ жду через неделю. Обо всех *particulars** я тебе сообщу, а о выезде, ежели он состоится, уведомя телеграммой. А пока работаю. Товарищи ко мне относятся хорошо, никто, по-видимому, ничего не знает, а я ни с кем не делюсь.

Ты спрашиваешь о Бемоли. Могу сообщить словами письма маленького мальчика: “Вы спрашиваете, как поживает мой ежик? Он поживает плохо. Он - умер”. Успокойся, Бемоль жива-здорова, только ее у меня больше нет. Отдал ее охотнику, а тот увез ее в кишлак, далеко, где будет натаскивать ее на дичь и зайцев. След она брала превосходно, а стойки никакой еще не выработалось, ведь она ни разу не была на охоте. Ее охотничьи инстинкты прорывались часто, но где им было высвободиться до конца? - ведь я не охотник, а почти сам такой, как моя бедная псина.

В доме меня многие называли “ненормальным” из-за собаки, - она иногда лаяла по ночам. Было несколько угроз и предостережений.

В особенности близко к сердцу я воспринял угрозу соседа. Этот тяжелоатлет-гиревик обещал ее отравить, и у меня пропал всякий покой. В конце концов, я был просто доволен, когда человек попросил ее у меня для ее собачьего дела и пользы. Такие дела. Таковы обстоятельства и люди.

Мне передавали, что хозяин собаки доволен и что ей у него лучше, чем у меня. Ну, и на этом ладно.

Много потерь, много издержек, и чем дальше, тем их больше и тем сложнее их переносить и переживать. Временами это обретает новое качество и становится сердечной болью, что еще не самое худшее. Намного хуже, когда чувствуешь, как приближается отчаяние. Мне привычно прогонять это отвратительное состояние какой-либо эскападой или экстравагантностью, которая никому не причиняет ни зла ни боли и в которой участвую только я, обращая бег собственных мыслей в противоположную сторону. Так что до предела отчаяния я никогда не доходил и постараюсь не дойти.

* *particulars* (англ.) - подробности.

Опять ношу свой “цейлони”, а сердолик снял. Гранат все-таки мой камень. Дорогая Ингрид, ты меня спрашиваешь, как я отношусь к твоему русскому языку? Положительно, мой свет. Мне кажется даже, что будь мы с тобой лишены дара речи, мы и тогда бы друг друга понимали и чувствовали, и предугадывали, и любили не меньше, чем сейчас.

Получил твое письмо и очень рад, счастлив. Я начал писать тебе и задержал открытку потому, что вспомнил, что ты уже вымыла окна в новом обиталище, куда я впервые посылаю свое письмо.*

Новостей и перемен в моем положении бывает много каждый день. Сейчас, кажется, идет речь о моем устройстве, если я верно предугадываю, в экскурсионном бюро. Как бы ни было, галочка, какие бы перемены вокруг меня не происходили, неизменно только одно: мы с тобой не позже ноября увидимся. Я тебе прошлый раз написал несколько опрометчиво, слишком *de-facto*, тогда как тебе совершенно необходимо взглянуть на меня: тот ли я, что ты любишь? Ты для меня, - сама знаешь, что я готов обнять тебя, закрыв глаза, потому что знаю наверняка, что ты для меня - все. Бывают у меня минуты, когда я соприкасаюсь своей душой с твоей и забываю даже о том, что я - мужчина, а ты - женщина. Правда, потом я спохватываюсь и стараюсь исправить оплошность свою, и припоминаю один случай.

К Будде обратилась женщина и попросила принять ее в общину. Но женщина, сама знаешь, - есть женщина, и Будда ей отказал ввиду этого самого. Тогда она спросила: “Разве у души есть пол?” Будда ничего не нашел возразить против этого, и она была единственной женщиной в общине буддистов при жизни Будды. Вспоминаю же я об этом теперь в особенности, потому что я на самом деле говорю с тобой временами не из уст в уши, а из души в душу - и в минуты радостей и в часы тягот.

Душенька, Ингрид, я тебя очень люблю и верю, что ты меня тоже. Если у меня будет какая-нибудь крайность, какая-то последняя необходимость и единственный шанс, я тогда крикну тебе: “Ингрид!” и скажу без утайки все, что мне надо. А пока нахожу силы петь песню волка, ушедшего от облавы, я - хорош и в порядке. Я тебе спою эту песню со словами, а сам для себя я ее пою без слов воем сквозь зубы. <...>

Не огорчайся также из-за Бемоли. Сегодня мне мой знакомый охотник говорил, что на воле она себя чувству-

* См. дальше - ул. Рави в Таллинне.

ет гораздо лучше, чем у меня взаперти на балконе. И не тоскует. Собираюсь поехать и проведать ее в скором времени. Если ей вправду хорошо, пускай будет там, а если плохо, тогда договорюсь с ним, чтобы держал до ноября. Взять ее домой - ночей спать не буду из-за нее, вечно буду думать, как бы какой негодяй колбасу с рыболовными крючками не подкинул или еще другую пакость в виде крысиной отравы...

26.6.1973

Мой единственный бесценный друг,
любовь моя, Ингрид!

Убедительно прошу тебя, не думай, будто я позарился на твою внешность и это было определяющим в сложившихся у нас с тобой отношениях. Это не так. Как бы ты ни была хороша собой, будь твое лицо ослепляюще прекрасно, повтори ты грацией лебеда, а статью кипарис, - я все равно забыл бы тебя в два дня, как это было всегда. У меня скверная зрительная память на лица, многие на меня за это обижаются и считают этот мой недостаток высокомерием, потому что я, встретив человека в третий и в четвертый даже раз, не узнаю его, делаю лишь вид, притворяюсь даже, чтобы не обидеть его, попадаю иной раз впросак, смущаюсь и неловко себя чувствую.

С тобой было по-другому. Ты отгадала какую-то мою загадку, какую - я и сам затрудняюсь сказать, но это не суть важно. Главное - отгадала. Тут, с этого мгновения мой взгляд и память сделались острыми и цепкими и мне уже не составляло труда удержать тебя в воображении и в душе. С этого началось. Миленький мой дружок, как ты не поймешь этого? Не скрываю, что мне было тем приятнее от того, и я скорее *post-factum*, чем *a priori* нашел в тебе все признаки совершенства и красоты, - только для себя одного и ни для кого другого на свете.

Я люблю тебя. За что? - я не могу тебе на это ответить с такой ясностью как ты. Думаю, что на это невозможно вообще ответить. Если бы я любил тебя за то, что ты умница, тогда я был бы обязан перелюбиться в более умную при первой возможности, как, впрочем, и ты тоже, на мой взгляд. Допустить, что я полюбил тебя из-за чисто внешних признаков, тоже не могу, потому что тогда я был бы вторым вечным жидом - Агасфером, скитающимся по белу свету в поисках непреходящей красоты и, в конце концов, сделался бы либо Дон-Жуаном, либо Си-ней Бородой. Душевные, внутренние свойства отдельно - тоже нет, так как мне известно (правда, больше теорети-

чески), что помимо демонов, существуют и ангелы. А какой из ангелов лучше, - что ты на это скажешь?

“Она его за муки полюбила,
А он ее - за состраданье к ним”, -

тоже добросовестное заблуждение Шекспира по отношению к Отелло и Дездемоне. Оно тем слабо, это объяснение, что не выдерживает воздействия на него кислотой и щелочью, и напоминает твою попытку спасти человека от пьянства любовью.

Ингрид, я люблю тебя раз и навеки, преданно и бrenно, но прости меня, что сам не знаю точно - за что. Я тебя просто люблю - вот и все сказано. В своем к тебе чувстве я нахожу свободу быть самим собой. Думаешь, это просто и дешево стоит, быть самим собой? Ведь у меня по этой причине нет ни орденов, ни медалей, а есть издержки, долги, оплата кредиторов, которые требуют, еще есть напряжение и самозащита за право быть самим собой. Я мог бы сделать карьеру гораздо раньше, откажись я от этого права. Тогда ты меня бы не полюбила. Зато сейчас я вознагражден и взыскан сполна твоей любовью.

Вернее всего сказать, что люблю я тебя потому, что ты - это ты и больше никто. Вот я и говорю тебе, а ты слушай: Ингрид, единственная моя, я тебя люблю. Ты - моя нераскрытая тайна, которую мне если и суждено когда-либо понять, то, наверное, лишь в последнюю минуту жизни. Я люблю тебя.

Видишь ли, тебе ни о чем не надо беспокоиться, потому что я всегда с тобой. Сейчас я верю в то же самое, что и ты: разлука наша временная и не может быть, чтобы мы с тобой были разлучены насовсем. Сначала будет ноябрь, а потом декабрь, а потом песня

Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори.
На смену декаблям
Приходят январь.

В первый наш день я тоже, как и ты, буду немного смущен, но не обращай на это внимания, все преодолется, и я обниму тебя так же, как теперь, в письме, обнимаю тебя всю с ног до головы и жарко целую.

Твой всегда - Борис.

28.6.1973.

Остается, можно сказать, четыре месяца (ноябрь не считается). Это письмо посылаю на ул. Рави, следующее пошлю на Аули.*

1973 (2.7 - 8.11)

Бухара

С кончика моего языка

Генеалогия, послание Музы и завещание С.Н.

Родная моя девочка!

“Галочка” - уменьшительное ласковое название птицы - вороны или галки. Хотя ты не совсем подходишь по оттенку своего “оперения” под эту черную птицу, а точнее сказать, вовсе не подходишь, но мне нравится это слово вот почему: в хорошие минуты мой отец называл так мою мать. Когда я тебе это говорю, значит мне очень хочется быть к тебе нежным и ласковым. Ты ведь хочешь, чтобы я отвечал на каждое движение твоей души и тела, на каждый поцелуй и объятие. Разве я тебе не отвечаю, милая галочка? Кроме всего, название это является для меня определяющим. Все люди чем-то в лице походят на животных. Ты, верно, сама замечала среди них лисиц, сов, енотов, медведей, тигров и пр. Думаю, что я больше похож на ворона. Эта медлительно-ленивая птица от большей части мой автопортрет. Посмотри на мой профиль, разве не похоже? Прежде чем ворон взлетит, он присядет и затем уже с трудным подскоком и тяжело замахав крыльями неуклюже взлетит. И крик у него точь-в-точь ответ на мой вопрос: “Ворон, ворон, мудрая птица, скажи, расстанусь ли я когда-нибудь отныне и до конца с Ингрид”? “*Nevermore!*”*** - Карр.

“Волчонок” - значит щенок волка. Я всю жизнь испытывал большую симпатию к этому зверю. Когда мне было лет семь всего, я играл с целым выводком волчат прямо у волчьего логова, и все, как видишь, обошлось благополучно. Может быть, волчицы не было дома, а может быть, была, но животные очень остро чувствуют намерения человека, а от меня им какой был вред? - Никакого. Так я и не рассказал никому об этом до осени, т.е. пока они не выросли и не покинули нору. Мне было хорошо с ними, я сам больше любил одиночество, чем компании сверстников. Мои сверстники по этой причине относи-

* Рави - ул. в Таллинне, куда семья Ингрид Майдре в то время переехала; там же, в четырехкомнатной квартире вскоре поселится и Б.К.

Аули - ул. в Пярну, там частный дом с садом, который будет обихаживать Б.К. и не раз упоминать в письмах.

** *Nevermore!* (англ.) - “Никогда!”

лись ко мне довольно ревниво и иногда гурьбой поколачивали меня. А волки мне зато никогда не вредили и я их не боялся. То есть, это вовсе не значит, что я к ним был запанибрата, но страха у меня не было.

Лет тринадцати я ездил зимой в школу на лыжах, а школа была в десяти с лишним километрах и потому приходилось вставать и выезжать из дому затемно, задолго до рассвета. Сразу от дома начинался большой покатый спуск километра на четыре. Всегда у меня была своя дорога и я был один. Возле опушки леса лежала павшая лошадь, и ее обглоданный скелет, такой же почти белый, как самый снег, появлялся на виду сразу. Там, поутру, всегда собиралась небольшая стая, волков 6-7 не больше. Голодные, они шлифовали и отбеливали лошадиный остов, так что он был словно из камня высечен и ребра звенели. Когда я вначале появлялся на виду, стая не спеша трусцой уходила в лес. Поскольку я ездил каждый день, то вскоре приучил их не убегать, а оставаться на месте. Потом я стал суживать радиус хорды и направлял бег лыж все ближе и ближе. В конце концов лыжня пролегла так, что мог стукнуть палкой по остро торчащим лошадиным костям, а волки уже не убегали. Они следили за мной, поворачиваясь всем корпусом (у волков мертвая шея и они ею не могут вертеть), едва я появлялся. Что тут поднималось. Я орал во всю глотку “Э-ге-гей!”, свистел, улюлюкал, пел песни, кричал “Здорово, серые!” и вообще вел себя очень эмоционально. А волки стояли и, наверное, думали обо мне, как о чуде, без малейшего проявления злобы или вражды. Я до сих пор помню вожака стаи, волчицу, несчастную и тощую суку, которая держалась от меня гораздо дальше, чем другие, и мне было ее немного жаль. А к марту или в марте, точно не помню, стая распалась. И всё.*

Я разговорился слишком, но теперь тебе будет понятно, почему я тебя так зову. Ты мне пишешь, что я ненавижу всех женщин, и тебя в их числе. Это неправда. У меня вообще нет ненависти и - слава Богу! - иначе мне было бы очень плохо. А что касается тебя, то тебя я люблю больше всех, кого можно любить. И ты у меня одна в

* Эти эпизоды использованы Б.К. в главе “На круги своя”, не вошедшей в его роман “Сцены из античной жизни” (“Избранная проза”, Т., 2000, где напечатана и “пропущенная глава”). Там он приписал игры с волчатами и “свойство” с волчьей стаей в отрочестве своему другу Володе Киселёву, alter ego автора в “античной жизни”. Киселёва он вспоминает и в письмах. Образ же волка (и вообще зверя, животного, соприродности с ним) занимает писателя всю жизнь (упоминавшийся уже рассказ “Катя” о медведице, повесть “Битые собаки” и т.д.).

сердце и в мыслях. Больше так не говори. Я знаю, что тебе скорее хочется, чтобы мы были рядом. Мне тоже. И ты хочешь, чтобы я тебя ласкал и целовал. Я это делаю, пока в душе, но ты подожди, так же как и я тоже подожду. Тебе бывает трудно и я жалею тебя до душевной боли и тоски по тебе, ведь мне без тебя так же трудно.

С Хивой у меня неудача, и я наверняка остаюсь в Бухаре. Покамест, т.е. максимум до ноября. Отпуск я все равно возьму для тебя, если он даже будет за свой счет. Так что не тревожься и не задумывайся.

Моя радость, Ингрид. Тебе не нужно часто извиняться передо мною по мелочам. Ведь я люблю тебя и понимаю, зачем же нам с тобой наедине все это. Не надо, миленькая. Люблю - вот и все. Книжку, что ты мне купила, я прочитаю у тебя, рядом с тобой. Ты мой свет и умница.

Относительно общества других мужчин, то - не надо. Я не верю в непорочность отношений подобного рода и, конечно, резко не хотел бы, чтобы ты с кем-либо по предпочтению делила свое время и, что еще хуже, самое себя. Не надо. Отчасти я тебе уже написал прошлый раз об этом, предугадав твое письмо. Я - очень против всякого мужского вмешательства в твою личную жизнь. Нельзя.

Люблю тебя верно и преданно, целую много и страстно, обнимаю крепко-накрепко и остаюсь с надеждой и мыслями о тебе -

твой Борис.

Завтра буду дежурить и вновь тебе писать.

2.7.1973.

Моя ненаглядная, единственная, желанная, возлюбленная, нежная и родная моя галочка. Получил от тебя два письма и радуюсь. Письма твои, как всегда, отрадны и утешительны, и я, читая их, чувствую себя хорошо и спокойно, так же хорошо, как будто ты совсем близко, рядом.

Теперь я тебе третье письмо пишу на Аули. Скоро ты там будешь и прочтешь мои первые два. Только что закончил читку, и меня никто не будет перебивать, пока мы с тобой беседуем. У меня все так же. Я, помнится, писал тебе, что Хива отпадает. Это случилось сразу и вдруг. Забавная и одновременно скверная история, я тебе об этом потом расскажу, а сейчас не буду, потому что у меня еще не прошло чувство брезгливости.

Твой русский язык великолепен. По крайней мере, то, что ты пишешь по-русски, приобретает у тебя свежесть и новизну, а выговор твой превращает мой взгляд из печального в веселый. Сейчас я тебе пишу, а сам улыбаюсь.

Согласен с тем, что ты говоришь. Конечно, лучше всего это проявится, когда я буду с тобой. Потому что мне так охота и надо хотя бы еще пару рассказов тиснуть, тогда, наверное, мне было бы легче начинать. А ничего пока с этим не выходит. *Publicity* - ужасно трудная штука, хотя в лепешку расшибись - никак не протиснуться сквозь тесный строй утвержденных и одобренных авторов. Журналы, в лучшем случае, держат мои вещи до неизвестной поры, и я потерял всякую надежду уже и счет месяцам и годам. В худшем случае, упрямо молчат либо отказывают. В официальных отказах есть немного смеха. Это - сперва похвала, а потом какая-нибудь формальная причина. А то бывает напишут-напишут кучу всяких советов - высокопарных, нравственных, и при всем том порой умышленно бестолковых или чудовищно абсурдных под стать совету "*to increase the quantity of the great deal*"*, что и смех разбирает, и плакать хочется.

Теперь я сделал рассказ. Назвал, черт знает как "...и тварей милует" - самому не слишком нравится, что-то похоже на зубную боль, может, перемену потом. Первую запись сделал, перечитал и изорвал. Вторая - тоже плохая. Третью сейчас пробую, верчу сюжет по-всякому, а он не идет. А мне надо, чтобы хорошо, чтобы не стыдно за слова было. Станут его печатать или нет, - меня это хоть и занимает, но не очень, самое главное, чтобы мысль в нем была не утомительная и рисунок тоже. Сам по себе он небольшой, а раз так, тогда, значит, фразу надо делать точную и проверять ее 100 раз, чтобы не скрипела, как неподмазанное колесо. А для этого слова нужны такие, чтобы никакими другими заменить уже было нельзя. И трудно это, и струи зачастую нет, и времени. Замучился. Ингрид, душа моя, я совсем не рассчитываю разбогатеть когда-либо на этом. И ты тоже не думай об этом, так для нас обоих лучше будет. А ведь так писать хочется, так хочется, и есть о чем, и много чего. Ну, конечно, распишусь - иншалла! - когда-то. Ладно об этом, давай о тебе лучше...

3-4.7.1973.

Мой дорогой и бесценный друг, Ингрид.

Я сделал сейчас извлечения из двух восточных авторов и посылаю эти рассуждения о любви тебе. Мне самому удивительно, как на Востоке умели гениально формулировать мысли и чувства и рассуждать о сложнейших по-

* *to increase the quantity of the great deal* (англ.) - значительно усилить политическую линию.

нятиях с такой доступной ненавязчивой простотой. С большим удовольствием переписал их для тебя, тем более, что они меня оправдывают в твоих глазах, когда я любовался тобой по дороге в Ургенч. Кроме того, думаю, что, если ты учишься русскому по моим письмам, то тебе это полезно. И, наконец, в-третьих, это просто интересно.

Сегодня 5 июля. По твоим письмам судя, завтра ты уже будешь дома в Пярну. <...>

Твои письма тоже единственная иностранная “литература”, которую я читаю теперь. Ведь я скоро год ничего почти не читаю даже по-русски, а не то что еще по-каковски. Столько же времени как я не был даже в кино. А ты говоришь “загорать”. Все это фата-моргана. У меня потому остались два удовольствия (чай, трубка), что от остальных пришлось отказаться. Так что отдыхай за двоих - за себя и за меня...

5.7.1973.

...Любовь - да возвеличит ее Аллах! - поначалу шутка, но в конце - дело важное. Ее свойства слишком тонки по своей возвышенности, чтобы их описать, и нельзя постигнуть ее истинной сущности иначе, как с трудом. Что же касается причины того, что любовь постоянно в большинстве случаев возникает из-за красивой внешности, то вполне понятно, что душа прекрасна, и увлекается всем прекрасным, и питает склонность к совершенным образам. И, увидев какой-нибудь из них, душа начинает к нему приглядываться и, если различит за внешностью что-нибудь с собою сходное, вступает с ним в соединение, и возникает настоящая, подлинная любовь. Поистине, внешность дивным образом соединяет отдалённые частицы души!

Абу-Мухаммед Али-ибн-Хазм,

“Ожерелье голубки”, Глава о природе любви.

...Галочка, я давно тебе ничего не посылал, а сегодня получил твое письмо и решил послать свой памфлет на Ботвинника. Делаю это с умыслом, что ты меня несколько больше поймешь и не станешь предполагать, будто меня любят все. Ну подумай хотя бы, мог ли меня бы любить Ботвинник или нет? Ведь я и раньше тебе говорил, что у меня привычка смеяться. Смех мой не принес мне до сих пор ни на копейку прибыли, а одни неприятности. “Огонек”, к примеру, определил мой смех как *guffaw**, не оставляющий камня на камне, тогда как желателен мягкий конструктивный и ласковый смех.

* *guffaw* (англ.) - хохот, гогот.

Я люблю проникновенный и очистительный смех Чехова, выматывающий кишки и выворачивающий человека наизнанку смех О'Генри (между тем, я представляю, что он сам едва ли улыбаться умел), мудрый смех сквозь слезы Гоголя, добродушный послеобеденный смех Джером-Джерома, уничтожающий и желчный смех Салтыкова-Щедрина, ядовитый и неудобный смех Свифта, тонкий и многозначительный О. Уайльда, легкий и непринужденный А. Доде, современный и слегка несдержанный смех Зошенко, Ильфа и Петрова. Я, словом, люблю его во всяком виде, потому что здоровому человеку свойственно смеяться! Сам я тоже иногда шучу, но не всякое начальство любит шутки. Тут, конечно, дело не только в этом, а и в другом, и в третьем и т.д., о чем ты частью сама догадаешься, а частью я тебе расскажу.

Во-вторых, ты учишься русскому языку *from the end of my tongue**. В таком случае, мне надо говорить хорошо. Душенька, Ингрид, девочка, любовь моя, я стараюсь говорить так, как чувствую. Если мне шахматы нравятся, то я о них говорю, чтобы они тебе тоже понравились. А вообще это тоже принцип: я допускаю, что с моими словами можно либо соглашаться, либо нет, но если они оставят человека равнодушным, это - смерть моя, тогда, значит, я не гожусь ни говорить, ни писать. Очень хочу, чтобы памфлет тебе приглянулся. Там есть место о волках. Там же я упоминаю об одном таллинце - Пауле Кересе. Мне довелось читать его игры, и они мне понравились. Правда, он больше художник, чем спортсмен, а мне это как раз и приятно.

Посылаю тебе заодно и письмо, которым я сопроводил статью последний раз в "Советскую Культуру" (я от туда уже получил отказ).** Возможно, это тебе тоже поможет узнать меня подробнее, чтобы или еще больше полюбить или начать разочаровываться.

Не считай, что я хорошо играю в шахматы. Они меня слишком взвинчивают; победы и поражения мною пере-

* *from the end of my tongue* (англ.) - с кончика моего языка.

** В архиве Б.К. мы нашли два его машинописных текста "Шахматы, жизнь, здравый смысл..." Один как раз тот, что начинается письмом от 9.4.1973. Другой, напечатанный теперь, через 30 с лишним лет, в "шахматном" номере "Вышгорода" (1, 2006), посвящен "Памяти Пауля Петровича Кереса, автора "Ста партий". Рассказ отредактирован писателем заново (несколько больших вставок от руки, уточнения и т.д.) не ранее осени 1975 года (летом Кереса уже не стало). Называя первый оригинал в письме "памфлетом", писатель выступает в защиту человеческих чувств и разума - против бездумного технического прогресса, уничтожающего саму природу ("живых волков"). Он был прав: очеловечить машины нельзя. И в то же время ошибался. Поставить сверхумную машину-компьютер на службу не только тем же шахматистам, но "жизни и здравому смыслу", - оказалось можно и даже необходимо.

живаются глубоко, а лишние эмоции мне не нужны точно так же, как тебе вино. Но это не мешает мне по-своему их любить, понимать и видеть в них человека, который ими двигает.

По следующему вопросу твоего письма. Я закончил в Ростове-на-Дону ф-т английского языка, в Ташкенте - ф-т немецкого и ушел с 4 курса ф-та французского в Кишиневе. Работ я перепробовал множество и всяких. Об этом с самого начала будет так, если считать те, которые оплачивались. Работал пастухом, потом прицепщиком на тракторе (все это юность), потом учился, затем немного работал преподавателем в школе, но совсем мало. Работал заведующим Интуристом, зав. бюро обслуживания, инженером по технике безопасности на судоремонтном заводе, а еще рабочим в бригаде судосборщиков (газорезка и сварка, раздевать корабли и обнажать шпангоуты мне нравилось, хотя именно там я едва не свернул себе шею по рассеянности.)* Работал ст. инженером БРИЗа подшипникового завода (переводы скучнейших статей о горюче-смазочных жидкостях и т.п.) и инструктором по гражданской обороне (пугал людей атомной и водородной бомбами, можешь ты себе это представить?). Ну и, наконец, экскурсоводом и в газете - это ты уже знаешь. Кроме того, у меня были реальные шансы работать моряком большого каботажа, помощником капитана по политчасти на СРТ и даже директором филармонии. Тут я не выдержал и оскорбительно расхохотался, а моя музыкальная карьера на этом смехе резко оборвалась, словно натянутая струна. Смех смехом, а работ всяких было много и я, к счастью, не был брезглив, выработал иммунитет к снобизму - самому противному недомоганию интеллигенции.

В детстве мне хотелось быть пожарным, носить блестящую каску и мчаться в красивой красной машине тушить огонь; музыкантом духового оркестра (ах, как жарко и ослепительно сверкают на солнце трубы! какие горячительные марши из них можно выдувать!), а больше всего хотелось быть конюхом. Ты не поверишь, но я любил лошадей до самозабвения и ездил на них лихо. Если бы ты увидела меня на лошади, определенно влюбилась бы, ведь таким красивым, как верхом, я больше никогда и нигде не был.

В юности мне целую неделю хотелось быть шпионом - в кино они носят шикарные плащи, назначают свидания в дорогих ресторанах, элегантно курят сигареты и метко стреляют прямо из кармана.

* Об этом камчатская повесть "Края далекие, места-люди нездешние". Журнал "Дружба народов" 1, 2000.

Первую оперетту я посмотрел в 17 лет, а с теплым вагтерклозетом познакомился в 19 лет и целый год потом удивлялся, как люди культурно жить умеют.

Ну хватит, а то я начинаю баловаться, а о самом главном не сказал: Ингрид, я тебя люблю. Но если бы я даже и не сказал об этом, ты все равно знай и помни, что я люблю тебя. Все будет хорошо, все образуется.

Целую тебя и в счастливом удивлении не могу привыкнуть и поверить, что это ты. Чтобы убедиться, что это правда, что это в самом деле ты, целую тебя еще, и еще, и еще...

Вечно твой Борис.

7.7.1973.

Мой свет, душенька,
бесценный сердечный друг, Ингрид моя!

...Я здоров и благополучен, новостей у меня почти никаких, а те новости, о которых я тебе писал прежде, повисли пока в воздухе Дамокловым мечом, и я готов их воспринять в любой момент. У меня есть ты, и я не чувствую себя одиноким. Волчонок, я тебя люблю, сирена, я слушаю твой голос и песни.<...>

Я написал ерундовый миниатюрный рассказ “Фестиваль молодежи”,* не для печати, а просто так, для руки и собственного удовольствия. Тебе его посылать не хочу, потому что он слегка, самую малость, неприличен. Посылаю тебе лучше “Диалог”** с чувствительным еврейским акцентом...

10.7.1973.

...Виделся с тобой во сне. Дело было на песчаной дюне возле моря. Ты вдалеке идешь и не знаешь, что я иду за тобой следом, а я знаю, что это ты. По песку тяжело идти, а я силюсь тебя догнать, но расстояние сокращается медленно. Тогда я зову тебя криком по имени и сразу же удивляюсь, потому что не слышу эха. На море-то его и быть не должно. Еще зову тебя и вижу, как мой крик, материализовавшись в частицы наподобие камешков, улетает вдаль, настигает тебя и ударяет. Ты останавливаешься, оборачиваешься и бежишь ко мне. Бег у тебя быстрый и легкий, будто песок тебе вовсе не помеха, а я свои ноги с трудом вытаскиваю из песка, а песок, как кандалы, совсем не дает мне бежать. Я только гляжу, как ты все ближе и ближе ко мне, а сама смеешься и плачешь. Мне тоже хочется вместе с тобой плакать и смея-

* Хранится в пярнуском домашнем архиве у И.М.

** Не обнаружен. Может быть, в РГАЛИ (Москва).

ться, я уже готов обнять тебя, но проснулся, когда ты от меня была в двух шагах. Тебе нравится мой сон? *Honey, darling! It's not that I kiss and embrace you; in fact, I interlace with you - that's that.* * <...>

Я знаю вопреки всему, что не все измеряется денежными суммами, не все продается и покупается. Лучший мой единомышленник - это маленький мальчик Поль Домби.** (Извини, но ты же знаешь, что я прожил больше с книгами, чем с людьми.)

Что же касается меня самого, то вопрос этот имеет значение потому, прежде всего, что я сам для тебязначаю нечто важное и ты в этой связи что-то строишь, о чем-то думаешь и размышляешь. *"I.O.U."* - (*"I owe you"*)*** для тебя это понятие временное, *but I'm sentenced almost for life.***** Ежели мне удастся выбивать рублей 150 в месяц - все устроится замечательно, потому что половину этого мне хватит, чтобы не чувствовать себя скверно с тобой рядом.

Есть, правда, еще одна возможность, но принимать ее всерьез трудно, потому что это как игра в кости, а мне до сих пор не везло. Я говорю, конечно, о литературе. <...>

Сейчас я бы, пожалуй, не смог бы писать, потому что ты у меня забираешь все чувства и мысли, и я по малости времени не могу сосредоточиться, чтобы надолго уйти в милый моему сердцу мир образов и теней.

<...>

Я не вдаюсь в подробности и очень мало тебе рассказываю о тех событиях, которые мне неприятны и мучительны по памяти. Да и времени много это займет писать. Увидимся - и я тебе обо всем расскажу, как я жил все то время без тебя. Только я свет выключу, потому что буду вновь еще раз переживать всякие кошмары и не хочу, чтобы ты видела в это время мое лицо.

Душенька, я тебе не сказал еще об одной моей странности. Она хоть и редко проявляется, но бывает, и ты наверняка с этим встретишься, когда мы будем с тобой опять вдвоем. Дело в том, что я во сне плачу; иногда тихо и молчаливо, а иногда навзрыд. Ты не бойся, это у меня детская привычка осталась. Ты меня обними только и

* *Honey, darling! It's not that I kiss and embrace you; in fact, I interlace with you - that's that* (англ.) - Милая, дорогая! Я не только целую и обнимаю тебя, но, по правде, я сливаюсь с тобой, - вот так-то.

** Герой романа "Домби и сын" англ. писателя Чарлза Диккенса (1812-1870).

*** *"I.O.U."* - (*"I owe you"*) - "Я обязан тебе".

**** *but I'm sentenced almost for life* - но я приговорен на всю жизнь.

говори что-нибудь тихонько, - и я сразу же успокоюсь. Так мама моя делала, а больше никто. Поэтому я любил спать один, болеть - один, переживать - один, все - один. А тебя так долго не было, что я едва не потерял надежду.

Ты прочтешь мое письмо. Не усматривай в нем никаких условий, потому что я люблю тебя безусловно. Когда я пишу “если” или “в случае”, то это не условия, а предположения, рассуждения, мысли. Просто, я рассуждаю с тобой - вот и все.

Касательно того, что у тебя много долгов и мебели не хватает для апартаментов, то позволь мне в таком случае обнять тебя за шею, усадить на пол за неимением кресел, сесть рядом с тобой, засмеяться и показать тебе язык. Ну не весь, конечно, а так, чуть-чуть, самую малость.

Здесь на полу я тебя и целую крепко и сладко. Слышно, как у тебя стучит сердце. Я люблю тебя. Ты очень красива. Ты на редкость хороша собой. Я люблю тебя. Боже, помоги любящим!..

Вечно твой Борис.

13.7.1973.

Свет моих глаз, единственная моя галочка.

Прежде всего: *Money**. Обещаю тебе, что отныне я ни сном ни духом не обмолвлюсь об этом предмете. Получил твое письмо из Пярну и вижу, как ты немилосердна и безжалостна к себе только от одного упоминания об этом самом. Моя радость, не терзайся и не казись, прошу тебя. И Бога ради не сердись на меня, дурака. Я совсем не имел в виду, что ты поймешь мою мирскую озабоченность таким образом и в ущерб себе. Да разве я посмел бы усомниться в тебе? Нет же, нет. Я говорил только о себе с некоторым беспокойством, что я не буду приносить домой столько, сколько приносят другие. Ну, хватит об этом. И ты, перечитывая письмо, пропускай это место.

Лучше я расскажу тебе, как я был учителем в самом начале моей самостоятельности. Меня тогда направили преподавать английский в школу на юге Узбекистана. До меня там вел язык местный аптекарь, хорошо знакомый по роду деятельности с латинским алфавитом. Так что ученики к восьмому классу уже знали почти все буквы. Попробовал я сразу взять быка за рога и идти по программе - не получается. Раскладу английского текста ученики придавали свой смысл такого рода, что невинный *September*, сведенный к дифференциалу, становился

* Слово “*money*” - “деньги” в письме жирно перечеркнуто.

тюркским ругательством. Начинать науку с азов не позволило начальство, и я решил, что не стоит гвозди в стенку забивать микроскопом, когда есть молоток. Да ведь и дети были не совсем дети, а, как бы тебе сказать, ну ближе к взрослым, чем к детям. (На Востоке человек созревает гораздо раньше, чем в Прибалтике.) В пятом и в шестом классе мне ученики наперебой сообщали, кого из класса отдали замуж (употребителен и обычен термин “продали замуж”, “купил жену” и т.п.), за сколько и куда. В шестом классе за последней партой сидели две замужние беременные девочки.

Я входил в класс. Ученики приветствовали меня громким и разноголосым хором: - Салям. Потом я приказывал открыть учебник на странице 69 (или какой-либо другой), а класс, поняв меня, кричал в ответ: “Знаешь!” т.е. понятно, мол. Дальше я говорил: “Переписать!”

Наступала благословенная тишина с мягким шелестом тетрадей и усердным сопением в две дырочки: все были заняты. А я доставал Шиллера и читал: “Коварство и любовь”, “Вильгельм Телль”, “Валленштейн” или “Два веронца” Шекспира. Иногда чтение мое прерывали вопросом: “Муаллим” (точный смысл этого слова - “несущий свет” - так называют школьного учителя. Я стеснялся этого названия всегда, как незаслуженной награды). “Муаллим, здесь в упражнении стоят точки, вместо которых надо поставить слова. Что делать?” “Ставьте точки”, - отвечал я.

Дисциплина в классе была выше всяческих похвал и меня хвалила дирекция. Тех, кто добросовестно переписывал страницу, я отпускал на 5-10 минут раньше звонка.

Вскоре у меня появились передовики, освоившие английскую скоропись, и число их непрерывно росло. Когда все тексты и упражнения были переписаны и делать стало нечего, я сказал ученикам: “Ну так. Речь, то есть практику, мы с вами освоили. Переходим к теории, то есть к грамматике. Страница 94. Переписать!” И опять класс дружно отвечал “Знаешь!”

За грамматическим курсом оставался только один словарь, который ученики переписали за неделю. Таким путем мы досрочно закончили программу и с апреля месяца до конца мая гоняли вместе мяч.

Среди всего этого был удивительный случай. В седьмом классе у меня был мальчишка тринадцати лет - Джума Джураев - маленький, шуплый и быстрый, как ртуть. За год он прочел с пониманием тексты учебников с 5 по 10 класс и сделал все упражнения, лишь изредка прибе-

гая к моей помощи. В восьмом - после двух адаптированных книжек он прочитал настоящего “Овода”* и сделал это так же легко, как обезьяна влезает на дерево. Ему хотелось прочитать книжку, которая была бы неподдельно английской, и я ему дал издание Таухница, насколько помню, об узниках Тауэра. Лет через 5, когда я уже не работал в школе, меня позвали на улице “Муаллим!” Джума вырос, закончил школу, отец был намерен его женить, но мальчишка ушел из дому и выучился на экскаваторщика. Книжку мою прочитал. Он хотел в институт поступить, но требовались деньги, много проклятых денег на взятку, а достать было негде. Тем и кончилось, а жаль.

Милая девочка, Ингрид, у тебя хоть и не было такой практики, зато не было и Джумы Джураева. Его бы в твой класс - это был бы гениальный студент.

Душенька, напиши мне, к какой железной дороге относится станция Таллин. Мне это надо будет для отправки книг. А книги у меня в трех местах: здесь, в Волгограде и на Дону. Хочу их собрать воедино. Если только их не распродали, ты увидишь книги, которые могут сниться. Но утешать себя, что они целы, и надеяться на это нельзя. Потому и говорю: если. Вообще же у меня кроме книг ничего нет. А книг, правда, много было. Их надо будет отправлять к тебе малой скоростью. А без них я не смогу, потому что не рассчитываю найти их в библиотеках. Хотя, как знать.

Когда же меня одолеет нетерпение, а ты ведь знаешь, что у тех, кто стремится, нет сил для ожидания, то я приеду даже без них. Я люблю тебя настолько, что того и гляди стихами заговорю, как Валамова ослица. И ты можешь говорить обо мне “он меня любит” безо всякого “кажется”. Это будет правда.

Скучаю по тебе и тоскую, как мне, впрочем, и полагаются. Читаю твое письмо, чувствую твою близость, счастлив этим, а хочется большего. Хочется к тебе. Ты знаешь, я почасту думаю, как пройдет у нас первый наш день. Мы, наверное, в первый день оба мало будем говорить, а больше смотреть друг на друга и осторожно подходить друг к другу и - я не знаю что дальше. Между нами никого не будет, а меня сейчас волнение охватывает, когда подумаю, как к тебе подойти. В письмах я намного смелее и решительнее был, чем буду в первый день. Даже на аэродроме или на вокзале будет проще, чем дома. Второй и последующие дни должны быть такими, как будто мы с тобой знаем сто лет, а вот первый - самый долгожданный, счастливый, робкий и краткий осенний день -

* Роман англ. писательницы Этель Лилиан Войнич (1864-1960).

каким он будет? По дороге домой у нас тоже будет хорошо. Я буду крепко держать тебя за руку и часто на тебя глядеть, а говорить буду мало. Ты будешь говорить, а я буду улыбаться. Послушай, а может так и войдем рука об руку, чтобы не отрываться, а? По-моему, так лучше. Чемодан я поставлю, пальто сброшу, а ты не отходи, потому что тебе здесь привычно, а я впервые. Не спеши, дай я сперва долго и близко увижу твое лицо и глаза, и волосы - не на мебель же мне смотреть. И первые шаги по дому я сделаю вместе с тобой, хотя дом этот наш, твой и мой тоже. Я хочу услышать, как ты дышишь, а ты услышишь, как я дышу. Но у нас будет очень мало слов, слова потом придут сами. Не жди, что я буду шумно весел; я скорее буду задумчиво счастлив, глядя на тебя. Как прозвучит твое родное имя вслух? Как долго я поцелую тебя посреди комнаты? Ингрид, как ты мне близка.

Если я буду колючий, сразу же побреюсь. И выкупаюсь в ванной. Ты все это время со мной разговаривай, я тебе из-за двери отвечать буду! А в ванную не входи и не подглядывай, потому что нехорошо глядеть вообще на голых мужиков - они некрасивые и волосатые. Все-таки для верности я завешу щель полотенцем. Спину я себе сам помою, потершись о стенку. Ну вот, с легким паром, здравствуй, галочка.

Может быть вечером будет дождь, а ты не зажигай огня, потому что мне так уютно и сладко спрятать свое лицо в твоих ладонях. Любовь моя, можешь целовать меня, сколько тебе вздумается, а я тебя буду целовать за все это время, что я без тебя был. На сон положи мне под голову твою руку, а я тебя обниму и мы уснем с тобой где-то за полночь, и сон у нас с тобой будет чуткий, прерывистый и радостный, потому что мы с тобой будем просыпаться с одной мыслью и желанием, а затем снова засыпать.

И будет ночь, и будет утро. И я не хочу, чтобы ты разлюбила меня когда-нибудь или любила бы меньше, чем теперь. А я тебя навсегда люблю.

Целую тебя.

Всегда твой Борис.

18.7.1973.

Моя любовь,
мой единственный бесценный друг, Ингрид!

Получил от тебя два конверта; в одном - открытка с видом волнореза пярнуского, где мне тоже очень хочется с тобой пройтись, в другом - письмо, которое ты, претерпев массу трудностей и положив, наконец, животик на

камушки и песочек, пишешь мне, а солнце докрасна гладит тебе спину. Тебе трудно вообразить, что значат твои письма для меня, когда смертельно устав душой, я слушаю и гляжу вначале на конверт, а потом на слова, скрытые в нем. Тогда пружина во мне начинает расслабляться, молочная кислота уходит из мышц, я глубоко чувствую блаженство мнимого отдыха, потому что все это создается иллюзией твоего присутствия и - люблю тебя, люблю, закрыв глаза на полминуты, люблю без конца и края. Я делаюсь мягкий и беззащитный, иголки и колючки самозащиты, которыми я оброс порядочно, складываются, как шелковая шерстка, хоть рукой голой меня бери. В такое время меня проще простого обидеть, оскорбить и посмеяться, потому что я теряю осторожность и представление о нудной тоскливой скучной действительности. Зато потом я опять чувствую себя крепче и лучше...

Ты считаешь, что я очень сведущ по части женщин и можно подумать, что у меня их был целый десяток в жизни. Душа моя, ты заблуждаешься. Недавно у меня об этом же спросил мой товарищ по отделу газеты (весьма неплохой и расположенный ко мне дружески вполне парень), а я ему ответил, он долго смеялся и сказал, что у него только в 10 классе их было около двадцати, а в институте он им счет потерял и сейчас может назвать их число только приблизительно. Тут пришла моя очередь посмеяться, и я сказал ему, что он, по-видимому, спал с девками, не узнав, как их зовут.

Как ни странно, у меня не было никогда легких от безделья связей, и самое удивительное дело в том, что все это кончалось катастрофически для меня, я терпел полнейшее фиаско. Обжегшись на молоке, я стал дуть на воду и избегал женщин больше в значительной степени, чем тяготел к ним. Тебя же я полюбил безотчетно и нежно, вопреки ригористическому взгляду на всю женскую часть человечества. И по данному мне собственным опытом праву выделил тебя и определил как одну-единственную и даже более того: я сказал себе, что у меня никого, кроме тебя, не было, и что я никого, кроме тебя, не любил. Я люблю тебя, и это - правда.

У меня вообще очень мало знакомых, к которым я располагаюсь душевно и которым доверяюсь. В Бухаре - только один человек. Ему 77 лет, он глубокий старик, но я к нему отношусь с сыновней склонностью. Он ведет жизнь аскета и никогда не был женат. Он умен, начитан, мудр, владеет французским и немецким. У него отличная

библиотека и коллекция камней. Он любит Восток и его культуру и судит обо всем этом свежо и искренне. Он знаменит предками: его пробабка со стороны матери доводилась двоюродной сестрой декабристу Кондратию Федоровичу Рылееву, которого знал Пушкин. Зовут его Сергей Николаевич Юренев.* У нас зашел разговор на тему, можно ли полюбить человека по письмам, и он на меня очень понимающе посмотрел, усмехнулся и сказал, что да, можно.

Родная моя, у меня пока изменений нет, как и ничего нового, кроме постоянных мыслей о тебе. Но это, разумеется, не новость, а я все же думаю и думаю о том, чтобы, встретившись с тобой, не разлучаться никогда надолго. Я хочу с тобой поехать в Пярну, пройтись в самый конец мола и полежать на песке в 12 км от города. Мне хочется сходить в Эрмитаж и чтобы ты была непременно рядом. (Только не с экскурсией.) А больше всего хочется видеть тебя каждый день хотя бы утром и вечером, а если очень захочется увидеть днем, чтобы это можно было сделать легко и быстро. Я думаю уже теперь о Новом 1974 годе и прошу у Деда Мороза места под елкой для нас с тобой. Мой милый ласковый волчонок, осталось подождать не так уж много, а там - иншалла! - так, как ты хочешь, и я тоже.

Сейчас в Бухаре жарко. Два дня тому назад было до 42° в тени. Это уже слишком даже для привыкших к жаре людей. А я, занятый тобой всецело, не замечаю ни жары, ни холода. Тебе не представить, до чего я по тебе истосковался и соскучился. Любимый мой дружок, Ингрид! Ты говоришь, что мои хлопоты и тревоги кончаются у тебя, в Таллине. Дай Бог, душенька, хорошо если так. А если они даже и будут, то намного меньше и не так мучительны, потому что я уже не буду сам - один, а с тобой...

<...>

Тебе привет от Бемоли. Она великолепно устроена, хозяин в ней души не чает. Да ведь она всегда была умницей...

21.7.1973.

* С.Н. Юренев - репрессированный, прошедший лагеря ссыльный ученый-археолог. Как реальное действующее лицо введен в роман Б.К. "Сцены из античной жизни" (печатался с продолжением в журнале "Вышгород" в 1997-99 и вошел в 2000 году в "Избранную прозу" Бориса Крячко). В февралю 98-го Б.К., присылая нам очередную главу, писал: "в Бухаре теперь есть улица его (С.Н.Ю. - Ред.) имени, чему я бесконечно рад".

Мой свет, мой ангел, мой ласковый и нежный дружок,
моя умница, моя верная Ингрид, галочка - здравствуй.
<...>

Это замечательно, что ты меня принимаешь за семита. Я очень польщен, а эти строчки пишу тебе с кривой улыбкой на физиономии. Прости, что я утрирую твои слова. Конечно, шутка. Но все-таки надо объясниться, потому что время поспело.

В моих жилах нет ни капли еврейской крови, как, впрочем, ни капли русской. При рождении мои родители, абсолютно чистокровные украинцы, записали меня русским, за что я на них ничуть не обижаюсь, а, напротив, бесконечно благодарю. Я даже испытываю некоторое тщеславие при случае, подобно легкомысленному французу из “Персидских писем” Монтескье, который, наслушавшись рассказов о гаремах, кричал: “Ах, до чего же, наверное, приятно быть персом!” Но - шутки в сторону, а быть русским мне, в самом деле, очень приятно. Уж не знаю, то ли здесь тяга к языку, то ли свойство с людьми, то ли воздействие природы, земли, школы, родителей, которые искренне и кстати отучили меня “балакать” и научили “говорить”, то ли сказалось влияние культуры с литературой во главе, а вернее, все это вместе сформировало мой взгляд на самого себя по части национальной. Когда я говорю, что я не украинец, а русский, я делаю это не от созерцания своего собственного пупка, а по очень веским для меня причинам, какие были, верно, свойственны и Ник. Вас. Гоголю и Вл. Гал. Короленко и иже с ними, а мне, следовательно, сам Господь-Бог велел.

Все мое родство по мужской линии с незапамятных пор осело на Кубани в Краснодарском крае. Не так сказать, чтобы очень уж с незапамятных, но со второй половины восемнадцатого столетия, когда Екатерина II разогнала Запорожскую Сечь и переселила этих беспокойных хохлов на Северный Кавказ, чтобы они там бесплатно черкесов и дагестанцев осваивали. Я еще помню кусок песни, которую распевал мой дед в подпитии

Ой, спасибо тії царіці,
Що вділила нам землиці.

Надо тебе сказать, что генеалогия моя запущена до чрезвычайности и уже по одной этой причине представляет для биографов несомненный интерес. Человеку предписывалось помнить предков до седьмого колена, я же помню своих только до шестого, да и то с большой натяжкой и исключительно по мужской линии. Если тебе это интересно, тогда, значит, все выглядит так:

Крячко Борис Юлианович, то есть я,
Крячко Юлиан Антонович, мой отец,
Крячко Антон Маркович, дед,
Крячко Марк Петрович, прадед,
Крячко Петр Ильич, прапрадед,
Крячко Илья ? ...прапрапрадед,

но это уже такая древность, которая уходит к 1800 году. А вот тот седьмой, которого я, к стыду, не знаю, и был, наверняка, тем самым Крячко, который переехал со своим куренем на Сев. Кавказ, и во времена которого начала существовать станица Новомышастовская, существующая и поныне.

Ты не ошиблась в одном: я, действительно, южанин. Что касается физиономии, то меня можно принять и за француза, и за мексиканца, и за еврея и за кого угодно, что мне ничуть не вредит. А когда я гляжу на полотно Репина “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”, думаю, что картина написана так, как надо.

*Нопеу,** тебе не скучно? Главное, чтобы тебе со мной скучно не было, иначе я пропал. Ну, о моих предках я тебе как-нибудь еще расскажу, среди них были интересные люди.**

Я сейчас больше о тебе думаю, чем о чем-либо еще. Какое счастье, что мы встретились. Как хорошо будет видеть тебя каждый день. Как замечательно будет звучать все, что ты мне скажешь по-русски, родная моя эстоночка. Как я тебя люблю, Ингрид. Больше, чем все эстонцы на свете. Мне очень нравится признание Гамлета Офелии: “Я люблю тебя, как десять тысяч братьев”...

25.7.1973.

...Если от тебя не приходит долго ни слова, я с тоской осознаю (прости меня, галочка), как тают твои письма в памяти. Как мартовский снег. Пропадают формы, уходит сюжет, тускнеет настроение... Когда я от тебя письмо получаю - все опять становится на место и восстанавливается.

Это похоже на один мой сон двухлетней давности, когда я виделся с Музой. Сон передать трудно, но мне снилось, прежде всего, что я уже проснулся в привычном для меня помещении и в обстановке полностью отвечающей реальности. Я крепко сплю, а снится мне, что я не

* *Нопеу* (англ.) - ласковое обращение: милая, сладкая. С него начинаются впрямь многие письма.

** Б.К. напишет потом автобиографическую повесть “Корни”. Опубликовано в журнале “Вышгород” 4-5,99 и в его “Избранной прозе”.

сплю, и сна у меня ни в одном глазу нет. Входит женщина высокая, стройная и строгая. Вместо платья у нее темная накидка вроде древнегреческого гиматия, только длиннее, до самых пят. Лицо скрыто густой вуалью, будто занавесой. При этом я не меняю позы и не встаю с ложа и не чувствую каких-либо неудобств или некорректности. Это сон - в жизни я никогда бы так даму не принял. Спрашиваю, кто она такая и ничуть не удивлен, когда она себя называет, будто наше свидание давным-давно согласовано. На улице день и окна сияют от солнца. Я предлагаю ей открыть лицо, она мне говорит, что она охотно бы так сделала, но на ее лицо больно смотреть. Я обещаю закрыть глаза, только бы она сняла вуалетку. Она соглашается. Тогда я схитрил, тихонько приподнял веки и был ослеплен и ошеломлен. (По эффекту это было то же самое, как если бы выйти из темного подвала на яркий свет - шок.) Но успел, однако, заметить, что у нее лицо моей мамы.

Муза, догадавшись, верно, что я плутую, подходит, садится рядом и двумя пальцами закрывает мне глаза. Прикосновения у нее легкие и нежные, я чувствую, как все тело мое наполняется блаженством невесомости, сладким волнением, и мне нет охоты двигаться или тревожить себя и ее разговором. Такое состояние превращается в полнейший восторг, когда перед моими закрытыми глазами возникают огненные слова в тех сочетаниях, какие делают их абсолютно новыми, свежими, емкими, удивительными. Целый текст, который я восторженно поглощаю и сразу же исповедую. Как прекрасно действует память! Я помню все наизусть! Но я ведь сплю и остатком дремлющего сознания понимаю, что это - сон. Хочу вскочить, чтобы записать это "послание Музы" слово в слово. Делаю попытку и - опять чувствую у себя на глазах ее невыразимо нежные пальцы. Вновь опускаю голову на подушку и вновь передо мной текст. Тот же самый, но уже меньше, он тает прямо на виду. Опять порыв вскочить, и опять наталкиваюсь на ее пальцы, и опять падение навзничь, и опять текст - меньше, меньше, меньше. Так было четыре раза.

В пятый раз я почувствовал, что меня больше никто не удерживает, и вскочил, проснувшись. Бросился к бумаге и записал те слова текста, которые не растаяли и остались. "Искать скрытый смысл слов". Глянул на часы - начало третьего ночи.

29.7.1973.

...Возможно тебе это покажется удивительным. На самом же деле это обыкновенная штука. Здесь, в Бухаре то есть, надо мной висит “потолок”, или предел, выше которого мне никто не даст возможности прыгнуть: 100. Постепенно я так привык к своему положению, что удивляться перестал, а *port monee* выкинул за ненужностью. Как ты и сама представить можешь, якорь этот настолько мертвый, что ехать мне куда-либо не слишком разгоришься, разве что в пустыню к туркменам либо к казахам.

Милый мой дружок, *honest poverty** не очень отрадное утешение. Но, правда, бывает положение и хуже. С месяца тому назад я видел одну пару: он и она. Обоим лет сорок, оба пьяненькие - лыка не вяжут, жалкие, несчастные, задерганные, как марионетки, и грязные, будто черти из преисподней. Но главное (самое удивительное!) оба с каким-то покушением на любовь: она положила голову ему на колени, а он нетвердой рукой пытается гладить космы ее перепутанных и взлохмаченных волос. Мне жалко их стало. Я подумал сразу, что этим двоим уже никогда и никуда не уехать.

У одного из французских импрессионистов я видел похожую по теме картину с названием, от которого меня бросило в озноб. Знаешь, как картина называется? “Потеря невинности”.

Разумеется, способы для добывания средств есть, и много, но не все они для меня подходят. Не годятся, например, газетные гонорары. Надо писать так: “Труженики колхоза имени Айвенго, как и весь советский народ, вдохновенные” !!! и пр. и пр.

Так писать мне стыдно, я не умею, я очень люблю слова, а писать таким образом мне представляется равносильным самоубийству. (Потому я и ношу на руке цейлонский гранат.)

Но при всем таком, любопытная вещь! Настоящий кунштюк! Тем немногим женщинам, которые переходили мою дорогу, было совершенно неважно, каким образом я стану обеспечивать жизнь, лишь бы обеспечивать - да побольше! да почаще! да получше! Вот какие дела.

Поэтому я и занимаюсь в газете обработкой чужих статей, писем, информации, а своего ничего не даю. Ну да хватит об этом...

30.7.1973.

* *honest poverty* (англ.) - честная бедность.

...Ты знаешь, среди грубых и подчас цинических рассуждений иной раз встречаются даже открытия и точные выводы. Когда-то, года два с лишком тому назад, я давал экскурсию шоферам, перегонявшим машины с Урала. Эта промасленная и насквозь пропитанная бензином аудитория с большой сосредоточенностью и вдумчивостью воспринимала мои суждения и мысли о памятниках, которые я им передавал в качестве генератора идей. Потом один сказал: “Интересно. Смотришь на все это смотришь и - ничего не понимаешь. Только уже противно становится думать о левых рейсах, о девках, о семейных скандалах и о пьянках. Как-то не вяжется одно с другим”.

У меня глаза на лоб полезли от изумления. Никогда, ни в одной книге я не встречал более точного вывода о высоком предназначении искусства и об определяющем отношении человека к прекрасному...

...Когда я думаю о тебе в условном и нереальном прошлом, совмещая настоящее с прошедшим, у меня всегда появляется радостная убежденность, что ты очень понравилась бы моим родителям, будь они живы. Мать всю жизнь любила только одного человека - отца. Отец ее тоже любил, хотя у него и были связи с другими. Я спросил у мамы незадолго до ее кончины, была ли она счастлива с папой. Она ответила: “Очень”. Папа умер первым, а мама его пережила не намного. Оба лежат рядом в Ленинграде на кладбище. Я тебе о них расскажу, только не теперь, в другой раз, когда вместе будем.

Сегодня положили в больницу моего Сергея Николаевича. Я тоже о нем немножко писал раньше. Ему 77 лет. Год назад у него стали выходить с мочой сгустки крови. Он понемногу лечился лекарствами, но режима питания у него вообще никакого не было, да и образ жизни отшельника тоже сказался. Ходил с утра к нему в больницу, он передал кое-какие распоряжения на случай кончины. Вечером звонил в урологическое, где он лежит, ответили, что чувствует себя он несколько лучше. Я к нему очень привык и не хочу, чтобы он умирал. Хорошо, что у меня есть еще ты, а иначе я чувствовал бы себя теперь совсем сиротливо. У него сейчас солидное кровотечение уже... произвольно. Посидел я у него с четверть часа, а потом он отправил меня в редакцию, чтобы я не очень огорчался его положением и видом. Он такой, мой Сергей Николаевич, очень стойкий и мужественный человек. Завтра опять буду звонить и спрашивать...

9.8.1973.

...Ты меня спрашиваешь о том, какую музыку я больше люблю. В общем всякую. В семнадцать лет я посмотрел первую оперетту “Веселая вдова” и думал, что лучшего на свете не может быть. Так продолжалось года 2-3, а затем я разлюбил оперетту навсегда.

В юности я итальянил, но итальянщине суждено было кончиться вместе с юностью, возмужание потребовало новых звуковых сочетаний. Развитие сознания и радости познания и нового развитого чувства кинули меня в объятия Бетховена, Гайдна, Моцарта - их трудно было насвистывать. Печаль с неизбежными разочарованиями и с достоевщиной нашей жизни подтвердились великолепной недосказанностью Чайковского. Неожиданности и парадоксы, столь частые со мной, как и с другими, заставили меня наострить уши и прислушаться к диссонансам Скрябина. Все это так параллельно и неизбежно идет, что каждый момент, каждый музыкант для меня так же объясним и закономерен, как суточное обращение земли.

На общий взгляд, музыка совершает бесконечное путешествие в бесконечность и по кругу от Норвегии до Экватора и дальше, очень интересно меняясь в тонах, ритмах и во всех малостях ландшафта, быта, характера, обычаев. На Востоке музыка тоже хороша. Чем старше я становлюсь, тем больше тяготею к народным напевам, а по характеру - к печальным мотивам. У меня не хватало терпения слушать оперу до конца, на оперу целиком я смотрел как на море лжи, где попадались островки правды, а оглушительный симфонически-оперный гром очень часто похож на рычание унитаза. Пожалуй, самые нескучные оперы у Верди, самые умные (если только это вообще применимо к опере) и глубокие тоже у Вагнера. Есть в них много отличных, ненадоедливых для слуха, как море для взгляда, мест, которые можно слушать часто. Но слушать оперу целиком - ради Бога, избавь меня от этого. <...>

О танцах я тебя разочарую признанием, что танцевать совсем почти не умею. Танцы ведь связаны с партнером. Там лад, общность движений, их разнообразие и непринужденность в границах отведенного пространства и в согласии с тактами мелодического метронома. Для меня это не годилось. Коль скоро я избегал женщин, то избегал также и общения с ними. Когда ты будешь со мной танцевать, ты увидишь, что я смешон, нелеп, неуклюж, неестественен, что мои движения - это движения караса, у которого поврежден нерв равновесия...*

13.8.1973.

* В Таллинне они с Ингрид и ее дочками ходили на танцевальные курсы.

...Человек все-таки очень похож на дерево тем, что но-
ровит пустить корни. Мне тоже очень хочется. Я их и
пускал - глубоко, да без толку, а чем глубже, тем больше
рвать их было. Смертельно соскучился я по дому. Ты не
испытывала этого и не знаешь. Это, если хочешь, сродни
чувству норы у волка, чувству гнезда у птицы, чувству
берлоги у медведя. Я этого ощущения не находил нигде с
той поры, когда покинул родителей, а было мне тогда
всего 16 лет. А люди попадались странные и чужие, им
прямо-таки хотелось превратить меня в какую-то недви-
жимую собственность, мне же от этого становилось так ху-
до, что глаза потухали и я места себе не находил...

...Мне говорили не один раз, что моментами я бываю
похож на крестьянина или на пастуха, а не на интелли-
гента. И мне это ставили в упрек и в вину, а я вовсе этим
не огорчался и вины не признавал... Это у меня, навер-
ное, по наследству, от густой земляной крови и моих
предков...

17.8.1973.

...Я договорился на днях с руководством местного “Ин-
туриста”, что в течение месяца буду обучать их неграмот-
ных гидов, буду, словом, читать им лекции по исламской
культуре, методике, композиции, истории, литературе, ар-
хитектуре и т.д. в привязи к здешним памятникам и под
углом экскурсионных маршрутов. Занятия на первую не-
делю спланировал. Придется по 2 часа вечером ежедневно
- вот. В конце занятий я получу оговоренную сумму, да
плюс расчет, и этого хватит на отправку багажа, на билет
(только в один конец) и на питание (только туда).

21.8.1973.

...Сейчас в Бухаре по утрам чудесно. Воздух такой све-
жести и густоты, что можно не завтракать и глотать по
пути на работу воздух. Его даже, кажется, пальцами мож-
но прощупать. Аисты улетели. Скоро будут собирать хло-
пок.

...Отрывок из авторских обрабатываемых материалов:
“Рабочий поселок со всеми удобствами городского быта.
Дома с телевизорами, газом и пр. Асфальтированные
улицы, клуб с большим кинозалом. Да плюс ко всему -
природа: разливы изумрудных садов и ветрозашитных
рощ, где все лето напролет кукушка щедро отсчитывает
годы девятой пятилетки”...

25.8.1973.

...Пишу тебе с совещания инженеров и гл. инженеров колхозов и совхозов... В понедельник в газету пойдет небольшая информация о дефолиации* хлопчатника, в которой ничего не будет сказано о том, что мне пить хочется...

26.8.1973.

Родная галочка!

У меня уже обыкновение: перед ночным дежурством захожу на почту и обязательно получаю от тебя письмо. Тогда я всю ночь чувствую себя на свидании с тобой и чувствую твои слова и волнение в них, и слышу на щеке твое дыхание, и смешиваю свое с твоим. Видишь ли, это у меня тоже стало привычкой. Голубчик, Ингрид, ты не огорчайся. Я получил от тебя много писем, а если сегодня не пришло - не беда, завтра придет...

...мне осталось здесь один раз подстричься, выкурить три коробки табака "Золотое руно", дважды постираться и - все. Совсем немного, скоро уже я тебя увижу и буду видеть каждый день.

Хочешь, я тебе напишу о том, какой я хозяйственный и хороший. Вчера у меня была большая стирка: семь сорочек, одни брюки, две майки и столько же трусов, три носовых платка, наволочка и простыня! В России у домохозяйек заведено вывешивать постиранное белье на просушку во двор для всеобщего обозрения: вот, дескать, какая я толковая! вот какое у меня белье - без пятнышка! ого! я еще, мол, и не такое могу! Потом собираются две-три-четыре женщины и начинают обсуждать тех, кто плохо стирает. Этого женского тщеславия я долго не мог понять, а потом мне оно показалось просто забавным.

Душенька, я не стал выносить свою стирку на обозрение, а просушил на балконе. Все пятна не отстирались добела, в особенности манжеты и воротники, надо было кипятить, а не хотелось. В другой раз прокипячу. Но в общем, хорошо и совсем незаметно, когда прогладил. Только две рубашки подгорели чуть-чуть от утюга внизу на незаметных местах, но я их сразу - водой! водой! и все стало совсем прилично.

Позавчера я послал тебе короткое письмо с совещания и писал, что по пути в город выкупался в озере. Мне кажется, что ввиду своеобразного несколько аскетического уклада во мне произошел какой-то необратимый про-

**Дефолиация - предуборочная обработка хлопчатника химическими препаратами (пестицидами) для искусственного листопада, дабы облегчить сбор урожая. Превышение норм, как пишут в энциклопедии, недопустимо. Однако допускалось...*

цесс, о котором говорят пословицей: “не в коня корм”. Сейчас испытываю гамму чувств при повышенной температуре и головную боль. Правда, сейчас на переломе, еще немного и конец. Пью чаю много, а еще больше вытираюсь: - лицо, шею, руки, словом, все поры, кажется, открылись. Пот со лба я убираю ладонью, на пол падает до 15 приличных капель. Рассчитываю, что к концу дежурства я опять буду бодр и весел. Галочка, не кажется ли тебе, что я чепуху пишу? Мне думается, что - да. Так ведь штука какая, опять привычка - говорить с тобой о чем попало, что на ум взбредет. Так, как с тобой, я ни с кем больше не говорил и говорить ни с кем не буду.

Сегодня газета поздно выйдет; еще нет ни одной готовой полосы и клише тоже не все готовы. Вот я с тобой сижу и не спеша мы с тобой разговариваем, как в долгие зимние вечера. А в Таллине они, верно, очень долгие, и это - хорошо. Честное слово, как мне хочется присесть рядом с тобой и, обняв тебя, ни о чем не говорить или говорить о совершенных пустяках, маловажных деталях.

Делал трехчасовую остановку и читал полосы. Теперь уже кончил читать. У меня состояние сейчас умиротворенное и горячее. Чувствую себя уставшим и охота закрыть глаза, но когда в мою усталость входишь ты собственной персоной, тогда возникает блаженный покой. Я не могу с тобой расстаться ни умом, ни сердцем ни на день и ни на час. Ты со мной всегда. Утром мои мысли о тебе спокойнее и ровнее, вечером к ним примешивается тревога безотчетная и какие-то сомнения. Это естественно, потому что человек за день устает. Но тревожусь я о тебе потому, что люблю тебя. И предположения тоже всякие вроде, а вдруг? И все по той же причине.

Ведь мы с тобой, в сущности, еще не были близки, как бывают влюбленные мужчина и женщина, у нас не было ничего, кроме первой встречи и потока писем, в которых (ты это точно сказала) мы прожили вместе целую жизнь. Только я чувствую в самом деле, в реальной каждодневной своей жизни такую прочную связь с тобой, что и самого себя вне тебя не могу помыслить. У тебя так бывает?

Чем больше времени приближает меня к тебе, тем больше я волнуюсь и боюсь. Боюсь оттого, что живой я могу не совпасть с тем Б. Крячко, которого ты, как мечту, любишь...

28.8.1973.

Моя радость!

Ты немножко изменяешь себе странностью, которая была бы обычна для других, только не для тебя и потому - это странность. Я тебя полюбил и люблю не за какие-нибудь достоинства, качества и приобретения, а просто люблю. А ты, пустив турусы на колесах, начинаешь резонерствовать, что, во-первых, у тебя в доме громко музыка играет, а во-вторых, ...

Галочка, передай своим девчонкам * от меня привет и скажи им, что я приеду. Если у них есть что-то от тебя, мы подружимся, если же нет, то не станем друг другу мешать. Я вообразил их себе сразу обеих и по тем свойствам судя, о которых ты мне написала, мне они обе нравятся. Мне лишь на первых порах будет затруднительно, и я сейчас слабо соображаю, как буду выглядеть среди всех вас, но, в конце концов, как будет, так и будет, будь что будет.

Что касается музыки, то это не бог весть какая беда. Мне, правда, больше по душе Восток, где громкость тона, резкость жеста и быстрота движения считаются признаками не особо хорошего воспитания, но одно дело Азия, а другое Европа, которая сама о себе понимает. В данном случае восточная экзотичность уживается вполне с западной исключительностью. Это будет похоже на улыбку взрослого по поводу безобидных детских шалостей...

...Дружок, я ведь не слишком ценное приобретение и не сугубая зависть для других. Я всего лишь люблю тебя. Мне кажется, что я говорил о себе в письмах достаточно ясно, чтобы ты поняла это. Ну, а если что и было сказано не напрямик, так это оттого, что я не хотел про это говорить. Это, наверное, очень плохо, но всегда так: если не хочу сильно, то не хочу. Рассказать тебе обо всем могу, а писать, все равно, что собственные кишки разматывать.

Спешу тебе ответить на это письмо в основном, а об остальном позже напишу. Главное же, чтобы ты не тревожилась и знала, что я все тот же, что был и год с лишним тому назад в Хиве, когда мы с тобой встретились, и весной этого года, когда мы сказали друг другу то, о чем нельзя было нам не сказать...

4.9.1973.

* Б.К. боялся, что Ингрид слишком молода для него, и обрадовался: "так как у тебя Нелл и Инис и им 16 и 14"...

Дорогой мой и бесценный друг!

Три дня я полон нетерпения написать тебе письмо и, как назло, не удается. Теперь началась хлопкоуборочная кампания, и нас всех разгоняют время от времени по колхозам. Последние два дня были как раз такими. Сегодня я прибыл и сегодня меня поставили в дежурство по газете, так что я рассчитываю написать тебе (там где это возможно, читай - вам) письмо и отвести душу, поговорив.

Я не любитель командировок, потому что в них требуется умение пить коньяки и водку, дабы не обижать радужных хозяев и дабы каждый председатель колхоза мог сказать: "Вот это человек! *Ecce Homo!* Он напился в стельку без задних обо мне мыслей. Он - мой друг. Эй, люди, уложите моего друга на хорошую кошму, чтобы он, как следует, выпался, и гоняйте от него мух". Разумеется все это шутка, где есть правда и смысл. <...>

...Дня четыре назад был Алька. Сейчас он где-то на разработках, а числах в 20-х опять заедет. Привез мне хорошего табаку, но что гораздо важнее, так это четыре тома В.В. Бартольда (самый лучший ученый-востоковед). Я страшно ему (брату и Бартольду) обрадовался. Ты говоришь, чтобы я не выбрасывал своих записок лекционных. А что выбрасывать, когда их нет. Я ведь писал очень немного, а мысли, ежели они пришли, то уже остаются. Занятия покамест до сих пор не проводил, начальство что-то медлит и не торопится. Ну и черт с ними. Обойдусь и проживу...

...Всю жизнь я боялся просить; мои необузданные фантазии, мечтания, темперамент и чувства засыхали на корню под давлением собственного самолюбия. А попросить все ж таки пришлось дважды и оба раза плохо для меня кончилось, я ругал себя последними словами за оплошности, но поздно было ругаться. Так, ожегшись на молоке, я старательно дул на воду и, верно, дул бы до конца дней, если бы не ты. Моя единственная, моя девочка, моя Ингрид, я чувствую себя счастливым от твоей любви. Благодарность здесь ни к чему - очень мелкие ненужные слова. Я просто счастлив. И люблю тебя. Даже в случае если бы то, что теперь между нами есть, вдруг перестало быть по какой-то причине, я все равно считал бы так: и ко мне судьба была добра, и меня жизнь не обошла милостью, и я знал любовь женщины, лучше которой для меня нет...

<...>

...Ах, этот милый первый день, каким он будет? Девчонки-то на фортепьянах музыканят и книксен, небось,

делают. Пропала моя бедовая голова... Если они в самом деле на тебя, мой ангел, похожи, тогда они и так мне понравятся. Я с вами на первый раз посижу немного и, чтобы не смущать вас, удалюсь в отведенные для меня апартаменты. Еще я тебя прошу (прошу, душенька! - вот ведь какая штука) о чем раньше просил: не изменяй привычкам, не говорите мне в угоду по-русски, говорите, как всегда, по-эстонски, все едино я ничего не понимаю. Из эстонского я знаю только название цветка ромашки, которое напоминает пение петуха "ку-ку-ре-ку",* да еще стишок из Маршака:

Се те он, се те он,
Ленингради постильон!

- и все на этом.

Тебя я все так же крепко и нежно целую и люблю тоже крепко и нежно.

Всегда твой -

Борис
7.9.1973.

Моя Ингрид, моя маленькая, моя кичкинэ!

Я отступил от правила, пропустив срок для письма тебе, установленный мною самим, и потому нижайшим образом прошу на меня не сердиться. Командировка моя в колхозы затянулась на два дня больше, чем предполагалось, это во-первых. Во-вторых, я несколько прихватил бутифоса, нанюхавшись дефолиантов, которыми опыляют плантации с самолетов, дабы упала листва и можно было хлопок собирать комбайнами. Ввиду этого у меня сутки ломило голову и я, попросту говоря, отходил от химикатов.

Все благополучно, все, в общем, нормально и все - то же самое. В день на человека приходится много водки и мяса, много ходьбы и бесед с людьми. Водки я употреблял мало, а в мясе желудку не отказывал, тем паче, что он у меня не особо взыскателен. Съел также много отличного свежего меда, с постоянным предпочтением к нему, в ущерб инжиру, винограду, дыням и арбузам. Но, крошка, это, наверное, скучно читать, и воспринимать меня в виде Гаргантюа или Вакха не следует.

Была у меня непонятная чертовщина. На спине появился рубец, как от удара плетью. Он быстро поднялся на плечо, переполз на руку и сползал вниз до пальцев, как змея, вызывая острое желание почесаться. Дойдя до кисти руки, рубец пропал, потому что дальше пальцев больше ничего не росло. До сих пор не могу осмыслить это-

* *karikakar* (эст.) - собачья ромашка, пупавка.

го явления и объяснить его тоже. Но это тоже попутные мелочи и чепуха.

В воскресенье, то есть 16, была у меня группа туристов из Москвы, и я порядком находился. А во вторник все-таки состоятся первые занятия для гидов. Если еще разок меня надуют и отложат, откажусь вовсе. Сегодня у меня дежурство в газете и я рассчитываю поговорить с тобой вволю. Соскучился по тебе очень...

Нежно тебя целую.

Твой Борис.

17.9.1973.

Honey!

...Ты мне говоришь, что я могу приехать просто так, посмотреть и решить, словом, на время. Понимаю тебя. Но я не хочу “на время”, а хочу навсегда. Так я и делаю, к этому и иду. Иду, возможно, неторопливо по обыкновению, но верно и твердо. Я бы даже торопился, но мне нельзя иначе. Сейчас у меня все пушено на то, чтобы преодолеть расстояние от пункта “в” до пункта “t” - и оттого я не отказываюсь от командировок, и оттого я пишу в газету неинтересные статьи, где ни образа, ни стиля, ни приема, ни пейзажа - ничего нет, кроме гонорара. Меня беспощадно правят свыше. Я, например, пишу слово “коровы”, а его выбрасывают и ставят пять слов вместо одного: “маточное поголовье крупного рогатого скота”. Тогда я переписываю все заново раз-два-три-четыре раза. В конце концов я перестаю узнавать собственную корреспонденцию и взираю на свои статьи, опубликованные в газете, с такой же неприязнью, с какой солдат разглядывает вошь у себя на белье. Со стороны я, наверное, как тот охотник, у которого начинает слабеть зрение, и он, дорожа каждой пулей, ужасно боится промазать. Но все это пустяки, когда я знаю, что где-то ты живешь без меня и эта наибольшая забота из забот никогда не покидает моего сердца. Галочка, я тебя люблю...

21.9.1973.

...Сказал о своем предстоящем отъезде С.Н. Он огорчился, но не очень, так как образ жизни, который я веду здесь сейчас, огорчает его гораздо больше. Единственное или, точнее, одно из двух, чего он желает, это либо поскорее выписаться, либо помереть. Я ему очень желаю поправки быстрее и выписки домой в хорошем сносном состоянии, тогда у меня на душе будет легче. Сильно надеюсь, что выпишут его из больницы домой в пре-

делах месяца... Внешне он выглядит прилично, но по-прежнему кровоточит, хотя и меньше, и внутренне переживает все это. Я его навещаю через день-другой, там в больнице есть перголя,* мы туда идем и с полчаса беседуем. Он говорит:

- Пора мне, душенька, Б.Ю., 77 лет. Чужой век заедаю.

Я ему в ответ о чем-либо ином, вроде: - Смотрите, как великолепно эта аллея с виноградником. -

Он отвлекается, щурится старчески на солнечные блики в зеленом сумраке листьев, оживляется, говорит:

- А ведь, действительно, хороша. Как итальянские этюды Шедрина** где-то в Альбано... -

Тогда я возвращаюсь к первоначальной теме:

- Ну вот, так-то лучше. А вы говорите “пора”, - и мы оба смеемся. Галочка, я ведь его тоже люблю. Когда-то, даже не помню в точности когда, встретила мне одна старинная, кажется, библейская истина и запомнилась смыслом: тому, кто истинно любит, многое дается, многое от него спросится, но и простится ему тоже многое. Я тебе в одном из писем, помнится, писал: девочка, Ингрид, прости мою любовь к тебе. Это правда, потому что ни к кому я не испытывал того, что испытываю к тебе, и хочу любить тебя столько, сколько мы с тобой живы будем.

Моя радость, сейчас я не так беспокоюсь, как удивляюсь, в какие же мы отношения будем поставлены друг к другу, я - с одной стороны, Нелл и Инис - с другой. Если у вас это принято, пускай называют меня просто по имени, так, пожалуй, будет правильно. А там со временем образуется...

27.9.1973

Родная галочка!

Сегодня последний раз отделал и отпечатал маленький рассказ “Обида”.*** Второй экземпляр его посылаю тебе, а первый завтра пошлю в “Литературную газету” с указанием моего обратного адреса - ул. Рави, 19-11. Может быть, у тебя легкая рука и адрес будет счастливым.

Рассказ я сделал давно, но несколько деталей к нему нашел лишь сегодня. Мне очень хотелось написать косвенно портрет человека лет 65-70 и характерные его свойства, как он сразу все вместе - обижается, умоляет,

* Pergola (англ.) - беседка или крытая аллея.

** Видимо, Шедрин Сильвестр Феодосиевич (1791-1830), живописец, работавший в Италии.

*** Рассказ опубликован в сборнике “Битые собаки” (Таллинн 1989).

брюзжит, угрожает, плачет, льстит, принимает позу, со-
блазняет взяткой и мечтает о бессмертии в преддверье
могилы. Кроме того, хотелось его устами сказать неско-
лько истин, а изрекать истины, как ты знаешь, во все
времена разрешалось либо высоким должностным лицам,
либо дуракам. Мое персональное отношение к этому ста-
рому чудаку - иронически доброжелательное, сократов-
ское. Если тебе рассказ понравится, буду счастлив. Ведь
по сути дела я давно ничего не делаю без твоего при-
сутствия и участия, без мысли о тебе. Ну, а коль не по-
нравится, выкинь его без сожалений в корзину для мусо-
ра. Я напишу тебе другой, лучше.

29.9.1973.

...Мой ангел, багаж я адресую на твое имя.* Мне ду-
мается, что так будет правильно. Там в основном книги
по востоковедению да кое-что из тех вещей, которые не
войдут в чемодан. Следующая остановка попутная будет
в г. Волжском (Волгоград) с отправкой оттуда книг - ин-
шалла! - таким же образом (иностранная лит-ра). И, на-
конец, последняя остановка предстоит в станице Сла-
щевской, откуда я тоже должен отправить книги (иностран.
лит-ра) - и все. Слащевская, это на Дону, шолоховские
места. Надеюсь оповещать тебя с дороги кратко, теле-
граммами. По моим подсчетам, при благополучном сте-
чении обстоятельств надеюсь прибыть в Таллин - еще ин-
шалла! - числа 30-31 октября...

Еще одно: если придет письмо из "Литер. газеты" на
твой адрес и мое имя, ты его вскрой и посмотри, может
быть им что-нибудь помимо надо. Это на случай, если
меня не будет еще. Но предполагаю, что они в обычной
своей манере negliжировать корреспондентами не
очень-то будут торопиться с ответом. (Галочка, я пишу об
"Обиде", копию которой я тебе послал.)

В "Л.г." я отправил рукопись с припиской передать ее
Субботину (член редколлегии), который, по сообщениям
И.С. Маршака, доброжелательно относится к моей писа-
нине...

3.10.1973.

Моя галочка!

Наконец, прожив без вестей от тебя пятнадцать дней,
получил твое письмо. Сегодня, как обычно, дежурю но-
чью в газете, чтобы на завтра быть предоставленным са-

* Но потом отправил "на свое имя", т.к. "не следует всем знать, куда,
зачем и к кому я еду".

мому себе, не ехать на хлопок, а взять группу туристов и показывать город.

Хорошо, что я это делаю два дня в неделю. Текст экскурсии, это все-таки текст. Как бы ни была хороша найденная форма, фраза, как бы ни удачно сделано построение, это может быть интересно для слушателя один-два, даже три раза, но для экскурсовода - это текст, стандарт, в конце концов, шаблон, гост. Никогда я не был в состоянии повторить один и тот же рассказ дважды в день. Самые длинные экскурсии у меня были в Хиве прошлым летом по девять (и раза два по одиннадцать) часов. Голый текст довести может человека до идиосинкразии. Я спасаюсь от пагубы надоедливости текста, уходя в события и образы лично, переживая все это как будто заново. Мне очень понятна нетерпимость К.С. Станиславского к одной и той же роли, будь автором Чехов, Гоголь, сам Шекспир, да в общем неважно кто. У экскурсовода с актером много общего, а различия мало, разве что только в том, что экскурсовод всю пьесу играет один...

...Тут есть опасность, о которой я тебе скажу, чтобы ты лучше представляла и меньше идеализировала "благородное подвижничество" экскурсовода. Привыкнув "попадать в точку" не глядя, многие хорошие экскурсоводы отходят от творчества и впадают для разнообразия в факирство и трюки, понуждая людей плакать курам на смех и смеяться над чужой бедой. Мое уважение к людям в том, что я никогда не опускался к фокусам и никогда не старался выжать (почти по В. Брюсову)

...У пьяного поэта - слезы,

У бедной проститутки - смех.*

6.10.1973.

...Так или иначе, как бы ни было, 5 декабря я пойду в кассу покупать билет. До увольнения я боюсь это делать. Галочка, прости меня, что я так нерасчетлив и непрактичен. Мне сейчас трудно и одиноко, и я преодолеваю эти тяготы через силу, а живу в сплошном ожидании. Наверное, самые первые мои слова к тебе, когда я приеду, будут: Ингрид, я так долго к тебе ехал, так мучительно долго, словно пешком прошел весь путь.

По субботам и по воскресеньям нас возят на хлопок, в остальные дни время забирает газета. Стараюсь немного отвлечься каким-нибудь сюжетом, а примусь писать - перо из рук валится, вместо фигуры получается какой-то

* Стихи А.А. Блока "Клеопатра": "У пьяного поэта - слезы, / У пьяной проститутки - смех".

гротеск ни на что не похожий, вместо действия - прыжки и скачки, вместо диалогов - недомолвки. В общем, сплошная чушь на постном масле...

24.10.1973.

Мое сердце, Ингрид.

Умирает Сергей Николаевич. У него рак. После операции у него наступило некоторое улучшение, а затем все обострилось еще больше. Сейчас он вовсе не встает и очень мучится от болей. Он сильно переменялся, похудел крайне, а лицо побелело, просветлело и стало похожим на лик св. Николая-чудотворца, покровителя всех путешествующих и странствующих по суше и по морю.

Бываю у него каждый день, но не более десяти минут. Он очень устает, поэтому я не сижу долго. Стараюсь рассказать ему что-нибудь веселое, порой даже фарс. Он тоже шутит, перемогая болевые приступы. Я тебе писал, что он человек большого мужества, сильной воли и нежной души.

Я не знаю никого, кроме отца и матери, к кому чувствовал бы такую сыновнюю расположенность, как к нему. Родителям я обязан тем, что произошел на свет, а Сергею Николаевичу тем, что живу не озлобившись, как хорек, не утратив вкус к жизни, и в конце концов, даже тем, что люблю тебя. Когда мне одно время, лет около пяти назад, было так трудно, что не хотелось по утрам просыпаться и открывать глаза, он своей немощной старческой рукой вбил в меня стержень, словно новый позвоночный столб, и я пошел дальше, спотыкаясь, падая и вставая, но пошел.

Он приставал ко мне бесконечно, пока не втравил меня в это дело - писать. Я ведь ленив прямо-таки обломовски, ты знаешь. Сергей Николаевич переборол мою лень и - благо! - мне открылся целый мир образов и событий, в которых я участвовал и жил. Я прочно и крепко устоялся на ногах, как только почувствовал себя (прости, галочка, манию величия на сей раз) генератором созерцаний, ощущений, мыслей и идей.

Теперь он уже сделал последние распоряжения и приготовился. Исход врачи единогласно видят только летальный, а всю эту агонию - недолгой теперь уже. А он и сам это знает лучше их. "Живые закрывают глаза мертвым" - древняя и четко выраженная истина. Сергей Николаевич умел это делать и при жизни. Это и есть его удивительнейшее свойство.

Скоро он умрет, и я опять почувствую себя сиротой, как тогда, когда похоронил родителей. Плохо, что у меня слезы наружу выходят только когда я сплю, а наяву они

идут вовнутрь и это тяжело, потому что там накапливаются и давят и не приносят облегчения. Мы с ним этим летом сидели в чайхане, и он говорил, что скоро умрет, что он много и хорошо прожил, что он клином вошел в мою жизнь, что у меня какой-то талант и что мне когда-то придется тоже отвечать за него, если я потрачу его впустую. Я слушал, злился, дрыгал ногами, ёрзал задницей по тахте, иронизировал и прыскал чаем. Господи, какой я все-таки болван.

К моим малочисленным знакомым он относился, как мне казалось, с маленькой ревностью, и я ему о тебе мог сказать только косвенно, намеком. Потом он мне говорил уже, что я один жить совершенно не приспособлен, т.к. будучи наделен всеми качествами - естественности, независимости, аскетизма и непритязательности - мне недостает практицизма, причем непременно женского. Я понял его и связал сказанное с тобой, потому что ты у меня уже была...

31.10.1973.

Милая галочка!

Все решено так, как я тебе прежде писал. Отпуск с 19 ноября. Запись в тр. книжке об увольнении сделают сразу на дату окончания отпуска. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что я не буду ходить в бездельниках по моему "послужному списку" и мне никто не будет пенять в случае, ежели я доживу до пенсии. А плохо тем, что я не смогу устроиться на работу ни *de-jure* ни *de-facto* раньше 20 декабря.

Редактор согласился на такой вариант, и я ему признателен за это. Мы не особо, как тебе известно, симпатизировали друг другу, будучи людьми разными: он - человек ленивый, спокойный и благополучный, я - ленивый, спокойный и неблагополучный. Но все это пустяки, издержки, крохи со стола, и не может быть принято за единицу измерения человека. Ценить человека теперь трудно; не за ум его надо ценить и даже не за многие душевные качества, а за то, что он, попросту говоря, не сволочь. Редактор - не сволочь, мне приятно в этом убедиться напоследок, он терпимо ко мне относился, а равно и к моему ироническому образу мышления, и к гононарному безразличию, и к независимости в пределах трех измерений. Правда, все эти свойства я вполне оплачивал мизерной заработной платой, но здесь уже речь о вещах вещественных, лучше закончить. Итак, я доволен, что редактор хороший человек.

Сегодня я дежурю в газете ночью с 7 на 8 ноября. Возможно, последний раз, в крайнем случае - предпоследний. Мне хорошо, что я хоть таким манером с тобой "вижусь" и говорю, как теперь. А сейчас - праздник, я тебя целую и поздравляю. Газета еще не сверстана, впереди у нас целая ночь.

Со вчерашнего дня стало очень холодно, а сегодня к вечеру повалил снег. Такие резкие перепады погоды, как в нынешнем году, я здесь не припомню. Пришлось надеть пальто и шапку. А ведь у тебя еще холоднее, я мируюсь с балтийским климатом и согреваюсь мыслями о тебе так же, как странник, застигнутый в пути выюгой, согревается воспоминаниями о жарком лете.

Ты ждешь и ждешь, а я все не еду и не еду, и чувства твои ко мне, верно, идут на убыль. Сольвейг, жизнь моя, не теряй их, побереги и подожди немного, совсем чуть-чуть. А я приеду вскоре, вскоре. Вероятнее всего, я ошибаюсь в ущербности твоей любви ко мне, ты мне извини это, скорее всего, мне так только кажется, потому что я уже около месяца не получаю от тебя вестей и болезненно переношу душевную неразделенность, одиночество. Когда у меня еще не было тебя, я одиночество не ощущал так резко, как теперь. А если сюда прибавить, что теперь уже нет Сергея Николаевича, то ты меня, наверное, поймешь и простишь, о чем я тебя прошу.

Умер он вскоре после моего последнего тебе письма. Мы с ним свиделись за три часа до его кончины. За час его оставили боли, и он говорил врачу и медсестре, что ему так легко, как никогда, что он в жизни не курил с таким аппетитом, как ему курилось последний раз. За 15 минут он перестал говорить, но слышал и воспринимал все, находясь в здравом уме и в твердой памяти. Конец наступил на исходе суток в 11 часов ночи 30 октября. (Свои письма я помечаю обычно завтрашним днем. Из этого можешь судить, что это случилось в тот же день, когда я тебе писал от 31 октября.)

Сутки он пробыл (даже больше суток) в морге под хлороформом и парафином, а сутки у себя дома. Приехали родственники из Москвы и Калинина. Они оказались людьми близкими кровно и чуждыми по душе. Во всяком случае, я не заметил особых расстройств и скорбей, а совершенно напротив, заметил некоторую затаенную брезгливость живых организмов к мертвому.

Похороны были 2 ноября. День выдался по-летнему теплый, синий и светлый, как у тебя глаза. Публика собралась на проводы пестрая: коммунисты, беспартийные,

атеисты, верующие, узбеки, таджики, русские, евреи - все и довольно много. Лучшую часть провожавших составляла молодежь, и в этом есть определенный символ не бесцельно прожитой жизни, преемственности, следа.

При своей непритязательности и спартанском характере он был богатым человеком. Живи он по образу и подобию так называемых практических людей, он мог бы построить себе роскошные хоромы и трижды в день есть мясные борщи. Коллекцию камней он завещал Эрмитажу, в этой коллекции есть камни большой ценности, в полном значении - В.С.; коллекцию рисунков и картин завещал Третьяковке (а у него был подлинный Ван-Дейк, много старинных миниатюр, наброски и этюды Соколова и др.); керамику (целая превосходная посуда 14-15 вв., он ее называл “золотым фондом”, т.к. у него было, с большой долей вероятности, блюдо легендарного гончара Мири-Кюляля, о котором я немного тебе рассказывал в Хиве), - это он завещал Ташкенту, если я хорошо помню; обширную свою переписку завещал архиву с заповедью вскрыть через полвека после него, т.е. в 2023 году. Все это должно сохраниться. Что касается другого - его библиотеки, завещанной местному музею и местному педагогическому институту, то я уверен, что ее раскрадут по частям и по правилу “твое - мое - Богово” в ближайшее время.

Научный центр Бухары, или педагогический институт, где Сергей Николаевич когда-то читал латынь и русскую словесность, проявил интерес к своему бывшему преподавателю исключительно по-свински, что характеризует это заведение таким же образом. Оттуда не было ни единой души, чтобы почтить память покойного присутствием, соболезнованием или цветком на могиле. Но зато какой оживляж проявил этот “цветник науки” к наследству, ого-го!

Душа моя Ингрид, я не в состоянии вполне точно выразиться по поводу того, чего не понимаю. А непонятно мне вот что: беспокойство и сомнения, не имеющая пределов подозрительность - самая неоправданная и худшая, какая только может быть, и какую некоторые люди проявили к С.Н. даже по его смерти. Представь себе, на другой день после похорон является такая личность во двор к С.Н. и, не стесняясь ни приличиями, ни манерами, не прикрыв решительно ничем специализированный интерес к покойному, который самим фактом смерти, казалось бы, чихнул на всех недоумков и невежд, отпустив им их заблуждения еще при жизни, - и вот эта личность за-

водит такие расспросы: “А это кто? А-а, племянница! Понятно. А это кто? Ах, внук! Тоже яшенько. А кому же он все это добро оставил?” и пр. и пр. Ну и, разумеется, такие вопросы, более частные: не знал ли он, случаем, работая археологом, каких-нибудь зарытых кладов? что там такое интересное в его письмах? и т.д. Что довольно противно.

Конечно, С.Н. был человеком необычным. Легенды и вымыслы о нем были и прежде. Одна легенда - будто бы он по бедности продал свой труп в анатомичку и для наглядных пособий - была развенчана, как только тело предали земле. Другие, к сожалению, пока еще в ходу.

Но, честное слово, среди моих знакомых не было никого, кто был бы так прочно, как он, повенчан с родной землей и со страной, что мы называем Родиной. Любить Родину (ах, высокий стиль, *excuse my pen, madame* *), но мы так часто термин употребляем, что он искренне потускнел. Между тем, любить Родину, оказывается, можно по-всякому. Для одних любить Родину означает любить с удобствами красивых женщин, любить большую зарплату, любить выдержанные вина и коньяки, и вообще понимать эту субстанцию как смачный пирог на жизненном пиру. Для других это значит любить ее издалека в виде симфоний Чайковского и прелюдий Рахманинова, да непременно с хорошим счетом в банке на всякий пожарный случай. Все это, может быть, весьма приятно, однако для С.Н. не годилось. Он любил Родину так, как голодный человек любит черствый ломоть ржаного хлеба, совершенно ему необходимого, чтобы жить завтра. Такая любовь истинна, высока и патриотична. Знаешь ли, я тоже крепко ее люблю, только бессловесно и по-крестьянски, легко подавляя собственную иронию и собственный эгоизм. Не знаю, поверишь ли ты, да и к стати ли все это, но выпадают такие минуты, когда я счастлив этим. Об этом говорить сложно и трудно, но ты самый близкий мне человек, и я просто делюсь с тобой тем, что я извлек из нашей давней дружбы с С.Н.

Галочка, письмо получилось длинным. Это, отчасти, компенсация пробелов, я ведь тебе стал писать реже, однажды в неделю. Я успею тебе написать еще только одно письмо где-то в середине месяца. А потом буду сообщать о себе только телеграммами.

Как и прежде нежно и пылко тебя люблю и берегу. Будь спокойна и весела. Я постоянно с тобой.

* *excuse my pen, madame* - извините мой слог, мадам.

Обнимаю тебя и целую крепко. Приветы девочкам.
Всегда твой -
Борис.

8.11.1973.

Вылетаю в Волгоград через Ташкент сразу после 20 ноября.*

Целую. Твой Борис.

1974 (10.1 - 15.1)

Ленинград

Я забыл самого себя в городе Таллине...

Здравствуй душенька!

Прибыл в Ленинград нехотючи, так не вовремя, что хуже и придумать нельзя. Алька уехал в командировку в Ср. Азию...

...Мы с тобой расстались, я взял с собой в дорогу печаль о тебе и надежду, а тебе взамен оставил тоже немного памяти, немного радости с болью, всего понемногу. Сейчас у меня нет никакого настроения. Первый день без тебя идет скверно. Но, милая галочка, я бывал в положениях и похуже. И в этом скверном тоскливом положении есть одна деталь, одна маленькая неприметная сторона: я чувствую себя (даже со своими мыслями тягостными) свободно и терпимо...

10.1.1974.

... Сегодня ходили с Алькой в агентство Аэрофлота, и я купил билет на 16 января (среда) Ленинград - Москва - Ургенч. Ты довольна? Мне почему-то кажется, что ты будешь рада, если я стану вновь "тем человеком из Хивы". Галочка, мне еще трудно предвидеть все это, но я все надежды возлагаю именно на Хиву. Если только что будет не так, тогда уеду в Ташауз, к которому привязан Куня-Ургенч. Но все-таки надеюсь на Хиву и надеюсь...

13.1.1974.

...Мне очень грустно. Будто я уезжаю и что-то при этом забыл. А забыл я действительно очень многое. Забыл поцеловать тебя хотя бы по разу в день лет - иншалла! на двадцать. Еще забыл прожить с тобой всю жизнь. Забыл обнять тебя лишний раз на перроне. Я забыл са-

* Б.К. уезжал в Таллинн "навсегда", но в 73-м оно еще не наступило. В начале 1974-го - вынужденное возвращение в Среднюю Азию. По многим семейным и бюрократическим обстоятельствам. Об этом дальше в его письмах и воспоминаниях Ингрид Майдре.

мого себя в городе Таллине на ул. Рави... во второй комнате направо, когда войдешь (там, где ты), и в первой (где книги)...

Целую тебя, мой ангел.

Твой Б. Крячко.

Лен-д, 15.1.1974. 6 ч. вечера.

Привет девочкам.

1974 (19.1 - 28.2)

Хива

Человек, не имеющий дома

В сторону этого сада направит он свой путь

Галочка, родная!

Нахожусь в Хиве. Жив, здоров, благополучен. Свалился я сюда, как снег на голову, никто меня тут не ждал, но встретили и приняли меня чудесно. Поистине, Хива - не-закатная моя звезда, возлюбившая блудного сына своего. Это трудно передать, насколько я был тронут и растроган отношением людей, знакомых мне по временам двухлетней давности.

Словом, меня тотчас же оформили на должность. Правда, должность не ахти какая денежная - оклад 70 рублей всего, однако с приличными возможностями заработка в туристский сезон. На это я, правда, возлагаю все чаяния, и основное сейчас для меня благополучно пережить эту зиму.

У меня комната 6,5 квадрат. метра. Выдали мне кровать (представь себе, ту самую, на которой я спал еще тогда, когда ты сюда приезжала), два матраца (чтобы снизу не дуло), два ватных одеяла (чтобы твой *darling* не замерзал), обогреватель, плитку, постельное белье и пр. и пр. Кроме того, мне не надо платить за свет, за уголь, за жилье и т.п., а это, если посчитать, тоже плюс к зарплате. Живу я в центре Ичан-Калы (так называется заповедник) в 50 метрах от хорошо тебе известного места в приемном ханском дворе, где я сказал вашей группе: "Экскурсия окончена. Если хотите еще - пожалуйста!" <...>

Если не считать, что я занимался мойкой полов, топил печку, привез кровать, стол и стул, и постоянно думал о тебе, то остальное время у меня ушло на то, что я обошел памятники и поздоровался с ними. Когда-то давно мне одна туристка сказала, что во время экскурсии я похож на царя, который милостиво здоровается с прошлым. Это не так, по крайней мере теперь, в эти дни. Точнее будет сказать: раб низайше приветствует прошлое. А в этом

прошлом и для тебя есть место, моя единственная любовь. Скоро - иншалла! - я не спеша буду ходить по здешним улицам, занимаясь своим ремеслом и приветствуя прошлое.

А когда ты ко мне летом приедешь, я буду ходить с тобой,* и ты увидишь вдруг, что люди, знающие меня, отнесутся к тебе с приветом и уважением, потому что ты - моя. Я уже сейчас начинаю ожидать тебя.

В Москве я просидел более полусуток. Рейс Москва-Ургенч должен был отправиться в 13 часов, а вместо того вылетел самолет в 3 часа ночи. У меня была возможность увидеться со своей знакомой, с которой я переписывался в течение пяти с лишним лет. Я не помнил ее лицо и предполагал, что это дама преклонного возраста лет шестидесяти. Меня очень удивило, что она твоего возраста и мила собой. Я ей сказал, что по сложившимся понятиям она должна быть старой, высокой и худой, чем ее и рассмешил и обидел, кажется.

Помнишь ли, ты у меня удивленно спрашивала: "Почему тебя не любили твои жены?" Моя знакомая спросила о тебе: "Почему она вас отпустила? Как она посмела рисковать? Я бы вас никуда от себя не отпустила бы". Это у меня вызвало приступ веселья. Вот ведь как трудно понимать женщин...

Душенька, убедительно тебя прошу ничего плохого обо мне не думать, а паче всего не ревновать. В меня не вмещаются две персоны сразу. Я предан тебе и верен. И я хочу только одну тебя, а больше никого. Да что тут много об этом писать: люблю, значит - люблю, вот и все...

...Комната у меня все же дырявая, и, несмотря на печь и электроприборы, в помещении холодно, хоть собак гоняй. При моих привычках к дервишескому образу жизни я это преодолеваю, одевшись в пальто, и вот - сижу пишу тебе, а движет мной

...Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви...

Вечно твой -

- Борья. **
19.1.1974.

Моя любовь и мой верный веселый товарищ, Ингрид, здравствуй, сердце мое, мне на счастье еще сто лет.

Сегодня воскресенье. Вопреки всему, спал я ночью, как убитый. Два матраца внизу и два ватных (новых!) оде-

* Летом 74-го приехать в Хиву Ингрид не смогла.

** Очень трогательное, мягкое произношение, которое нравилось Б.К.

яла создали уют гнезда и условия первоклассного спального мешка. Правда, когда я высовывал нос из-под одеяла, чтобы подышать, меня хватал холод, и я прятался под одеяло, будто карась, захвативший воздуха в жабры на полчаса, когда он уходит под воду. Спал с 1 ч. ночи до 11 ч. дня. Меня разбудил Эгамберген (тот самый парень, о котором я тебе рассказывал).

Сходил на почту и отправил тебе письмо, а заодно и еще одно письмо в Бухару, - подруге моей жены второго брака, чтобы там знали, где я теперь нахожусь. Потом сходил за углем. Принес целых два ведра угля, почистил печь и извлек из нее ведер пять золы. Нашел дров для растопки. Зарядил тщательно печку. Ну и вот теперь в ней полыхает огонь и в моей хижине впервые тепло настолько, что я снял пальто, пиджак, жилет, брюки и остался в одной олимпийке.

Забыл тебе написать, что живу я в доме, построенном компанией "Зингер" еще до революции. Он почти пуст. Одну его часть занимает музей хивинского поэта Аваза Утара, куда ходит очень мало народа, еще одну-две комнаты занимает мастер с учениками, где он их учит искусству резьбы по дереву, одну комнату занял я, а еще помещений десять пустых. Ночью тут никого нет во всем доме, и я сейчас один-одинешенек. Сегодня меня спрашивали, не страшно ли мне жить здесь ночью. Я ответил, что над этим вопросом не задумывался, а спал хорошо. Это оттого, что совсем рядом - зиндан (тюрьма ханская), и рядом же - лобное место, где казнили людей, но зато рядом же - памятник изумительной красоты и сказочного великолепия "Кальта-Минор" (какое благозвучие, ты замечаешь ли? Ни дать ни взять - Моцарт, да и только. Инис, милая девочка, сыграй по этому случаю Бетховенскую "Иллюзию"). Но об этом я тебе отдельно расскажу.

Итак, днем я принес два ведра угля, самого лучшего. Уголь здесь плохой, пыльный, я его руками выбирал. От этого в ногти вьелась черная угольная грязь, которую мне не отмыть до самой весны. Принес также пишущую машинку, бумагу и копирку и приготовился к завтрашнему дню: собираюсь печатать годовой отчет по заповеднику.

А вечером ко мне приходят по очереди мои старинные знакомые и забирают меня к себе ужинать. Обычно там собирается небольшой "меджлис" (общество исключительно мужское), ведется поочередно размеренная беседа. Там всегда, конечно, есть (прости, га-

лочка) немного водки, и очень много баранины в шурпе и в плове. Я выпиваю две пиалки (по половине), одну “с приездом”, вторую - общую “за все хорошее”, и ставлю посуду вверх дном. Здесь это понятно, меня никто больше не заставляет, и я уйду домой, распрощавшись, иду не спеша, сунув руки в карманы и слегка наклонив от размышлений свою трезвую бедовую голову с твоими густыми черными бровями. (Как я все-таки неотразимо красив, а, Гришенька?*) Мы подсчитали с Эгамом, что ходить на “меджлисы” нам придется два месяца. Срок не выдерживает критики. Я сделаю еще два-три визита и на этом закончу.

Виделся с одной старой-старой женщиной. Ей 70 лет, а зовут ее Курбанджан-биби. Она меня с трудом разглядела сквозь старческую катаракту, а когда узнала, то заплакалась мне в пальто и попричитала по-узбекски и прошлась пальцами по моей физиономии. Потом всучила мне электрочайник, чайник фарфоровый для заварки чая и пиалу. Мне приносят хлеб и чай люди, знающие меня мало-мальски...

Меня здесь называют “мусаффиром”. Слово “Мусаффир” значит - “человек, не имеющий дома”. И я опять удивляюсь тому, как на Востоке предельно точно понимают и выражают в единый момент внутреннюю сущность человека. Первый раз, когда я сюда прибыл, обо мне сказали так: “Приехал высокий русский. Видел много плохого”. Это было точно сказано.

Мой нежный бесценный друг, Ингрид! Тут самое время предупредить тебя: если даже я и мусаффир, то мусаффир с самолюбием. Мне не нужна ничья жалость, мне от тебя ничего не надо, кроме тебя самой и твоей любви. В моем отношении к тебе вряд ли могут быть какие-либо сомнения, и я это достаточно подтвердил, претерпев поистине дьявольские козни, издевательства и оскорбления со стороны *your diddle-diddle-dear mammy*.** Еще раз оправдываюсь по-латыни: *Omnia vincit amor...****

...Кто, кроме тебя, решит вопрос о твоём “мусаффире” Б. Крячко в радикальном гамлетовском смысле. Решай его, помятуя при этом близость к тебе двух людей: твоей матери и меня... И я не буду на тебя в обиде, как бы ты

* Когда выяснилось, что Ингрид очень нравится “Тихий Дон” Шолохова, Б.К. стал называть ее Гришенькой (так сама она объяснила).

** *your diddle-diddle-dear mammy* (англ.) - здесь: вашей дорогой хитроумной матушки.

*** *Omnia vincit amor* - все побеждает любовь.

не решила. Если в пользу матери и в мой ущерб, я все равно пойму это аксиомой: мать есть мать...

Нежно тебя целую.

Всегда твой Борис.

20.1.1974.

Знаешь ли ты, что у тебя в доме на каждом лестничном марше по девять ступенек? Я вот, как видишь, знаю.

Мой ангел!

Бывает один раз в день такое время, что мне обязательно надо сказать тебе слова: Душенька, здравствуй. До сих пор мне это удается, т.к. начиная с 9 января, когда мы с тобой расстались, не было дня, чтобы я не писал тебе. Это совсем не трудно писать тебе каждый день. Алька говорит, что это даже вредно, потому что я тебя балую и взваливаю на тебя непосильную задачу - отвечать на мои письма, ну и все в подобном роде.

Но ведь я тебя совсем не обязываю. Я еще не получил от тебя ни одного письма и не знаю, когда еще получу. Просто мне думается: вот ты приходишь домой и не встречаешь меня, потому что меня там нет. А ты за месяц привыкла попадать прямо с порога ко мне в объятия и говорить мне *"Darling"*...

Вчера написал тебе открытку. Знаешь ли, все же открытки неудобны тем, что там действительно все открыто и чувство такое одолевает, будто целуешься на базаре...

Сейчас я занимаюсь редактированием и печатанием годового отчета. Мне в комнату принесли машинку, и - готов кабинет. Я никуда не хожу, кроме как днем поесть в столовой. Даже по приглашениям вечерами перестал ходить. Это, пожалуй, удобно. Одна беда - зима, прохладно. Но одеваюсь я тепло и, в общем, вполне терпимо.

Начинаю приноравливаться к обстановке. Смотрю и вижу: Господи, Боже мой! какие страсти вокруг! какая административная грызня идет! как люди мелкой дрожью дрожат из-за мест и должностей! как они готовы друг друга в ложке воды утопить, с кашей съесть, облить с ног до головы помоями, но стремятся сделать это чужими руками, сзади, со спины, незаметно. И мне это очень и очень не нравится.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, а еще
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо...

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза,
Досадно мне, что слово “честь” забыто
И что в чести наветы за глаза...

Ну и т.д. Эту песню Высоцкий поет. А мне она вспомнилась, потому что тут как раз такая катавасия идет. Принимать в ней участие не собираюсь. С сожалением и спокойствием гляжу на все это и думаю, что подобная гиль* может подниматься либо с жиру, либо от безделья. Надеюсь, что все устроится и станет на место, когда будет больше дел, весной.

Вчера написал письмо в Бухару моей жене второго брака. Оповестил ее о себе и о своих намерениях и попросил ее, чтобы она подала на развод. Посмотрю, что из этого получится. Если все будет ладно, то мечтаю к маю месяцу освободиться.

Милая моя галочка! Пиши мне о себе и о своих делах. И постарайся писать хотя бы раза два в неделю. Сейчас здесь мне особенно нужны твои слова, советы, а главное, твоя любовь.

Мечтаю о том времени, когда меня позовут, дадут группу людей, и они пойдут за мной следом в блаженной сладостной сомнамбуле...

22.1.1974

Honey!

Пишу тебе письмо третье по счету сегодня. Два первых получились слишком взволнованными, написанные под вдохновением, а вдохновение я хоть и люблю, но не особо ему доверяю. Я их перечитал потом и увидел себя то ли в виде хвастуна самодовольного, то ли раздувшегося от спеси лауреата. Письма эти я, к счастью, порвал. А виной всему оказалось стихотворение на портале медресе Кази-Калян (Медресе - 1343, ты знаешь). Когда стихи дешифровали, получилась куча всяких слов. Эту кучу я перебрал по слову и вот что из этого вышло:

Тот, кто стоит в начале пути,
Пусть знает:
Сама высокая судьба, препоясавшая луну
И пропасть нищеты измерившая,
Простерла здесь руки над ним, благословляя.

* Гиль (устар.) - чепуха, вздор.

Если в сторону этого сада
Направит он свой путь,
Да обретет он покой
В райских кущах.

Ведь он сам - из крови сердца черных тюльпанов.
Ведь здесь он, из рук виночерпия
Радостно взяв фиал,
Вкушает соки знаний.

Когда стих проник в меня, а я в него (это похоже на любовь), когда из слов появились сочетания, а из сочетаний смысл, когда я им достаточно наслаждался, сказав самому себе: “Ну, Крячко, до чего же ты все-таки молодец бываешь временами”, я вспомнил о тебе и почувствовал, что люблю тебя не с земли, а с высоты соколиного полета...

Ну, о самом стихе. Первая строфа (пятистишие) предупреждает человека, посвятившего себя науке, что судьба благословляет его и на взлеты, и на падения, которыми была так богата жизнь всех, кто этим делом занимался, или, как еще говорят, кто “вступил на путь поисков истины”.

Вторая строфа тоже не сулит студенту никаких удобств, кроме покоя на том свете. Напротив же, само по себе следует, что подлинного настоящего ученого на этом свете ждут впереди одни беспокойства. Здесь мысль глубока философски и диалектична настолько, что вмещает и согласуется со всеми противоречиями мира, начиная от Экклесиаста: *Умножающий знания умножает скорби* до народной пословицы *“Ученье - свет, а неученье - тьма”*.

И, наконец, говорится примерно так: “А все же человек ученый - лучшее творение природы, а собственно знания - самое большое благо нашей жизни, и приобретение их - такое же удовольствие и даже большее, чем мед ложкой хлебать”.

Замечательно сказано. Слушай, Гриша, тебе все это нравится или нет? А я тебе еще пока нравлюсь или нет? Ты мне очень нравишься, и день ото дня больше. С того времени, как мы с тобой увиделись и были вместе, ты мне так же близка, как моя яремная вена.

Немного прозы. На мне все еще белье, которое я у тебя переменял. Чувствую, что надо стирать, а негде, нет условий. И холодно. Самое много я еще прохожу дней десять. Вот такая проблема меня занимает все чаще и чаще.

Во-вторых, январь на исходе. Был он, слава Богу, не холодный. Боюсь февраля и марта. Если ударят холода, то

моя “квартира”, вероятно, не устоит. Словом, передо мной проблема на выживание в зимовку.

А в-третьих, все то же самое: я люблю тебя, и крепко целую. Помню о Нелл и об Инис.

Любящий и уважающий тебя -

- Б. Крячко.

22.1.1974.

...Когда ты приедешь, тогда и решим, ехать мне с тобой сразу или немного задержаться, если это будет стоить того.

Ты ошибаешься, письмо, которое ты мне переслала, вовсе не от *mother-in-law*.* Это от одной доброй, бедной, старой и одинокой женщины. Ну, ты видела по фотографии. Я отношусь к ней с большим участием и симпатией. Она ко мне тоже. Правда, она совсем-совсем простая крестьянка. И все ж по некоторым характеристикам внутреннего свойства она лучше очень-очень образованных интеллигентов. Таких людей, как она, я вообще люблю. Ты не удивляйся. Мои друзья - люди очень разных состояний и кругов...

...Все чаще и чаще вертится в голове статья о восточной поэзии. Стих, который я тебе послал, окончательно распалил меня. Возможно, напишу и пошлю в “Л.Г.” Хотя не стоит загадывать наперед...

...Это хорошо, что ты знаешь, как ты мне дорога. На этом и успокойся, я от тебя никуда не денусь. И будь сама собой - доброй, веселой, умной. И преданной твоему Б. Крячко, для которого одна ты - решительно все. Целую тебя, моя радость, крепко и много. Будь здорова и благополучна.

Всегда твой Борья.

26.1.1974.

Здравствуй, душенька!

Еще один день прошел и я, отложив все в сторону, пишу тебе. Очень надоело печатать отчет. К концу он стал вовсе неинтересный. Завтра я его закончу и дня два занимаюсь чем-либо другим. Сегодня сидел и вспоминал выдержки и материал из литературы. Ведь литературы-то со мной нет. Пусть это тебя не огорчает, мне книги здесь не нужны, пускай у тебя будут. Голова - такой совершенный аппарат, что удерживает все необходимое. Я благополучно восстановил все ссылки, нужные мне из востоковедения, даже суру из Корана вспомнил, не говоря уже о

* *mother-in-law* (англ.) - теща.

Хас-хаджибе и пр. Припомнил также заодно и полстраницы Дж. Свифта из-за любви к искусству. Это я, детка, исподволь готовлюсь к экскурсии и обновляю программу...

27.1.1974.

Свет моих глаз, Гришенька, здравствуй!

Сегодня закончил печатать отчет. Остались еще несколько форм, но для них нужна машинка с большой кареткой. Словом, сегодня с обеда я занимался хозяйством, которое пополняется. Курбанджан-биби принесла мне новый веник и пару лепешек. Теперь у меня есть, чем мести, и есть, что есть.

Принес угля. Затопил печь так, что она гудела. Стало тепло. Я уселся печатать свой рассказ "Гибель конструктора"* и засиделся вот до этих пор...

...Сегодня побывал у своих соседей. В другом конце дома живут два художника. Точнее, один художник, один скульптор. Скульптор - великолепен. Конечно, те работы, которые он делает по заказам, это не искусство. Но он мне показал фотографии скульптурного портрета Пахлавана Махмуда, который поразил меня схожестью с тем словесным портретом, что сложился у меня. Пахлаван Махмуд сидит на земле, обняв колено. Мощный торс, а мышцы расслаблены. Это он после боя. Замечательно у него лицо. Только что он положил на лопатки противника. Но в лице у него нет торжества, а напротив, печаль какая-то. Ты понимаешь, такое лицо может быть только у очень умного и доброго человека. Он мне подарил две фотографии этой превосходной скульптуры и у меня чешутся руки послать тебе хоть одну, хоть похуже. Но мне они обе нужны. Я же писал тебе, что "обновляю программу", ну вот.

Сегодня написал письмо той старой женщине, письмо которой ты мне переслала. Таковы мои дела за день...

28.1.1974.

Сразу же целую тебя крепко и без конца за то, что ты не даешь мне тосковать подолгу и пишешь мне письма, полные твоей нежности и ласки, и говоришь мне о своей любви. Галочка, говори мне об этом всегда, хоть до старости лет. Каждый раз, когда я от тебя это слышу (*I love you*), я принимаю по-новому, свежо и незамутненно. Я люблю тебя. Ведь тебя так долго не было в моей жизни, что я почти отвык от этого, а теперь не могу выска-

* Рассказ "Гибель конструктора" вошел в сборник "Битые собаки" (Таллинн, 1989).

зять тебе до конца и в каждом письме повторяю: Ингрид, я люблю тебя...

...Мне радостно было читать и знать, что дети относятся с пониманием к твоему чувству и ко мне. Так ведь они и сами, наверное, видели, как я тебя ждал, как радостно встречал тебя и какими глазами на тебя глядел. Так что ты ничего для них нового, я думаю, не открыла, поговорив с Нелл...

29.1.1974.

...Вчера снилось, вроде я до сих пор в Таллине, у тебя, нигде не работаю, мой непрерывный трудовой стаж полетел к свиньям собачьим. Проснулся от этого среди ночи в ужасе и в поту. Успокоился лишь тогда, когда сознание подсказало, что я давно в Хиве и что все в порядке.

А сегодня видел, что мы с тобой (все в Таллине!) живем вместе очень давно, всю жизнь. Все у нас стало привычным и обиходным, только чувство постоянного притяжения друг к другу сохраняется во всей чистоте летнего солнечного утра. Я слышал твой голос: ты меня звала, а я на тебя глядел и отзывался. Длинный-длинный сон с 7 вечера до 8 утра. И самый лучший из всех моих снов здесь...

....Галочка, сейчас я, закончив отчет, приступил к плану работы на 1974 год. Все то же самое: редактирую, печатаю, корректирую. Начинает надоедать.

Вчера заказным письмом по авиа я отправил тебе свой рассказ "Гибель конструктора"...

31.1.1974.

Тарьям-парьям, тарьям-парьям,
па-рам, пам-пам!

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!

Душенька, здравствуй. Не сплю целые сутки подряд. Пишется. Думается. Как рука сорвалась с привязи, расписался. Усталости нет. Весь день и всю ночь варил и пил чай. Еще бы один такой день и такую ночь и будет готово. Что получится, я уже по обычаю отправлю тебе. Часы суточного бдения прошли быстро до невероятности. Я теперь пишу тебе письмо и понемногу выхожу из состояния, в которое впадаю при длительной писанине.

Хочу написать для "ЛГ" четыре-пять небольших этюдных рассказов, а точнее пять глав и на каждую главу по монументальному хивинскому стиху. Что выйдет из это-

го - неизвестно. (Но ежели получится, то вот тебе и средства на дорогу до Таллина) В сущности, каждая глава крутится по оси, вокруг стиха. По тому материалу, что теперь идет в "Лит. газете", опубликовать вроде бы есть возможность. У них появилась полоса о краеведении, музееведении, экскурсиям, путеводителям и т.д. Поживем - увидим...

С любовью обнимаю тебя и целую.

Твой Боря.

6.2.1974.

Помню об Инис и Нелл.

Душенька, маленькая, галочка, Ингрид, девочка, моя жизнь, мое счастье, мое - все.

Совершенно встревожен твоим состоянием, твоей душевной сумятицей, твоей сердечной болью, твоей боязнью за меня, которая переросла все допустимые пределы. Не нашел ничего иного, как немедленно послать тебе телеграмму все о том же - постоянном, неизменяемом, вечном. Я люблю тебя.

Раз и навсегда запомни: я тебе никогда не изменю, никогда не брошу, никуда от тебя не уйду. Какая странность, что ты не видишь всего этого, т.е. видишь только свое чувство ко мне, а мое к тебе - нет. Ни на одну женщину я не гляну больше так, как на тебя, никому не скажу и не напишу того, что тебе пишу и говорю...<...>

Говоришь, что я переменялся. А еще бы мне не перемениться. Конечно, да. Перемена в том, что ты мне теперь ближе, роднее и дороже, чем была. Понимаешь это, яремная вена?* Учить тебя, как меня любить надо - твоя шутка № 2. Любишь ты меня, как ты, а по-другому не надо. Меня так, как ты, никто не любил. Ни в Хиве, ни в Бухаре, нигде. И я люблю тебя тоже крепко.

Послушай меня, - иншалла! - жена. У меня, твоего - иншалла! - мужа, никогда не будет машины. Но это ерунда. Мой основной и оборотный капитал - ты, мое движимое и недвижимое имущество - опять ты, мое *alter ego* - единственно ты. Я рассчитал кропотливо и точно: ты должна принести мне счастье, а я - вернуть его тебе с

* Эта метафора повторяется. Например:

"... В предыдущем каком-то моем письме я писал тебе, что ты для меня то же, что моя яремная вена. (На Востоке так называют сонную артерию.)"

Словарь русского языка: Сонные артерии (анат.) - парные кровеносные сосуды, расположенные по обеим сторонам шеи... Яремные вены (анат.) - парные вены на шее. Дано только во множественном числе, значит, в контексте письма - нераздельны.

процентами. Душенька, не книги для меня главное, а ты. Ты их не выдвигай вперед себя, они лишь с тобой хороши и имеют значение. Писанина - тоже не главное. Может, я и не напишу ничего, хотя это будет и жаль. Но мне захочется писать, если ты со мной будешь, определенно захочется...<...>

Девочка, я же писал тебе и просил Христом-Богом, чтобы ты ничего мне не высылала. Зачем же ты меня в стыд вводишь, я тебя спрашиваю. Когда надо будет, я сам тебе скажу и только тебе. Но пока не нужно. Мой ангел, не сердись на меня, что я колючий. Это не упрямство, это мой закоренелый, как мозоль, принцип...<...>

Вкладываю в письмо две марки, отдай их девочкам. Мне кажется, что у них такие есть, но неважно, пусть будут.

Целую, успокаиваю и ободряю тебя. Позвольте же, мадам, выразить свое совершеннейшее к Вам уважение и остаться нежным, любящим, преданным и вечно Вашим
- Б. Крячко.
6.2.1974.

Мой родной Гришенька!

Так как от тебя уже два дня нет писем, то использую последние листы присланной тобою бумаги. Так что твоя бумага, действительно, *runs short*.* Жив-здоров. Натопил печь и сижу дома. Пишу опять много, а еще больше вычеркиваю и переписываю. Рукописный лист становится похож на дикую живопись, где, наверное, никто, кроме меня, ничего не разберет.

И потом - у меня ничего не получается без иронии. Не могу удержаться, чтобы не засмеяться где-нибудь. Смех выходит совсем не Джером-Джеромовский, а со слезами: полусмех-полуплач. Но что делать? Без этого вообще получается вымороченное и недоношенное. Стараюсь из всех сил умерять себя и углы делать овальными, и мне оттого нехорошо, потому что

“Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал”.**

Что получится - сам не знаю. Должно получиться, иншалла!

Только что ко мне зашел усто (мастер резьбы по дереву). Он тут рядом учит ребят этому искусству. Принес мне несколько эскизов. Превосходные орнаментальные

* *runs short* (англ.) - быстро заканчивается.

** Цитирует Павла Когана (1918-1942), погибшего в боях под Новоросийском.

рисунки - глаза видят, сердце радуется. Но руки у меня стали от них черными, когда я их перебирал. Все рассказывал мне о резьбе, я его понял процентов на десять. Жалуется, что нет материала, нет хорошей бумаги для эскизов, что он - один и уже старый. Я его утешал, как мог, сказал, что у него есть ученики и пр. Ну и, конечно, отдал ему всю бумагу из-за любви к искусству. Писать теперь мне письма на твоей бумаге. (Девочка, не беспокойся, достану.)...

10.2.1974.

Свет моих глаз, Гришенька.

Вот пишу тебе уже на своей бумаге о том, о чем вчера не окончил. У меня обложило глотку с правой стороны почти сразу после письма и стало трудно глотать. Немного подскочила температура. Это я попил, разгорячившись, холодной воды, и - вот тебе, пожалуйста. Лег спать поздно, к 4 часам ночи, а до этого писал свою муть. Спал не очень хорошо, но утром было легче, по крайней мере, голова не болела и начался облегчающий кашель.

Душенька, все, что ты мне написала о "писательстве", правильно и действительно. Такие положения я чувствую и, как ни странно, напоминают они мне о том, что чувствует беременная женщина: тут тебе и вынашивание ребенка, о чем тебе хорошо известно, и мучительные предродовые схватки, и послеродовая легкость освобождения. Это все так. Сложившийся, созревший и ненаписанный рассказ - это передержка, гибельная, как для ребенка, так и для родителя. Стало быть, писатель, проще говоря, не может не писать - в этом его главное свойство. Только в этом ли? И главное ли оно? Ведь для графомана это свойство еще характернее, чем для писателя. Так что не всяко лыко в строку.

Оплата, разумеется, чепуха, если бы можно было ходить по улицам без штанов и босиком. *But all the pecuniaries, no doubt, - matter of a posteriori.* * Потому что основной гонорар человек получает в минуты творчества - и это удивительно, и мне нравятся такие минуты, и я их жду тоже. В такое состояние можно и самому тоже входить. Когда я пробовал это делать, у меня уходило на это полчаса. Ну, будет об этом, оставим на ночь...

11.2.1974.

* *But all the pecuniaries, no doubt, - matter of a posteriori.* - Но вознаграждение, несомненно, - следующий вопрос.

*My soft and loving!**

Виделся с Рустамом.** Получил от тебя письмо, переданное им. (Это тем более кстати, что сегодня на почте от тебя ничего не было.) Получил продукты питания, что ты послала мне. Спасибо, душенька. Глядел на Рустама и завидовал: счастливый человек! только вчера из Таллина!

Ты ошибаешься, мой ангел, предполагая, что в 8.30 утра я еще сплю. В Хиве в это время 10.30, я к этому времени на ногах...

Рустам говорит, что ты скучаешь по мне и что тебе без меня очень плохо. Я все это дело выслушал с чувством глубокого удовлетворения, потому что я и сам скучаю по тебе сильно, и мне без тебя очень плохо. (Печенье вкусное, пил с чаем, спасибо, душенька.) Он, Рустам то есть, учится, как оказывается, вместе с зам. директора заповедника, с которым у меня дружеские отношения и который всячески способствует моему отъезду в Ленинград (читай - в Таллин). Об этом я тебе уже писал. Намечается командировка в 20-х числах февраля. Буду несколько дней в Ленинграде, а месяц или чуть побольше в Таллине. Я ему сказал об этом и он предлагает мне ехать вместе с ним. Возможно, если успею. Но все же думаю, что он будет в Таллине раньше меня и привезет тебе эти новости. Он еще обещал ко мне быть в один из дней до отъезда.

Очень мило с твоей стороны, что ты посылаешь мне в письмах бумагу. Сейчас я на ней пишу...

Получил письмо от бывшей жены первого брака. Она меня ругает ругательски, что у меня маленькая зарплата и приказывает мне зарабатывать 200 рублей. Говорит, что я - Обломов (это, между прочим, самое мягкое из всего, что она мне говорит). Ну, привезу, прочитаешь эту любопытную филиппику в мой адрес и, возможно, тебе станет понятнее, почему меня не любили мои жены.

Ты оскорбила мое тщеславие, предпочитая Моэма и откладывая Крячко в дальний ящик. Ведь сказал же один малоизвестный и высокооплачиваемый товарищ, что

** My soft and loving! - Моя нежная и любимая!*

*** В это время Рустам жил в Таллинне, был добрым "связным" между домом на Рави и хивинской "хижиной" Крячко. Видимо, даже советовал Ингрид переехать к Борису в Среднюю Азию. В письме от 7.2.1974 Б.К. как раз на эти предложения отвечает Ингрид: "Насчет дяди Рустама и его восьмикомнатного дома в Ташкенте, то все - чепуха. Душенька, с какой стати я туда поеду? Ни за какие пряники. Ты там фантазируешь Бог знает что"... А ей было все равно где - лишь бы с ним... Везде в письмах он повторяет, что счастлив ее частой и неизменной фразой: "Darling! I love you!" Это "действует на меня так же, как на оленя действует любовный призыв лани".*

И мы писать не хуже можем,
Чем Сомерсет, простите, Мозм.*

В общем, прекращай Мозма и принимайся за меня. (Галочка, ведь это все я козла задаю, ты не принимай, пожалуйста, своего Бомочку** за дурака с самомнением, потому что это не будет соответствовать истине. Ведь не станешь же ты всерьез принимать, что я люблю Мозма больше нежели самого себя? Сказать без ложной скромности, так я намного выше. Как возлюбленный, разумеется)...

Ровно два месяца тому назад я приехал к тебе, моя жизнь. Милый, родной мой Ариша!

Нежно тебя целую.

13.2.1974.

Родная, милая галочка!

Почти полностью оправился от простуды.*** Сегодня выяснилось, что мне не удастся уехать вместе с Рустамом, а выеду я числа 25-26, т.е. у тебя буду не ранее 2-3 марта. До командировки мне поручено перерыть фонды музея и отобрать для экспозиции "Ремесло и быт" кучу экспонатов, помочь составить экспликации по ним и пр. черновую подготовительную работу, в общем на неделю. Конечно, буду стараться сделать ее раньше, чтобы скорее к тебе выехать. Я без тебя совсем измучился, ничего в голову не лезет, все время о тебе думаю. Каждая мелочь, сдерживающая мое движение, возмущает и злит меня страшно, возбуждая во мне какое-то необычайно острое чувство ревности, когда я

(Следует арабская вязь и перевод. - *Ред.*)

"весь мир вижу нахлебником
на кончике твоего волоса".

Душенька, я знаю и верю, что ты выше всего этого, но не могу пока превозмочь гибрид, который получается от совокупности любви и злости. Пожалуй, теперь все дни до моего к тебе приезда меня это чувство будет сопровождать.

* Уильям Сомерсет Мозм (1874-1965) - англ. писатель, в те годы весьма популярный в среде интеллигенции.

** Из писем того же периода: "Так хорошо получилось, когда ты меня назвала по-маминому"...

"Отчетливо слышал, как ласково ты мне говоришь: "Darling", и в голосе у тебя звучит то же самое, что было у моей мамы, когда она мне говорила "Бомочка".

*** В письме от 14.2. - "и все-таки это у меня, думается, никакая не простуда... У меня время от времени появляется предрасположенность к физической встрече в виде болезни... У Монтеня есть утверждение, что это нормально".

Не припомню, писал ли я тебе прежде о примерной амальгаме чувств или не писал. Но гибрид совершенно уродливый получился. Сошлись *in coition** сладострастие и целомудрие. От этой связи родилось дитя. Как, ты думаешь, его зовут? - Лицемерие, черт бы его побрал.

Мой ангел! Вечерами ко мне приходит Эгам. Я занимаюсь с ним, готовлю его к вступительным экзаменам в ин-тут на ф-т русской словесности, т.е. учу его писать диктовки. Сегодня мы занимаемся второй вечер. Если помнишь, то это мой друг, у которого дедушка был *slaves' proprietor*.**

Получил сообщение, что Рустам сдал благополучно зачет по зарубежной литературе и следующим сдает экзамен по русской лит-ре XVIII-XIX вв. Он хочет лететь в Таллин 21. С каким желанием я полетел бы с ним вместе!

А вместо того я вынужден здесь торчать еще почти неделю.

От тебя по почте тоже ничего не приходит около недели. Бумага, которую ты мне прислала с Рустамом в письме, *runs short*. Завтра придется писать на своей.

Милая моя девочка! Я крепко тебя люблю и целую.
Всегда твой Боря.

15.2.1974.

Родной мой Гришенька!

....Помнишь ли, я тебе писал, будучи еще в неизвестности о дальнейшем: "Либо Хива, либо Куня-Ургенч", т.е. Куня-Ургенч - предполагаемая "маентность" (так поляки называют собственные поместья) твоего странствующего Финдлея.

Это нечто совершенно ни на что не похожее: ни на Хиву, ни на Бухару, ни на Самарканд, я же говорю тебе - ни на что. Экскурсия в ином ключе, не знаю еще сам в каком именно, но далеко не в общем. Разворот на полную октаву и больше. Памятников не слишком много, я их насчитал полтора десятка известных и безымянных. Между памятниками много простора и они стоят на виду как "*thin red line of heroes*",*** как верные жильцы на кладбище старых и новых могил.

Вот где ристалище, душенька! Вот где гарцевание на Пегасе родной словесности! Это такое место, где можно играть в историю, как в мяч, претворяя в мизансцены

* *In coition* (англ.) - соитие.

** *slaves' proprietor* - рабовладелец.

*** *thin red line of heroes* - как "тонкая красная шпалера героев".

конфликты и трагедии целых народов, разрушая царства и возводя дворцы, шутя и легко поднимаясь до отчетливой видимости первопричин, чтобы затем опуститься в нашу нынешнюю сложную до абсурда, непонятную и милую сердцу жизнь. Но все это “бельканто”, девочка, не главное. Главное то, что я видел, а не мое ощущение, пусть даже мне кажется, что, у-у! как бы я тут размахнулся.

Когда ты летом - иншалла! - приедешь ко мне в Хиву и станешь моей женой, мы с тобой отправимся в короткое однодневное свадебное путешествие в Куныя-Ургенч. Ты хочешь? Тогда, значит, так и договоримся.

Обнимаю и целую тебя, галочка.

Верно тебя любящий -

- твой Боря.

19.2.1974.

Поцелуй и обними девочек.

...Значит, ты ждешь еще рассказов?.. Разве я не пишу тебе каждый день по рассказу? Грустные, веселые, смешные, серьезные, sometimes with beggar's words and sometimes with God's spark* - и все о любви...

...Ты наверное думаешь, что это просто. Душенька, это радостно, но не просто...

Гришенька, я рад, что тебе рассказ понравился. Галочка, я напишу для тебя еще много всяких рассказов, так что ты будь в этом совершенно спокойна. Сейчас они что-то застряли.

Остановились “битые собачки”,** стоят памятники, повисли сюжеты, как гроздь винограда. В общем ничего не идет шибко и резво. Мне все таки необходимо чтобы ты была рядом, создавая во мне чувство внешнего покоя и свободы, а остальное я уже сам сделаю...

22.2.1974.

Милая моя девочка!

Куча новостей и разных. Начну с плохих, потому что их больше, чем хороших, и потому что лучше заранее плохому предстоять, заключая хорошим. Мою командировку отменила директриса заповедника и держится упорного мнения, что меня посылать никуда не надо. Был я у нее сам, сказал что мне нужно по своим делам в

* sometimes with beggar's words and sometimes with God's spark (англ.) - здесь: иногда с бедными словесами, а иногда и с искрой Божьей.

** Повесть “Битые собаки” опубликована в одноименном сборнике рассказов (Таллинн, “Ээсти раамат” 1989), затем в “Избранной прозе” Б.К. (Таллинн, VE 2000).

Ленинград. О нашем разговоре я тебе расскажу, он заслуживает смеха, потому что *my overwhelming lie went as swimmingly as the very truth*. * Словом, командировку мне разрешили, но где-то 15-20 марта. Как бы ни было, но это действительно так: *The more improbable lie, the more willingly people believe it*. ** Мне очень не нравится всякий авантю- и кондотьеризм, но что было делать? Итак, еще три недели.

Огорченный сверх меры, я ушел с работы домой, пошел перекусил в столовой, а потом лег дома и спал семь часов подряд. Так что все наоборот у меня пошло, кувырко: день превратился в ночь, а ночь стала днем. Сейчас 3 ч. ночи, а я оделся, умылся, сварил чай и пишу тебе.

Пять суток не затухает моя печь. Очень холодно во дворе, и я стараюсь топить беспрерывно. Это удастся, и хотя окно, пол и двери в моей хижине, как решето, в щелях и в дырках, откуда с посвистом гонит ветерок, но печь до того накалена, что в комнате постоянно температура около плюс 20. Видишь, как я о себе забочусь, как я берегу свое драгоценное здоровье, и как изо всех сил хочу тебя успокоить, что все в порядке. Душенька, нам с тобой предстоит преодолеть и перетерпеть эту разлуку с массой всяких неудобств, чтобы потом никогда уже не разлучаться. Это время я стараюсь приблизить всячески, мои надежды согласуются с моими поступками в смысле нашего с тобой будущего и это меня утешает в самых отчаянных положениях и придает силы.

Получил письмо (первое за все время здесь) из Бухары от подруги *of my last wife*.*** Вести в нем хорошие. Прежде всего, мои крошки, *my seed and blood*,**** мои милые девчонки Верушка и Нинуся здоровы и благополучны. Мой ангел, Ингрид, прости мне мою радость, но я до того в самом деле рад был и есть, что на меня не произвела никакого впечатления последующая деталь, что девочки обо мне почти забыли и не вспоминают. Все равно, галочка, я счастлив тем, что *Almighty is very kind to my children*.***** Потому я и говорю с облегчением: слава Богу.

Во-вторых, как я узнал из письма, *my last wife* (как те-

* *my overwhelming lie went as swimmingly as the very truth* - моя бессовестная ложь прошла как по маслу.

** *The more improbable lie, the more willingly people believe it* - Чем невероятнее ложь, тем охотнее люди верят в нее.

*** *of my last wife* - моей последней жены.

**** *my seed and blood* - моя плоть и кровь.

***** *Almighty is very kind to my children* - Всемогущий так добр к моим детям.

бе это нравится - "my last wife" - очень мило, разве не так?) тоже давно подала на развод и непонятно, почему решение суда задерживается. Думаю, что по причинам обычной медлительности при решениях таких дел. В письме же мне дали понять, что все издержки по расторжению брака возлагаются на меня. Да пускай, думаю, ладно, лишь бы скорее все это дело закончить. Может быть, моя задержка нынешняя окажется кстати и я успею получить решение суда прежде чем к тебе поеду. Как бы это было хорошо! Тогда у нас был бы богатый выбор: либо Таллин, либо Хива - на твое усмотрение.

Гриша, получил я также письмо от своего старшего сына...

Ответил Саше теплым, сдержанным и слегка ироническим письмом.. Ввиду того, что это у нас первый разговор, я предложил ему свою дружбу... Он действительно славный и хороший парень...

Еще я написал Саше, чтобы он мне писал на твой адрес. Если что-либо придет, то ты без меня вскрой и посмотри. В дальнейшем тебе придется, может быть, увидеть когда-нибудь Сашу и узнать больше того, что я тебе как мог объяснил...

*Всегда твой -
Бомочка.*

Скоро 6 ч. утра, я сейчас опять лягу спать, но не раньше, чем поцелую тебя еще разок. Целую, душенька. Б.
24.2.1974.

Привет письмом!

Много-много благотворных пожеланий здоровья и благополучия, живущей в далеком, очаровательном, наилучшем городе Таллине прекраснейшей, играющей и смеющейся возлюбленной моей Ингрид Майдре -

- Привет!

My soft and loving!

Мне Эгам принес любовное письмо, а я попросил его перевести с узбекского на русский, сохраняя строй предложения и буквальность слов. Мне было интересно следить за своеобразной формой выражений сокровенного чувства одного человека к другому. Очень, оказывается, занимательная и волнующая штука, эта любовь. Я провел над письмом целый час, думая о тебе, а когда сел (точнее будет, улегся в постель) писать тебе, решил начать свое письмо чужими словами, слегка перефразировав их. Это не все. Я наполнил эти слова своими надеждами, тоской и любовью к тебе и прошу тебя принять их не как меха-

нический повтор, а как некое чудесное совпадение, потому что чувствую невыразимо больше, чем сказано.

Я отсчитываю дни и живу в той “Повести о бедных влюбленных”, которую рассказывать тебе нет смысла, так как ты ее знаешь настолько хорошо и подробно, насколько и я сам. Двадцать один день ожиданий. Двадцать один. Высшая ставка выигрыша в карточной игре “очко”. Срок, в течение которого насадка высиживает цыплят. Число, кратное 3 и 7 натурального ряда. А 7 считается счастливым. Ну вот видишь? Значит все в порядке. Не волнуйся. Я тебя все так же нежно и крепко люблю и так же охраняю и берегу *your dear timid love**. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты моя любовь. <...>

Мне все чаще приходит в голову сюжет и тема рассказа о любви. Я пока только щупаю и трогаю эту тему нервно и осторожно, внутренне вздрагивая от этих прикосновений, как ты вздрагивала *with your whole body under my hand*.** Четкого рисунка еще нет пока, а когда сложится - кто его знает. Очень охота написать. Но сначала *I want your real tangible love*...***

24.2.1974.

Мой светлый ангел, душенька!

Весь день никуда не выхожу, сходил лишь пообедать да отнес письмо для тебя на почту. Поскольку писать кроме писем тебе я пока ничего не могу (даже статью отложил), то остается читать, что я и делаю. Больше всего меня тянет к авторам старинным, проверенным, умным. Прочитал “Риторику” Аристотеля, “Трактаты об искусстве” М.Т. Цицерона, “Танские повести” (Китай, V в. н.э.). К относительно недавним авторам из прочитанного и читаемого тоже расположен, листая “Историю России” Соловьева, а из совсем наших - К. Паустовского...

...Каждый день по вечерам занимаемся с Эгамом русским языком, пишем диктовки. Сегодня он принес еще одно любовное письмо, и мы его перелагали на русский. Больше всего в письмах на тему о восточной любви меня занимает форма выражения и передача чувств. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в письмах это выглядит здесь гораздо роскошнее, чем в жизни, тем паче, когда я вижу отношения супругов в семье и не нахожу никакого признака лиризма, ни тени поэзии и вообще ничего, кроме обыденной прозы и весьма биологическо-

* *your dear timid love* - твою драгоценную робкую любовь.

** *with your whole body under my hand* - всем телом от прикосновения моих рук.

*** *I want your real tangible love* - я хочу твоей реально осязаемой любви.

го существования. Однако эпистолярное *romancero* и трубадурство вызвали у меня одно желание, о котором я тебе сейчас скажу.

Мне очень захотелось проснуться когда-нибудь среди ночи, повернуть тебя к себе либо самому к тебе повернуться и тихонько говорить с тобой. Неважно о чем, просто говорить от чувства и сознания близости к тебе. И тебе тоже, наверное, этого хочется. И вот я потому и подгоняю время с нетерпением, чтобы все это быстрее случилось и чтобы мы с тобой были неразделимы. Ты тоже, по-видимому, так думала, когда писала, что *we are one**.

Милая галочка! О чем бы я ни говорил, непременно сбиваюсь в сторону тебя и себя. Часто я вообще игнорирую события дня. Если по моим письмам (да и по твоим тоже) судить о нашей жизни теперь, так основным занятием для нас с тобой стала любовь. Мне предполагается, что нынешнее лето я буду тосковать по тебе и мучиться в одиночестве еще больше, чем сейчас. Потому что с каждым днем это у меня становится все крепче, все нежнее, все ближе и все больше. А когда я назад оглядываюсь - ведь год какой-то всего лишь прошел - то вижу необратимость развития любви к тебе, неизбежность и естественность нашего нынешнего состояния и одну-единственную заветную цель: не разлучаться никогда. Поэтому я даже раздумываю: А стоит ли мне оставаться здесь после того, как ты ко мне на месяц приедешь? Нужно ли мне еще 2-3 месяца быть без тебя? И я совсем не уверен, что нужно, хотя знаю, что это самый практически выгодный период здесь. <...>

Когда я сосчитал дни заново, то обнаружил, что будет середина марта - начало моей долгожданной командировки. Если бы ты знала, как я жду день, когда я выйду из вагона на перрон Таллинского вокзала и увижу тебя. Ты - моя жизнь и счастье жизни. Я люблю тебя. Да хранят тебя пенаты - добрые духи домашнего очага (нашего - иншалла!).

Целую тебя в губы.

Вечно твой Боря.

26.2.1974.

Пиши мне, пиши.

Моя любовь, мой дом, моя жизнь и желание жить, Ингрид, милая и родная девочка!

Сегодня узнал причины задержки моей командировки. Оказывается, что *c'est le resultat de "guerre domicile" parmi*

* *we are one* - мы - одно.

deux groupes. Il me semble, que j'ai écrit assez de cela. Je ne partage pas cette sottise et bagatelle, * однако причина в этом. Меня все это до того разозлило, что намерения мои приняли другой оборот, хотя, возможно, и преждевременный. Но в общем-то так складывается, что ежели меня к тебе не отпустят и отменят командировку вовсе, тогда я дождусь решения суда и культурно откланяюсь. Эта мысль и намерение единственное, что меня сейчас утешает и делает цель: ждать решение суда...

...Неделю тому назад уехал Рустам, а я тогда затопил печь. С тех пор она у меня не потухает. Идет вторая неделя, как я держу в комнате тепло, потому что на дворе очень холодно. Завтра "утиный холод" должен закончиться и будет теплее и мягче.

Галочка, последнее твое письмо помечено 15 февраля. Я читаю его каждый день по нескольку раз. И всякий раз нахожу в нем что-то такое, что создает настроение и придает бодрость. Как хорошо, что мы все же встретились. Это просто счастье, что я узнал тебя среди всех. До этого я уже думал, что на свете нет для меня женщины, а оказалось, что есть. Слова твоего письма (15.2.1974), полшутка-полуклятва, приняты мной в добрый час и навеки. Обо мне же ты знаешь, что житье мое без тебя недорого стоит, потому что я тебя так люблю, как никого никогда в жизни не любил <...>

Сегодня же я совершил подвиг беспримерной силы. На рукавах пиджака изнутри оторвалась подкладка. Я долго терпел, но наконец не выдержал, добыл иголку с ниткой и полтора битых часа усердно чинил

“...Чтобы мне выглядеть счастливым
В том пиджаке, пока живу”.

Но все же починил - “умри Денис, а лучше не напишешь”, как сказал Фонвизину князь Потемкин, прочитав “Недоросль”.

Девочка, *the paper runs short*, как видишь.

Целую тебя и ласкаю. До завтра.

Всегда твой Бомочка.

27.2.1974.

Привет Нелл, Инис, Рустаму.

* *c'est le resultat de "guerre domicile" parmi deux groupes. Il me semble, que j'ai écrit assez de cela. Je ne partage pas cette sottise et bagatelle (фр.) - это результат "клановой войны" двух группировок. Мне кажется, я достаточно написал об этом. Я не разделяю их глупости...*

Галочка!

Сегодня, сказавшись больным, я никуда не выхожу. С самого раннего утра сидит у меня одна женщина, не уходит, а выгнать ее не выгонишь. Так, ничего, одна знакомая со смешным именем - Муза. Нет, конечно, я с ней ничего себе не позволяю такого, чего ты не одобрила бы. Она мне тоже не мешает. Приходит, когда вздумается, уходит тоже не спросясь. В другое время ее не затянешь, а теперь полдня сидит и ничего.

Словом, я опять пишу и мараю. Весело. В перерывах, лежа либо сидя, напеваю мелодию песенки о бумажном солдате. Ты, разумеется, этой песни не знаешь. Я тоже. Как видишь, у нас с тобой много общего. А содержание песенки такое: жил-был солдатик, вырезанный из бумаги. Был он "добрый и отважный", и ему многое не нравилось в людской жизни, но он сильно любил людей и готов был ради них на какое угодно дело. А люди не принимали его всерьез, потому что он был из бумаги; они от него поначалу отмахивались, в конце концов, он им просто надоел. Когда он сказал людям, что готов для них пожертвовать собой и сгореть в огне, люди с удовольствием открыли печку и пригласили его туда.

- "Ну что ж, гори!" - и он сгорел,
Ведь был солдат бумажный.

Алька эту песенку под гитару хорошо поет. А у меня она крутится-вертится, помогая думать. Детка, может быть из моей неловкой нескладной прозы что-нибудь получится, а? Как бы хотелось, чтобы все это выходило по стихам Э. Багрицкого

"Мне не снести трагического груза,
Чернила высохли и рифмы нет.
Подай же мне, классическая Муза,
Оброненный когда-то пистолет".

Так хочется выстрелить и попасть. Мне, правда, говорили, что из меня стрелок ничего себе, подходящий, только я целюсь, дескать, не туда, куда требуется. И о "Конструкторе" то же самое скажут, вот увидишь.

Ну ладно. Я отвлекся сейчас, чтобы с тобой побыть. Я люблю тебя. Вот думаю, что бы мне тебе достать на день рождения? Что-нибудь попробую. Не зря же я целый день-деньской напеваю

...И он сгорел,
Ведь был солдат бумажный.

А теперь мне есть хочется, и я, наверное, пойду в столовую "принимать пищу". Я не прощаюсь, потому что буду дописывать. Так мне нравится с тобой разговари-

вать, Гришенька. Немного поговорю, потом поцелую обязательно сочно, со звуком, этак, знаешь ли, *Swak!* Целую тебя.

Твой бумажный солдатик Б. Крячко.

28.2.1974.

Ma! Honey! Darling! Душенька! Ура!

Получил твое письмо. Ты - прелесть. Ты - сокровище. Ты - умница, каких мало. Теперь мне хорошо, потому что я всего неделю пробыл без твоих писем, ну а еще через неделю от тебя наверняка что-либо придет. Я даже рад, что письмо долго шло. От почты до почты десять дней, а из рук в руки все двенадцать. Ну вот.

Пришел домой. Читал твое письмо с десяток раз, не меньше. Лежал, улыбаясь от счастья в потолок. Ходил по комнате и думал о тебе. Писал. Закончил главу "Элегия".* Словом, весь день провел в женском обществе. Самое лучшее место из твоего письма прочел даже сам не знаю сколько раз и, конечно, *got excited*.** Ты напрасно пишешь, что мы не всегда друг друга понимаем точно. Галочка, ты меня очень точно понимаешь. Я необыкновенно счастлив, что ты меня любишь и ждешь. Мой ангел, Гриша, я жду - не дождусь дня, когда ты замкнешь у меня на руке супружеские кандалы, которые я буду носить с радостью и гордостью всю жизнь, потому что на другом конце цепи ты будешь. <...>

...Я писал тебе, что если только меня не отпустят в командировку, тогда я, дождавшись развода, уеду к тебе совсем, потому что совершенно без тебя измучился. А раньше этого уехать нельзя. Ведь я не на месяц и не на год даже, а на столько, сколько нам с тобой на роду написано. Или говоря твоими словами, пока я тебе буду нужен. Кроме того, конечно, я ни в коем случае не хотел бы повторения, чтобы мне пеняли на незаконность моего пребывания с тобой.

Предполагаю, что при всей здешней медлительности в апреле м-це я все-таки должен получить решение суда о разводе. Следовательно, мне и тебе остается набраться терпения и ждать. Ты только не забывай время от времени писать мне, потому что *we are one* и я чувствую это единство остро и постоянно. <...>

Гриша, было бы тебе также известно, что если Э.Я.*** не станет шибко на нас с тобой давить, то я ей поперек

* Машинопись текста (1-й экз.) в пярнуском архиве Б.К. - у И.М.

** *got excited* - разволновался.

*** Э.Я. - Эльза Яновна, мать Ингрид.

дороги не встану, как никому и никогда не вставал. Почитать и уважать ее обязан и буду, поскольку она тебя для меня родила, а любить вряд ли смогу, потому что мы с ней слишком разные. Да ей-то, думаю, моя любовь тоже нужна, как рыбе зонтик. Сожалею, что она теперь в таком скорбном положении и вдобавок с характером, который ей же во вред. Больше всего ей сейчас надо спокойствие, а меньше всего ссоры и скандалы.

Вчера я писал тебе, что сегодня холод кончится. Ничего подобного. Все такой же колотун, как был. Печь моя работает непрерывно декаду подряд. В комнате, правда, тепло.

Будь благополучна. Крепко обнимаю тебя и целую всю ночь напролет даже во сне.

Навеки твой - Бомочка.

Галочка, вот так по-маминому я никому не позволяю себя называть. А тебе можно, мне очень нравится, когда ты меня так зовешь. Люблю тебя. Очень по тебе соскучился.

Опять же целую.

Твой Бомочка.

28.2.1974.

1974 (1.3 - 6.4)

Хива

Слышу крик совы: монотонный, как жалоба...

В теплую темную ночь бесшумно лопнут почки...

Мой родной Гришенька!

...В командировке полностью отказано. Спокойно, девочка, не спеши огорчаться. Стрела ведь в полете. Речь теперь идет о творческом отпуске, то есть, чтобы мне разрешили деловой выезд без командировочных и без суточных, а всего лишь сохраняя зарплату. Может быть удастся, я не теряю надежды на благополучное разрешение в ближайшее время. Если же и это мне не разрешат, тогда я возьму отпуск без содержания и приеду. Однако, галочка, ты пиши мне, пока не получишь телеграмму, что я еду. Так лучше.

О себе: жив-здоров, топлю печь, с утра до вечера голову ломило, только час-полтора, как перестала болеть. Во дворе все так же холодно, обещают холодную погоду до 10 марта. Вот это "утиный холод"! За сегодня ничего не написал, кроме этого письма, потому что некогда было: запасался углем, принес воды и голова болела...

Очень тебя люблю и поэтому нежно и много целую.
Всегда твой -

Бомочка
1.3.1974.

Все же, мой ангел, поздравляю на всякий случай тебя, Нелл, Инис и Э.Я. с праздником 8 марта. Делаю это в письменном виде, а Бог располагает лучше. Еще сто раз целую тебя.

Твой Боря.

Единственная моя!

...Скоро исполнится год, как я тебе сказал о своей любви, а ты мне. Как все это случилось, даже не объяснишь никому, разве что друг другу. С тех пор для меня будто свет на тебе сошелся, и я уже не покидал тебя в мыслях ни на час. Любимым моим состоянием в Бухаре было одиночество, т.е. чтобы мне никто не мешал о тебе думать. Я был страшно доволен, когда я шел куда-нибудь один или гулял со своими крошками, или дежурил в газете. А теперь одиночество сделалось неспособно, я его с усилием переносу после того, как мы были вместе. Невозможно, чтобы это длилось долго. Не хочу. Мне очень надо к тебе. Соскучился по тебе ужасно и места не нахожу.

Мой ангел, сегодня приходили ко мне из школы и предлагали работу "за хорошие деньги". Я отклонил это предложение по причинам хорошо тебе известным. Я не могу себя связывать, в особенности сейчас, никакими обязательствами и ни за какие деньги, как бы я в них ни нуждался. Мне надо к тебе.

Желанная моя девочка, теперь мне не просто кажется, а я как-то вроде даже уверен, что еду домой и что меня там ждут... Видишь, как получается. Мне вдруг стал очень нравиться город Таллин, несмотря даже на то, что в нем слишком много эстонцев. Хотя, что мне до них за дело, и, вообще, что мне сама Гекуба, если я никого, кроме тебя, не вижу.

Едва только вопрос о моей поездке будет решен, я не пойду, а побегу за билетом. Здесь идет подготовка к открытию отдела "Ремесла и быт Хивы". Работа идет вслепую и я без устали твержу, что надо ехать за опытом в Таллинский музей. Командировочных, говорят, нет. Ничего, я готов за свой счет в виде творческого отпуска с сохранением зарплаты. А на худой конец могу и без содержания...

Всегда твой -

Бомочка
2.3.1974.

Не забывай напомнить обо мне девочкам и Рустаму, потому что я о них тоже помню.

Милая, нежная и родная моя Сольвейг.

Как я уже к тому привык, к концу недели новости становятся хуже и хуже. В творческом отпуске мне отказано директором заповедника. Эта фигура обрюзглой и анекдотически темной бабы с самого начала моего здесь пребывания органически противна мне, а я, естественно, ей. Правда, ожесточенная неприязнь носит молчаливый характер; я не обостряю положение, а она тоже старается мне гадить сугубо административно, широко применяя в данном случае право “вето”.

Вчера лишь у меня была какая-то надежда, и я написал тебе об этом, а сегодня все пошло насмарку. Больше того, об отпуске без содержания говорить тоже не приходится, - всего полтора месяца, как я здесь. Но, размыслив, я и сам пришел к выводу, что отпуск без содержания нехорош по многим причинам; ездить туда и сюда, когда средств совсем не густо, жить бездельничая несколько недель, не будучи мало-мальски огражденным правовым положением от всяческих подвохов вроде тех, что были раньше с проверкой документов милицией и т.д., это все же не то.

Я несмотря ни на что не оставляю надежды на мою поездку, хотя решительно не в состоянии сказать тебе, когда она теперь состоится точно. Был сегодня в суде. Спросил о своем деле. Мне дали копию отношения, что мое дело о разводе направили в Бухару 12 февраля. Срок разбирательства таких дел определен двумя месяцами, т.е. последний срок где-то 12-15 апреля.

Прежде всего, мне остается только ждать этот срок и решение суда. Однако, если все будет в лучшем виде, то я, возможно, получу это решение и в марте. Тогда я теоретически уже могу к тебе ехать, уволившись отсюда...

В общем ты мне напиши. Если только тебе без меня так же плохо, как мне без тебя, тогда я готов оставить всякие расчеты, калькуляции, большие заработки летом и все это я брошу без раздумий, чтобы приехать к тебе не на месяц, а на жизнь...

3.3.1974.

...Писал и закончил главу “Стансы”. Все это разрастается, словно снежный ком с горы и работы конца не вижу. Буду делать не больше шести глав, но правка уже осточертела. Некоторые места до пяти раз переписал. Чита-

ешь, вроде все так, а потом либо новая мысль потеснит строй, либо еще что-нибудь, и все заново. Ко всему, перебирать все по слову надо и оставлять из них лишь те, без которых нельзя никак. Так и идет процесс взвешивания на античных весах. Курю, хожу, сам с собой рассуждая, иногда вслух. Пока что главы уложились в таком порядке: “Элегия”, “Филиппика”, “Стансы”, “Ода”, “Хорал” и “Эпиграмма”.* Ну, а там - как Бог на душу положит.

Я пишу все-таки охотно и вот еще почему. Последнее время я о тебе стал постоянно думать, и ты сделалась *idee fixe* для меня. Это нехорошо, потому что всякая *idee fixe* порождает фанатизм, а фанатизм гипертрофирует чувство до размеров слоновой болезни и плохо согласуется с рассудком. Вот я и направляю свои раздумья в писанину, задавая мыслям новую пищу. Галочка родная, ты не подумай ничего. Я тебя люблю нежно, преданно и очень, а жизнь моя имеет смысл и цену только с тобой. Я не забываю ни на минуту, во имя чего я нахожусь здесь, вдали от тебя, в одиночестве и в трудностях. С нетерпением жду, когда это кончится, чтобы можно было к тебе приехать и больше никогда и никуда не уезжать без тебя.

Занимаемся с Эгамом, пишем диктовки. Недавно в качестве отвлечения и ради смеха учил его нишенским фразам по-английски, по-немецки и по-французски. Пытался даже что-то такое на фарси выдумать, но не выходит. Больше всего ему нравится французский. Так, знаменитая фраза с протянутой рукой “*Monsieur, je ne mange pas six jours*” ** его приводит в восторг. Он в ней находит много общего с туркменской “Бир азажик чорог бержек далми?” (“Не дадите ли кусок хлеба?”) и на этом основании делает вывод, что французский и туркменский языки - почти одно и то же и что французы поняли бы туркмен так же запросто, как ферганцы понимают хорезмийцев. Как видишь, у нас бывают и веселые минуты.

Из литературы больше читаю с уклоном на давность, сейчас с большим удовольствием листаю книгу о софистах, Сократе и Платоне с превосходными умными отрывками из “Государства”, “Федра”, “Пира” и пр. Удивляюсь не столько существу, сколько форме облекающей суть, когда даже ошибка и заблуждение выглядят добросовестно и убедительно. Как не хватает этого свойства нашим нынешним публикациям. С большой охотой перечитываю Писарева, его критические статьи. Этого автора

* Главы для большого произведения “Этюды Востока”: часть рукописи (машинопись) - в домашнем архиве И.М.

** “*Monsieur, je ne mange pas six jours*”(фр.) - “Мосье, я не ел шесть дней”.

я вообще люблю с личным пристрастием. Попробую когда-нибудь, чтобы ты его тоже полюбила...

5.3.1974.

До завтра, душенька!

Моя родная!

...Хоть я и не вспомню сейчас, о чем писал тебе десяток дней назад, но если бы у меня об этом спросили, то уж я знал бы что ответить. Я писал тебе о любви. Все письма. Среди них нет ни одного, где я любил бы тебя хоть чуть-чуть меньше, чем люблю. Они помечены этим. В каждом из них только одна ты от первой до последней строчки и между строк тоже...

<...>

*Dearest ma!** Получил открытки для Верушки и Ни-нушки и сразу же их отправлю в один день с этим письмом. *"I bought them specially for our children to play with"*** - ты не могла сказать лучше, чем сказала. Целую тебя. Я тоже так думал о Нелл и Инис, только сказать об этом стеснялся, они ведь уже большие. А подумалось мне так вдруг, когда мы с тобой пошли в школу за Инис. Галочка, Боже тебя упаси сказать об этом девочкам. Душенька, ни в коем случае. Тебе об этом надо знать, а им какая надобность? Пусть это будет потом, когда мы с тобой - иншалла - будем вместе...

Душенька, когда, бывает, я гляжу на свою литературную пачкотню, мне порой кажется, что пишу я глупо, скверно и безобразно, словом никуда не годится, хоть выбрось. Сейчас, сегодня у меня как раз такое представление о самом себе. Девочка милая, только ты не приписывай это твоему письму и не сваливай это себе на голову. Это пройдет.

Целую тебя много раз. Твой вечно - Боря.

6.3.1974.

...Галочка, я оставил всякие надежды на командировку, чтобы самому зря не нервничать и тебя попусту не дергать ожиданием-разочарованием.. Теперь я только одно жду: решение суда о разводе. Когда ты мое письмо получишь, мне останется ждать месяц. Я набрался терпения на этот срок, запрограммировался полностью, хотя не чаю души получить его (развод) как можно раньше. Может быть, у меня не хватит средств на дорогу, тогда я

* *Dearest ma!* - Дорогая!

** *"I bought them specially for our children to play with"* - "Я купила это специально для наших детей, чтобы они играли".

оповещу тебя телеграммой и ты пришлешь. Но я думаю, что до этого не дойдет.

Мой друг Эгам удивляется, что я тебе пишу изо дня в день, и находится в недоуменном рассуждении, о чем это можно писать ежедневно, как не об одном и том же. Я объяснил ему все дело привычкой, не погрешив против истины нимало. Писать тебе стало привычкой; не написать тебе равносильно для меня не поесть хотя бы один раз в сутки...

7.3.1974.

Моя ненаглядная душенька, Гриша!

...Я полночи мысленно был с тобой и ходил по всем комнатам; в комнате Нелл и Инис подо мной поскрипывал паркет ближе к двери; посидел в концертном зале на лохматом коврике; был в ванной, где лампочка плохо включается; еще смотрел в своей комнате на светильник, где металл, дерево и фарфор не ладят друг с другом; а больше всего времени провел с тобой рядом. Душенька, родная, поправляйся, пожалуйста, и постарайся не болеть, по крайней мере, пока я не буду с тобой.

У меня сегодня нет света, и я спешу написать тебе письмо до наступления сумерек. Уже день стал больше, и в Таллине, верно, тоже. Холод, однако, пока продолжается и ноги мерзнут, т.к. шерстяные носки обе пары еще не вернулись из стирки, и я хожу в синтетических. Печь топлю все время. Сегодня закончу уголь, а завтра пойду опять на добычу, чтобы так, на 3-4 дня. Прохладную погоду обещают до 15 марта, а потом должны пойти дожди и будет теплее. В конце марта по заведенному обыкновению хивинцы уже варят вареники с травкой. Когда меня впервые ими угостили, мне пришло на ум сравнение с волком, питающимся капустой. Но очень вкусно.

Мой свет, каждый день у меня начинается с мысли о тебе и тем же самым кончается, когда я думаю: вот, еще один день прошел и теперь стало чуть-чуть к тебе поближе. А когда неделя проходит, так это для меня так же знаменательно, как эпоха в истории...

(Сейчас, подожди, душенька, я подброшу в печь угля, пока светло. Ну, печка моя опять греет.)

...Скоро 7 ч. вечера и темнеет быстро, я дописываю тебе почти в потемках. Хорошо, что у меня есть печка с живым огнем и угля хватит на всю ночь, не то было бы худо, т.к. света нет и электрообогреватель мой бездействует. Сейчас допишу это письмо и у меня будет много свободного времени, когда я не смогу ни читать, ни писать,

а только лежать в темноте и о тебе думать, и от этого мне будет тепло и уютно...

8.3.1974.

Привет девочкам и Рустаму.

Кланяюсь всем и помню.

Душенька, вместо кино я пошел к Эгаму, поужинал и взял у него керосиновую лампу. Теперь сижу дописываю и не нахожу покоя. Душенька, душенька, сообщи скорее о себе, что ты здорова, чтобы мне спокойнее было...

10.3.1974

P.S. Дело идет определенно к весне. Смеркается уже за 7 часов, а рассветает тоже почти уже в 7. Только что в сумерках, наступивших недавно, впервые в нынешнем году слышу крик совы: монотонный, как жалоба, и магнетизирующий слух неопределенностью места, откуда он исходит...

...Сегодня водил экскурсию. Слушатели попались подходящие, я отвлекся, вошел в раж и проговорил без умолку семь часов. Сейчас я даже испытываю какое-то раскаяние, что в течение этого времени я о тебе думал меньше, чем привык думать, но ты меня, Гришенька, наверное, простишь. После экскурсии написал тебе открытку и отнес ее на почту. На обратном пути (мой постоянный маршрут) зашел в столовую и пообедал, то есть я сам в точности не знаю, что это было: по времени нечто среднее между обедом и ужином, а по факту - механическое жевание пищи. Аппетита не ощущаю ровным счетом никакого. В 6 ч. вечера был уже дома. Хотел сразу же писать тебе письмо, но здорово устал и решил отдохнуть. С полчаса читал Писарева; я очень люблю этого великолепного эссеиста и замечательного человека за то, что он энергично будит дремлющий разум...

12.3.1974.

Моя радость, Гриша!

Сегодня 13 число. И день стоит такой теплый. Печку я уже не топлю трое суток, вполне хватает обогревателя.

Мне захотелось сегодня слегка позабавиться и вот я следую твоему примеру. Ты вкладываешь в свои письма бумагу, чтобы мне веселее было получать, а я вложу в письмо обложку от комплекта открыток о Хиве. Так что готовлю тебе ту самую "радость наощупь", которой ты меня довольно избаловала. Правда, я добросовестно использую чистые листы бумаги, расходуя их исключительно

на тебя. Вот сегодня исписал один лист и еще два остались на завтра и на послезавтра...

...Все так же занимаюсь русским языком с Эгамом...

...Прогулка по садам хивинской монументальной поэзии неизвестно чем и как окончится. Очерк растет все больше, с ним нельзя сладить. Литературная пачкотня моя принимает все более характер полемический и обостренный, уменьшая шансы на благожелательность. А это плохо. Мне известно, что если я стану искренне смеяться над смешными нелепыми явлениями и весело показывать язык оппонентам, то вряд ли это им понравится. А удержаться не могу. И хорошо, что так, потому что если писать по мерке и требованиям теперешних лит. норм, так все это выйдет похожим на мертворожденное дитя либо на анемичных недоносков, которых и без того хватает...

14.3.1974.

...Гришенька, я был вынужден прервать письмо, потому что пришел давнишний мой товарищ Исмаил, и мы с Эгамом пошли к нему на плов. Брат Исмаила настроил уток диких пятнадцать штук и приготовил плов из утятин. Там я вкушал дичь с пловом, выпил пиалку красного вина, гарниром к плову была тертая редька с винным укусом, запивал все это дело зеленым чаем. Пробыл у Исмаила часа три. В комнате у него висят канарейки и перепелки в клетках, и я с удовольствием слушал, как они поют. Канарейки поют, конечно, лучше. По технике исполнения их превзойти и перещеголять трудно. Но все-таки канарейка похожа на Гайдна, пьесы которого разыгрывала Инис. Но на мой вкус лучше канареек поют певчий дрозд и скворец. В их пении неожиданность откровения, искренность, радость белого света, исторгнутая в звуках из птичьей глотки. А сколько у скворца душевной теплоты, Боже мой! а старания! а самозабвения! Нет, я решил, что дрозд и скворец очень похожи на Шопена, Чайковского и Грига. Что касается гениального соловья, то это уже, разумеется, Моцарт. Только соловей не поет в клетке и быстро умирает. Через два месяца вся Хива будет звенеть от них по ночам.

А перепелка - певец так себе. Поют у них только самцы. Песня однотонная и давно всем знакомая, но звуки неподражаемы и ни на какой инструмент их не переложить. Песне обязательно предшествует воркотня, речитативное вступление, отсчитанное столько же раз, сколько тактов в самой песне. С кем из людей сравнить пере-

пелку, не знаю. Мне перепелиная песня напоминает приглашение к улыбке.

Я еще люблю слушать жаворонка, но в этих краях они не водятся, стало быть, и говорить о нем нечего. Но в общем, как видишь, сегодняшним вечером я остался доволен, о чем тебе и пишу...

15.3.1974.

...Сегодня с утра была экскурсия с архитекторами Ленинграда, а специализированные экскурсии мне нравятся меньше, причем устаю от них я больше. Словом, это весьма общий гам с бестолковыми вопросами и репликами о преимуществах одного стиля перед другим, об ордерах и жанрах и о пр. в самом схоластическом толке. Я их считаю несерьезными, отказываюсь принимать, а это обычно кончается либо иронией и весельем, либо раздражением. Сегодня кончилось раздражением, потому все мои попытки объяснить "*Esthetical relation of art to reality*"* потерпели полный провал, разбившись о стену ископаемого, но крепко заученного академизма. Тогда я пришел домой и вынужден был опять обратиться к философии покойного Сергея Николаевича. Так что у меня не всегда все кончается так хорошо, как хотелось бы.

Бывает, правда, еще хуже. Не помню, писал ли я тебе или нет, но недели две тому назад мне поручили дать экскурсию корреспондентке журн. "Наука и жизнь". Тогда вообще был срыв, т.к. я потерял терпение, плюнул и сказал, что сомневаюсь в ее принадлежности к популярному изданию из-за непроходимой глупости ее вопросов, и отказался вести экскурсию. Я понимаю, что нехорошо сделал, но я уже больше не мог, а она была такая бойкая дура...

Всегда твой Боря

16.3.1974.

...Ты, верно, отметила, что в своем отношении к тебе я часто забываю даже о твоей женской сути. Не знаю, как ты, а я такое отношение считаю нормальным и, грешным делом, думаю, что для тебя тоже будет обидно, если я не буду в тебе видеть ничего другого, кроме женского начала. Поэтому ты для меня - все в одном лице, о чем я тебе писал часто. Номенклатура твоя в душе моей многочисленна и разнообразна, и ты об этом тоже осведомлена довольно, как по моим письмам, так и по смене настроений в них...

20.3.1974.

* "*Esthetical relation of art to reality*" - "*Эстетическую взаимосвязь искусства и действительности*".

Мой ангел, моя девочка, здравствуй!

...Погода сегодня переменялась, вероятно, все же к дождям. В эту весну сезон дождей запаздывает. Вот только заволокло небо тучами и разгулялся ветер. Немного похолодало. Может вполне быть, что печку еще придется кормить углем. Но печь заряжена и уголь есть - бояться нечего, да и конец марта.

Скоро Новруз, т.е. мусульманский Новый год. Его отмечают в день весеннего равноденствия, и он означает начало полевых работ. Это веселый и хороший праздник, мне он очень нравится. А недели через две в какую-то теплую темную ночь бесшумно лопнут почки на деревьях, купы деревьев станут прозрачными зеленоватыми облачками, а те из них, которые сохранили прошлогоднюю высохшую листву, сделаются в зеленом тумане похожими на твои волосы. Я люблю тебя, Ингрид.

Когда я получу от тебя ответ на это свое письмо, деревья будут как раз такими. Я очень тебя люблю, и хорошо, что ты это чувствуешь и понимаешь. Сегодня будет самолет из Москвы. Если я к этому времени (около 2 ч. ночи) не буду спать, то услышу, как он летит, и постараюсь по гулу определить, везет ли он письмо мне от галочки или нет. По всем признакам и установившимся канонам я должен получить письмо от тебя если не завтра, так послезавтра...

Только что был Эгам. Занимались диктовкой, потом он отправился в кино (идет сегодня фильм "Рабы" маде ин уса*), а я остался, чтобы быть с тобой, потому что у меня свидание с тобой, и я не хочу никаких других свиданий. Мне с тобой очень хорошо, а все по той же причине.

В связи с моими теперешними занятиями, мне вспомнился один случай, о котором тоже хорошо было бы написать. В 1948 году я был 18-летним кадетом подготовительного военного училища (и едва не стал военным, кстати). У нас был истопником старик без роду и племени, ходил он в поношенной и списанной гимнастерке, на которой чернилами кто-то когда-то нарисовал звезду героя. Старик был очень добродушен, отечески любил всех молодых жизнерадостных болванов, подобных мне, и вел с нами разговоры "про жизнь". Правда, все его разговоры сводились к единственному сыну, погибшему в войну. В особенности меня трогал конец этих бесед, когда он говорил: "Последний раз я услышал о нем по радио. Передали так: "Младший лейтенант Степан Филимонов сегодня перешел в наступление".

* Так пародировали *made in USA* - "сделано в США".

Эта милая ложь стоила десятка правд. Когда один недоумок из нашего круга вздумал посмеяться над дедом и сказал, что тот врет, как в тот самый день этому правдоискателю славно набили физиономию. Было в нас нечто такое, что я потом встречал чаще всего в русских характерах необыкновенным сочетанием благородства с милосердием...

22.3.1974.

...Пребываю все так же в ожидании решения суда и (или) дня, когда я возьму билет на самолет. Но пока суд да дело позволь, милая душенька, представить тебе посетителей моего салона, кроме Эгама.

1. Усто (Мастер) Сапо Багбеков. Резчик по дереву, и хороший. Рядом с моим жилищем находится мастерская, где орда мальчишек учится под его руководством этому виду искусства. Заходит ко мне с утра. Садится. Затекает разговор по-узбекски, т.к. по-русски ни слова не знает. Я сажусь *vis-a-vis*, курю, вслушиваюсь в гортанную тюркскую речь и в интонации, а сам смотрю на него, как умная собака либо как студент на экзамене, который все знает, все понимает, лишь сказать не может. После каждого такого разговора мы благодарим друг друга за взаимопонимание и за приятно проведенное время.

2. Машарип. Ночной сторож. Русскому языку научился на войне и в госпиталях. Заходит ко мне между 24 и 01 часами ночи во время обхода памятников. В разговор вносит узбекский речевой строй, говорит обо мне и о себе во множественном числе. “Мы вас любим и поэтому решили зайти”, - это моральная основа его визитов. Рассказывает то о том, как солдаты во время боя и вообще стреляли своих слишком вредных офицеров, а потом отбывали в штрафбаты, то о женщинах. Даже большей частью о женщинах. Настрой бесед философский. Женщин для удобства понятия он называет “холодильниками”, а смысл своих сентенций сводит к тому, что мужчине без женщины никак нельзя. Я с ним соглашаюсь, потом, малость подумав, дополняю гипотезу и говорю, что ведь и женщинам без мужчин беда, т.к. если природа создала холодильник, то должен быть и обогреватель. Он тоже с этим согласен. Так порассуждав некоторое время, мы прощаемся очень довольные друг другом, как бывают довольны только умные люди.

Галочка, других знакомых своих я тебе отрекомендую при ближайшей возможности. А если ты мне написала о Наташе и об уроках фонетики, то и я скажу о своей прак-

тике. В начале своей деятельности я учил детей английскому языку (в узбекских школах). Слово “*children*” * они, словно по уговору, произносили “чилдыр”. Им здорово нравилось это слово, и я их не поправлял, потому что мне оно в таком виде тоже очень нравилось.

23.3.1974.

...Получил сегодня твое письмо, а с ним вместе письмо от Саши с его стихами и фотографией. Следовательно, нынешний вечер посвящается письмам; во-первых, тебе, а во-вторых, ему. Сашиным письмом я доволен и, можно сказать, счастлив...

Я вместе с тобой полюбил все и всех, кто к тебе относится, задолго до того, как узнал, кто именно к тебе относится. Люблю наших девочек, ты должна об этом знать, чтобы никогда в жизни не сомневаться в этом. Они же об этом сами узнают, когда мы с тобой будем вместе и всегда.

Когда я собирал свои книги по пути к тебе в декабре м-це, Сашина мать мне сказала: “Черт тебя знает, что ты за человек, так я тебя и не поняла, но дети от тебя хорошие”. Но, Гришенька, полно об этом говорить, еще будет время.

Сегодня ночью очень плохо спал. Точнее, вовсе не спал. Нервы словно обнажились, подошвы ног горели огнем и я их несколько раз ночью выдерживал в холодной воде, малейший шорох вызывал приступ беспричинной и безмолвной ярости. Утром поднялся как кролик с красными глазами. Экскурсий не было, и я смог пару часов днем поспать. А сейчас чувствую головную боль и усталость. Поэтому лучше-ка я лягу спать, а письмо Саше завтра напишу. Мне кажется, что такое состояние от погоды: сильный пыльный и холодный ветер влетает порывами ко мне в комнату и действует таким образом.

Моя родная девочка. Еще мне показалось, что в твоём письме какое-то смущение и недосказанность и причиной тому письмо от Саши. Хочу поэтому внести ясность такого рода: Душенька Ингрид, да простит меня Бог, но я люблю тебя больше всего на свете.

Нежно тебя целую.

Всегда и навеки твой Бомочка.

24.3.1974.

* *children* - дети.

Мой ангел, моя ласковая безвинная девочка,
ненаглядная любовь моя, родная моя Ингрид.

Успокойся, пожалуйста, сейчас же. Я не брошу тебя никогда. Я тебя люблю крепко и до конца. У тебя нет никаких оснований думать, что кто-то может повлиять на наши отношения и отвратить мое чувство к тебе <...> Не допускай, в особенности теперь, резкостей в общении с Э.Я! Будь сама собой, ты ведь моя добрая и нежная галочка <...>

Что касается ее возможного ко мне письма, то очень хорошо, что ты меня предупредила. Если все-таки письмо будет, я просто не стану его вскрывать, т.к. не вижу в этом надобности. Содержание ее послания нетрудно предугадать: я бросил жен и детей, я нищий и именно поэтому подлец, которого следует повесить на первой осине и т.п. - это во-первых. Во-вторых, ты, по письму, можешь выглядеть изменчивой, "как ветер мая", и что у тебя масса кавалеров и пр. и др. (Так сказать, испытание на разрыв. Но это уж, дудки!) А в-третьих, больше там ничего быть не может. Поэтому опять-таки не волнуйся. Если бы я даже получил письмо от Э.Я. раньше твоего и прочитал, я был бы, разумеется, огорчен, но в тебе был бы уверен и сам остался бы верен тебе тоже.

Получив письмо Э.Я., сразу же, не вскрывая, отошлю его обратно на твое имя. Душенька, предупреждаю тебя и прошу поступить с письмом таким же образом, не вскрывая, отдать его Э.Я. Она его писала, пусть она его сама и читает. <...>

Нормы моего поведения по отношению к ней терпимы и благонамеренны, ты об этом знаешь. По долгу я буду оказывать то уважение, какое она заслуживает в качестве твоей матери. Приехав к тебе, я войду к ней поздороваться. Если я буду юридически правомочен взять тебя в жены, то опять-таки из уважения к ней буду просить у нее твоей руки. Благословит - спасибо, нет - обойдемся без ее благословения. Словом, я не собираюсь ни нарушать ее покой, ни воспитывать ее, ни мешать ей жить, коль скоро она не станет мешать нашей с тобой жизни...

27.3.1974.

...После диктовки ходили с Эгамом по городу, и я сделал открытие, что ночью тоже можно было бы проводить экскурсии. На улицах ни одного человека. Тишина, будто тысяча лет тому назад. Памятники выглядят иначе; задремав до утра в ночной тени, они утратили четкость

линий и потому позволяют разыгаться воображению, представляясь фантастическими опусами более, нежели архитектурными структурами. В слабом лунном освещении в них проявляется магнетирующая особенность; вроде и светло, и одновременно с тем никакой перспективы, а тени означаются красиво и в разных оттенках, начиная от непроглядно черного до смутно серого ближе к лунному серебру. Когда идешь, за тобой остаются надолго звуки собственных шагов, в них интересно вслушиваться, я даже полагаю, что по звуку шагов можно бы определять не только пол, возраст и пр. приметы, но и характер, настроение, намерения. Мы открыли Джума-мечеть (я тебе послал открытку последний раз с видом внутри нее) и, не договариваясь предварительно, стали говорить *sotto-voce*.* Это впечатление сродни детскому мироощущению, а именно, захватывающему дух рассказу в темной комнате, когда и жутко, и любопытно, что же дальше будет, и хочется притронуться к тому, что близ тебя, чтобы не так страшно было, ну, словом, сегодня ночью я сбросил с себя лет 35 и вновь превратился в мальчика, хоть и не надолго, минуты на 2-3 всего, а потом опять резко повзрослел...

29.3.1974.

...Почему ты думаешь, что я смеюсь над людьми?

Совсем я над ними не смеюсь, напротив того, отношусь к ним с искренней благожелательностью, терпимостью и добротой, которой меня зарядила природа, по крайней мере, с тех пор, как я себя помню. Я только немного их поправляю, когда не соглашаюсь с ними. Иногда, правда, это подкрепляется смехом, но, во-первых, глупость людская ничего так не боится, как быть смешной, а во-вторых, мой смех никогда не убивает хороших свойств. Бывает и так, что я среди людей встречаю даже Иуду, но и тогда я терпим и нахожу в себе принцип отрицать не самого Иуду, а месть к нему.

Действительно, I'm very lonely** еще оттого, что отношусь к людям, которых называют эгоистами, и ставлю это не в упрек, а в похвалу себе. Это мне помогает в каждом отдельном человеке видеть личность, а не дробную часть коллелектива, украшенную фамилией. Благодаря собственному эгоизму, я неназойлив по отношению к другим, но и сам не требую от других никаких жертв во имя своей персоны, - разве это плохо? При этом же

* *sotto-voce* (ит., муз.) - вполголоса.

** *I'm very lonely* - я очень одинок.

у меня не хватало духа отказать кому-либо в живом участии, в совете либо в посильной помощи. Сам я всегда воздерживался просить о помощи и доставлять беспокойство людям. Нормы жизни у меня сведены к такому минимуму, что нужды, лишения и бытовые неудобства не были мне слишком страшны. Ты, наверное, заметила, что я вследствие этого полагаюсь *on One above** да на себя. Это сохраняет меня от разочарований людьми и жизнью...

30.3.1974.

Мекка моих стремлений...

Конечно, наш союз не будет длиться вечно, поскольку всему есть предел. Но если ему суждено закончиться, - ладно, пусть тогда он закончится со смертью одного из нас. Став твоим мужем, я не стану любить тебя меньше, чем люблю, даже когда мы привыкнем друг к другу, я не переменюсь существенно ни к тебе, ни к детям, а буду таким же... Я никогда не воспользуюсь никакими преимуществами своего положения "законного мужа", потому что это противно понятиям моим, и ты об этом знай.**

2.4.1974

Моя радость, Гришенька!

Вчера взял билет на самолет Ургенч - Москва - Таллин на 10 апреля и послал тебе телеграмму. Поскольку я тебе телеграфировал, то в тот день письмо не писал, был радостно взволнован и думал о тебе. Сегодня получил твою открытку. Спасибо, моя галочка. Мне довольно и открытки: я знаю главное, что ты - моя Ингрид, что ты благополучна, что ты ждешь меня.

Мой ангел, получил я недавно письмо от своего старинного друга Володи Киселёва, о котором я тебе немного рассказывал (нас было трое, и мы делили одно пальто на троих). Он тебе шлет привет, не зная, что ты у меня есть. Посылаю тебе его письмо. По-моему, у него происходит что-то близкое к разрыву в его семье, хотя точно трудно сказать. Я ему написал уже третьего дня. Ну, приеду, расскажу.

В оставшиеся дни мне нужно соорудить посылку, чтобы отправить тебе книги...

4.4.1974.

* *on One above* - на Всевышнего.

** *Свое слово он сдержал.*

5.4.1974.

...Повинуюсь силе привычки и пишу тебе. Письмо - не письмо, а так, что-то среднее между дневником и отрывным календарем, когда считают дни. Мои письма тебе были примерно такими листками численника, начиная с 9 января. Теперь же я хочу сорвать сразу пучок - целых пять дней, отправив тебе письмо перед самым моим отъездом к тебе. И ты получишь его, когда я буду с тобой рядом, и, наверное, не почувствуем оба многого: у тебя пропадет чувство ожидания моих писем, а у меня - привычка писать, и все оттого, что мы будем близко. Возможно, и письма наши покажутся нам когда-нибудь, через годы, несколько странными, но ты, душенька, их не стесняйся, они написаны честно, и в этом их главное достоинство...

Ну вот. В эти дни установилась хорошая погода. Тепло и свежо, как бывает только весной. Погода, похожая на эту, бывает еще в октябре, но тогда воздух сухой и прохладный, а по утрам он, словно лезвие бритвы, шекошет лицо; в апреле же воздух влажный и мягкий, как вата, с каким-то привкусом хмеля. Мне кажется, что человек очень связан со всеми временами года (и с переменами погоды то же самое) - весной он будто пробуждается вместе с землей, деревьями и цветами, в нем опять обнаруживается избыток силы и, естественно, охота потратить ее, а осенью он устает, и ему хочется отдохнуть как дереву, уставшему от цветения и плодоношения. Мне нравится весна тем, что у меня пробуждается ненасытное любопытство глядеть, как паучок заглатывает дафнию. Вижу это уже в который раз, и всегда так же неослабно, будто вчера на свет народился...

6.4.1974.

1974 (9-10.4)

Хива - Ургенч

Одна ночь и всего один день... так долго...

Собрался. Побрился. Сходил на почту - писем нет. Помог Эгаму составить тематический план экскурсии по экспозиции музея прикладного искусства... Потом Эгам проводил меня на такси.

В 7 ч. вечера приехал в аэропорт. Сдал чемодан в камеру хранения. Вылет завтра в 7.20 моск. времени. Приехал в гостиницу в Ургенче...

Завтра я тебе допишу несколько строчек...

10.4.1974.

Я так к тебе долго ехал, так долго, что и сказать не могу, сколько времени...

1974 (13.5 - 10.6)

Хива

Жизнь еще и тем хороша, что на свете есть соловьи...

...Весь путь от Таллина до Хивы занял 12 часов, так что в 8 моск. врем. (10 по местному) вечера я уже был у Эгама... он мне передал письмо. Там оказалось решение суда... я - свободен.

13.5.1974

...Еще до сих пор не видел директрису, а видеть ее для меня хуже горькой редьки. В мое отсутствие она едва не уволила меня, теперь с ней предстоит объясняться. Оно бы, конечно, можно, да ведь ты и сама представить можешь, как трудно с дураками разговаривать. А она глупа, как гусыня.

Тут в мое отсутствие был небольшой инцидент. Директриса обозвала нехорошо одну контролершу музея и они славно по-базарному переругались, понося друг друга разными непечатными словесами к огромному удовольствию публики. Трудно передать этот энергичный диалог из-за его площадности, но смысл перебранки сводился к тому, что и директриса и контролерша пытались выяснить, кто из них проститутка, а кто нет. Единство взглядов по данной проблеме достигнуто не было, но научные сотрудники, бывшие при этом в качестве зрителей, здорово повеселились...*

14.5.1974.

Не знаю, что я буду делать дальше с фельетоном. Может быть, пошлю, а, возможно, нет. Но отпечатаю обязательно и одну копию тебе пошлю. Видишь, мне все-таки очень требуется временами твое мнение, совет и отношение к тому, о чем и как я пишу. Не глядя на твое незнание, как ты говоришь, русского языка, у тебя есть понимание, позиция и взгляд, а мне только это и надо. Потому я и хотел, чтобы ты прочитала "Мясную лавку"...**

15.5.1974.

Дорогая галочка, мне надо продолжать эту канитель и лвить всякий шанс через все препятствия. А шансов здесь ровным счетом никаких других, кроме того, чем я занимался. Идет лето. В школах - нет. У газовиков в пустыне - слишком далеко и оторвано от всего света. Другого ничего нет. Будь центральная экспедиция по археоло-

* Фельетон-памфлет "Тётушка", пярнуский архив Б.К. (1-й экз., 6 стр.).

** Рассказ опубликован в сборнике "Бытые собаки" (1989).

гии, я, пожалуй, пошел бы на пару месяцев, но и ее в этом году нет. В общем, все остается на месте. Пусть тебя это, однако, не беспокоит и не печалит. Я не опустил рук и не упал духом. Все будет - иншалла! - хорошо.

Как только я уплачу за решение суда и получу штамп об аннуляции брака в паспорт и свидетельство о разводе, сразу же выпишусь и снимусь с учета. Следующие свободные деньги пойдут на билет. Все остальное потом...

22.5.1974.

...*Desirée*, Гришенька, я люблю тебя. Мне без тебя очень плохо, а без писем твоих в особенности было плохо. Прямо тоска едва не сожрала. Спать не мог. Вынужден был в 1 ч. ночи идти в “шахри буль-буль” (соловьиный город) и слушать изумительные концерты, которым сейчас сезон.

Я находил дерево на окраине, потихоньку садился под ним и замирал. Соловей тоже замирал. Но я долго не подавал о себе никаких признаков, и тогда он начинал петь. Вначале строчки у него были несмелые и краткие, колена четыре-пять не больше. Это хоть и красиво, но что за пение по одной строке! Уже я подумал, что мне попался соловей с одышкой, с астмой, которому воздуха не хватает, как он обрушил на меня целую симфонию.

Начал он просто, тихо и не спеша, а потом закричал по-тирольски, восторженно зашелкал, словно кавказец, вкусивший рахат-лукума, прозвенел колокольцами на разные лады, пожаловался кому-то на свою соловьиную жизнь, простонал сладко, прошептал сам себе шепеляво и утешительно и вдруг рассыпался смехом звонким, веселым и беспричинным, как ребенок в лесу.

Его кадансы, ритмы и тональность нельзя было ни высчитать, ни предположить. Он переходил из одной октавы в другую свободно и легко, игнорируя всякие догмы музыкальной теории. Звуки сыпались сверху, и в них не слышалось принуждения, обязанностей или напряжения, словно все это и составляло самую естественную соловьиную жизнь. То ли от этих рулад непрерывных и бесконечных, то ли от тоски по тебе, то ли от того и другого вместе, но сердце у меня сжалось, душа расплавилась как воск, а глаза быстро и до краев наполнились. Сквозь влажную линзу я увидел, что все небо усеяно не звездами, а самолетами, летающими сюда на звуки, и это нисколько меня не удивило. Потом шлюзы прорвало, и соленая вода пошла из глаз по щекам, по бороде и усам, а я сидел, досадуя и восхищаясь, и мысли у меня были совсем, как у папы.

Мерзавец, как же ты здорово поешь! Ведь я же тебя, подлеца, сто лет знаю: маленький, серый, неприметный, глядеть неохота. Откуда только у тебя, негодяя, сила берется. И ведь каков сукин сын: не запнется, не повторится, не захлебнется. Не передохнет, чтоб тебя разорвало!

К утру он стал сдавать. Паузы у него делались все больше и больше. А мне не хотелось спать и уходить отсюда было жаль, так жаль, что я готов был взмолиться: Голубчик! Ну придави еще разок. Ну что тебе стоит! Душа моя, ну сделай такую божескую милость. Ну, пожалуйста, очень вас прошу.

Так и просидел я ночь напролет до четырех часов утра. По дороге домой меня задержал милицейский патруль. Спросили, кто я и откуда иду. Я им сказал, но они не поверили и решили, что я крепко заложил за галстук спиртного. В половине пятого пришел домой. Было уже почти светло, и я написал тебе самое короткое письмо: "Здравствуй, галочка! Хочу спросить у тебя, как ты спала. Целую. Боря".

Потом лег спать, когда вот-вот должно было солнце взойти. Душенька, жаль что ты не со мной и не слышала, как соловьи поют. Жаль, что Ипси* не знает, как это хорошо. Жаль, что у меня нет магнитофона, чтобы записать трехчасовой концерт. Но скажу тебе совершенно точно: жизнь еще и тем хороша, что на свете есть соловьи. Я люблю эту птицу, которая живет и поет только на воле, а в клетке не живет, умирает.

В другой раз мы слушали его с Эгамом. Это было уже не так интересно. Соловей не любит, когда ему мешают разговором...

27.5.1974.

...Зарплаты в заповеднике я не получаю с апреля. Когда уезжал к тебе. Отсутствие свое я объяснил болезнью, с меня теперь требуют бюллетень, который негде взять. Вопрос о моем увольнении решен давно...

...Мой отъезд отсюда воспринимается по-разному. Некоторые люди хотели бы меня здесь удержать. На днях предлагали мне место в Ургенче в экскурсионном бюро. Я отказался от предложения, объяснив опять-таки предстоящим выездом при всех моих искренних симпатиях к Хиве. Выезд я планирую числа в 20-х июня месяца, рассчитывая иметь к этому времени все необходимое и завершив здесь все свои дела. А если при возможности, то и раньше...

28.5.1974.

* Инис, Ипси - так Б.К. ласково называл Инес, младшую дочь И.М.

Мой ангел!

Я жив-здоров, только настроение сегодня у меня испорченное. Была группа туристов из Москвы и, как часто бывает, все - провинциалы страшные. С самого начала экскурсии один хам, встретив рабочего узбека, стал ему показывать, как застегивать штаны, а остальные смеялись с чувством столичного превосходства. Вот оно, наше родное русское хамство! Вот где отвратительная физиономия замоскворецкого купечества. Вот в чем наше гадкое бахвальство и дикая самоуверенность, что это именно мы, и не кто другой, научили здешних людей, как правильно штаны застегивать. Как-то я тебе говорил, что чаще всего я забываю о национальной принадлежности и для меня это дело десятое. Правда, бывают минуты, когда мне приятно чувствовать себя русским. Это случается, когда я слушаю Чайковского. Когда разбираю шахматные партии Алехина. Когда читаю Чехова и Бунина. Когда поет Шалапин. Словом, в такие минуты. А сегодня мне было до того стыдно самого себя, что хоть отрекайся.

Экскурсия тоже была такая. Возле каждого памятника я их морально расстреливал. Вертел их, как дрессированных медведей в цирке. Прохаживался по ним сколько душе хотелось - дал себе волю. С удовольствием глядел на их раскрытые рты и часто мигающие глаза. В общем, в течение четырех часов только и делал, что сбивал с них спесь и выколачивал наглость, как пыль из ковра. К концу они стали похожими на стаю побитых собак и мне их все-таки жалко стало. Сказал им на прощанье, что за экскурсию они поумнели, и я это вижу. Они пошли такие скромные и шелковые, хоть я им и не представился, но думаю, что Хиву они запомнят надолго.

В результате у меня взвинченное состояние, и я не смог поэтому заснуть днем. Выкурил от расстройства кучу табаку и потребил два чайника чаю. Но это еще ладно, пусть. Беда в том, что я непрактичен и из-за этого потерял сегодня лишек заработка. Мне бы потворствовать этим каплунам, мне бы снизить до их обывательского вкуса и мещанского взгляда, мне бы рассказывать им хорошие-отличные-веселые анекдоты, так, глядишь, и прибыль была бы. А у меня не получается. Наверное по этой причине у меня никогда не будет много денег. Тебя это не огорчает, душенька? Если нет, то я люблю тебя еще больше. Невзирая даже на то, что из любви шубы не сошьешь, как говорили мои жены.

Сейчас уже вечер. Я никуда не пошел. Вот напишу тебе и, если Эгама не будет, то прогуляюсь немного... Мне

очень хочется скорее к тебе, чтобы каждый день видеть тебя, ходить с тобой в магазины, слушать, как Ипси играет, сдавать бутылки и покупать для нее “Cosa Nostra”, а для Неле - обычное мыло. А потом однажды взять Ипси и тебя и пойти в кино. Или на концерт. Ну, куда ты хочешь. Соскучился я по тебе, душенька...

Крепко, нежно и по-всякому обнимаю тебя и целую. Будь благополучна, здорова, радостна - ты и дети. Остаюсь всегда твой - Бомочка.

29.5.1974.

Дорогая моя родная галочка!

Стало вдруг много работы. Веду экскурсии несколько дней подряд. Публика не ахти как взыскательна, народ все больше здешний, среднеазиатский и дополнительных экскурсий у них не бывает, но зато по несколько групп в день. Это ободряет, хотя и утомительно порой до крайности изнурения. Я сейчас думаю, что если так будет вообще, то не задержаться ли мне недели на две-три, чтобы выполнить здравый практический совет, который дала мне Ипси: заработать денег. Но, в общем, посмотрю, как будет дальше. Если все пойдет нормально, то к 10 июня я - иншалла! - соберу и пошлю девочкам руб. 80-100 (за два месяца); к 20 июня - иншалла! - выплачу долг Альке 85 руб.; к 30 июня - иншалла! - соберу на билет и выеду в первой декаде июля. Кроме того, хотелось бы - иншалла! - рублей 300 привезти домой. Но все это планы или по Гамлету “*words, words, words*”.* Посмотрим, как говорил один слепой.

Мой предстоящий отъезд вызвал некоторый ажиотаж или, как Алька выражается, “оживляж”. Вчера у меня был председатель облсовета по туризму с предложением занять должность ст. методиста у них в Ургенче. Сегодня со мной говорил секретарь здешнего райкома все по тому же делу, чтобы я не уезжал, а остался. Ну, разумеется, обещания квартиры, оплачиваемой хорошей работы и пр. Все это я отклонил, правда, с благодарностью, но сказал, что я один, что я намерен связать свою жизнь с тобой, ну все в таком роде. Секретарь посоветовал мне уговорить тебя приехать сюда с обещанием хорошей квартиры под твердое нерушимое слово. Я поблагодарил и отказался. Тогда мне выразили пожелание не терять связь с Хивой и с Хорезмом и в случае чего дать знать, если мне захочется сюда опять.

* (англ.) - “слова, слова, слова”.

Сейчас в особенности я слышу о собственной персоне много всяких разговоров. В них есть общее и повторяющееся мнение, что я - фанатик Хивы. Стараюсь принимать данное определение в лучшем смысле, но внутренне протестую, потому что это мне не подходит. Фанатизм - это приверженность к чему-нибудь или к кому-нибудь вслепую, без размышлений, без сомнений, безо всяких лукавых умствований. А я никогда таким не был ни в чем...

4.6.1974.

Есть!

Дорогая и уважаемая душенька! Я, Крячко Борис Юлианович, русский, беспартийный, образование высшее, рост высокий, брюнет, молод (44 года всего лишь), симпатичен собой, холост, свободен и пр., прошу тебя быть моей женой. Прошу пока в письменном виде, но вскоре приеду и сделаю предложение лично и торжественно (если не засмеюсь на радостях)...

Милая галочка, здравствуй. Сегодня возьму у Эгам домовую книгу и отдам паспорт на выписку. Самое главное я сделал, а дальше уже дела второстепенные, текущие.

Мой родной дружок, если ты хочешь, если тебе надо, чтобы я ехал сразу, это скажи только слово, и я не стану задерживаться. Средства на дорогу у меня вот-вот будут. Из заповедника мне последний раз платили зарплату за март месяц, а больше ничего не было. Поэтому мне приходится полагаться только на экскурсии. Но самое плохое уже позади. Сейчас у меня есть деньги....

6.6.1974.

Была большая отличная восьмичасовая экскурсия.

Целую мою родную галочку Ингрид.

Боря.

Мой ангел и душенька!

Я в Ургенче. Пока Эгам пишет сочинение, я скопировал со стенгазеты этот праздничный текст на англ. яз.* Он мне очень понравился, в чем-то напоминая английский диктант Наполеона Бонапарта. Улыбнись, душенька, это очень занятно, как и предложение маленького Копперфильда "2 work for Dick".** В восточном понимании английский язык - явление весьма любопытное. Тер-

* Видимо, еще первомайский.

** "2 work for Dick" (англ.) - "2 работы для Дика". Из "Давида Копперфильда" Чарлза Диккенса.

минология гораздо шире, чем ее понимают сами англичане. Ну, к примеру, что такое “sex”, ты знаешь. Но вряд ли ты представляешь, что в твоей квартире хороший паркетный sex.

Сижу в пустой аудитории. На доске мелом начертан сумбур арабизмов, латинизмов и славистики. Есть и по-английски. Мелом написано: “*I love you*”. Что касается тебя и меня, то написанное - истинная правда...

10.6.1974.

1974 (14.6 - 19.6)

Бухара

Кому надо, то узнает и в гробу...

Душенька, здравствуй!

Пишу тебе из редакции газеты, с того самого места, где я привык писать тебе прежде, когда вычитывал по ночам газету во время дежурства и в рабочее время. Здесь ничего не переменялось: ни люди, ни обстановка, ни предметы на столах. Так что я пишу за “своим” столом, пишу “своей” ручкой, пью чай из “своей” пиалки.

Увиделся с девочками. Не видел их я около семи месяцев и столько же они меня. Если бы я в самых лучших представлениях воображал, как я их увижу, все равно не угадал бы. Пришел в садик после тихого часа, когда они ели кашу. Стал, смотрю, ишу родные головки, нашел, стою молча. Нинуся положила ложку и объявила сразу всем так спокойно, словно я к ним каждый день прихожу: “Мой папа пришел”. Потом побежала ко мне, и мы с ней стали облизывать друг друга. Верушка меня увидела позже. Тоже побежала, но на полпути остановилась, по-видимому, моя борода ее смутила. Но потом все сомнения рассеялись, и я был счастлив, слушая их маленький быстрый наперебой лепет. Они потащили меня к ребятишкам, и Нина всех их подряд мне отрекомендовала, называя по именам. Возле одного мальчишки остановилась и сказала: “А вот он говорит, что у меня нет папы. А я говорю: есть. Вот теперь смотри. Это мой папа”. Душенька, я с трудом удержался, чтобы не зареветь.

Какие они славные, нежные, милые. Как сладко они обнимают и целуют. Как стишки рассказывают и песенку поют: “Представьте себе, представьте себе, - кузнецик...” Я с ними ходил до закрытия садика. Потом пришла А.А., ну тут и началось. “Здравствуй, Аня”, - говорю. Молчит. “Как живешь?” - спрашиваю. Отвечает: “Не твое дело”. Ну все так. Много не поговоришь. Пришли с

детьми домой, тут она и поехала. Наслушался я всего, вижу, что конца не будет, хотел уйти - девочки плачут и не пускают. Тогда я их взял во двор, и мы допоздна гуляли с ними. Они уже почуяли такое дело, и стали говорить, чтобы я никуда не уходил от них, чтобы я с ними спал и ходил в садик. Я им сказал, что я теперь живу в другом доме и что мне на работу, и что я завтра опять приду к ним. Они подумали об этом своими зелеными головками и согласились, обещав мне больше не плакать, когда я уйду.

Угадав и признав меня сразу, они потом вспомнили меня по частям: длинные ногти у меня на мизинцах, трубку, перстень. Очень их удивила моя борода и усы, бороде они мне крепко истрепали. Вера все носила трубку, Нина перстень. Мне советовали побриться, чтобы меня дети узнали. А видишь, бриться-то и не пришлось, кому надо, то узнает и в гробу...

14.6.1974.

...Пришел домой, т.е. к Славе, в половине двенадцатого ночи, где уже легли спать, решив, что я заночевал где-то на стороне. Душенька, я живу у Славы, моего давнишнего друга. Он крестил моих девочек, а его мать доводится мне крестной. Больше я нигде и ни у кого не остаюсь. Квартира у меня в Бухаре по ул. Текстильной, а дом в Таллине.

Завтра А.А. едет в командировку в Ташкент на сутки. Мне надо будет взять Веру и Нину из садика, погулять с ними и отвести их на ночь к Кларе Николаевне (корейка, подруга А.А.).

Надо еще будет сходить проведать Сергея Николаевича, намечаю это на ближайшие день-два...

15.6.1974.

...Сплю я у Славы во дворе в саду. Ночью падают яблоки и стучат меня сонного, но не беспокойно, а скорее приятно. Воздух чистый и прохладный по ночам (днем еще до 40 жара не дошла), а на воздухе, как я тебе скажу, высыпаешься быстро и здорово. Просыпаюсь утром часов в 6 и слушаю гомон нового дня с полчаса, - гомон кур, индеек, воркотанье голубей и щебет птиц. Хорошо.

Позавтракав, я уйду, чтобы явиться к ночлегу. Теперь мне завтра ехать. А послезавтра я уже буду - иншалла! - у тебя...

17.6.1974.

Милая душенька!

Сегодня последний день в Бухаре. Пока еще никуда не ходил. Сейчас напишу тебе письмо и пойду к девочкам... Утром вылетаю в Ургенч.

18.6.1974.

...К полудню устроился в гостинице... Потом поехал в Хиву... Прошелся последний раз по городу.

Душенька, сегодня в особенности страшная жара 42°...

С Верушкой и Нинусей простился сутки назад...

...с завтрашнего дня мы с тобой будем вместе.

*19.6.1974.**



Борис Крячко и Ингрид Майдре в парке Кадриорг.
Таллинн, начало 90-х.

* Закончился среднеазиатский период жизни Бориса Крячко.

1974 (31.7)

Таллин

Твой возлюбленный, твой муж...

Милая душенька!

...Желаю тебе жить с мужем в любви и согласии, пока смерть не разлучит вас. <...> И не сердись сильно, если я все же доставил печаль либо досадил тебе когда-нибудь. Это нечаянно получалось...

Твой добрый неудачный волшебник,
твой мистификатор,
твой мальчишка,
твой возлюбленный,
твой муж -

- Б. Крячко

31.7.1974. *

1975 (22.9 - 18.12)

Таллин

Котельная душу из меня вынула...

Странно себя чувствовал на берегу: чужим

Сегодня писал ночью...

...Когда ты позвонила, я растерялся спросонья и как-то не мог даже сообразить сразу. А во-вторых, ты же знаешь, что по телефону я говорить не умею, только мычу и смущаюсь. Только и того, что рад был узнать о твоём благополучном устройстве.** Спасибо тебе - я был целых двое суток покоен и беспечен, насколько можно быть в моем положении.

Вчера пришел из ночной смены.*** Сегодня и завтра выходной... Хочу постирать, что набралось грязного, и прибрать немножко в комнатах. Ты знаешь, я между сменами только и успевал, что сходить в магазин, а больше ничего. Оно и можно бы, да вот эти проклятые курсы - каждый день 2-3 лишних часа отнимают. Но это все пустяки...

...Экзамен мне зачли. Кроме того, было собрание (но я не присутствовал из-за занятий), и меня выбрали редактором газеты (стенной). Ну, поглядим, что из этого выйдет. Может, и ничего вовсе...

* Дата регистрации брака. Теперь, более чем через 30 лет, когда смерть разлучила их, эти слова действительно снимают все "нечаянные" обиды и временные печальные размолвки. Их чувства выдержали все житейские испытания. И продолжают жить в этом эпистолярном любовном романе. Он развивается...

** Ингрид в Москве на курсах повышения квалификации.

*** Б.К., как многие интеллектуалы того времени, стал чернорабочим, устроился в котельную; это до самой пенсии его постоянное место работы, тяжелой, изматывающей работы на износ. Но и новый источник сюжетов.

...Звонил сегодня Боря Штейн* из Союза писателей, приглашал через неделю на разбор какой-то пьесы, не знаю чьей. Если время позволит, пойду послушать...

22.9.1975.

Свет-душенька!

...Сегодня у меня трудный день. Работа с 15.30 до 23.30 и завтра с 7.30 до 15.30. Так что дома только переночую и - все. С утра был в магазинах, потом готовил манную кашу из 2-х литров молока, кисель из яблок, картошку пожарил с грибами и салат овощной сделал. Так что после всего этого мне захотелось отдохнуть, и я не пошел на занятия, а лег и два часа с половиной спал. А потом поехал на работу...

...Дела на работе прилично идут. Понемногу разбираюсь в деталях этой водогрейной кухни. Когда закончатся курсы газовщиков (где-то около 15 октября), начнутся курсы котельщиков. Так что мне учиться, верно, до конца года...

25.9.1975.

Моя радость, душенька!

...Утром встал в 6 час., как всегда. Поел. Уходя из дому разбудил детей: одну на работу, другую в школу. На работе часа три занимался чисткой котла. Теперь скоро ехать на занятия, и мне надо торопиться с письмом тебе, чтобы по пути опустить в ящик. Буду идти с занятий домой - зайду в магазин за творогом, сметаной, крахмалом, молоком, хлебом. Дома сделаю, наверное, борщ на скорую руку, полью цветы и буду спать до 6 утра.

Сегодня получил документ, что я, дескать, уже готовый машинист. Скромно его принял и сердечно поблагодарил за профессиональную оценку моих способностей авансом. Я ведь еще мало что умею. Моему напарнику обожгло здорово бок. Струя пара вырвалась и ударила его в правую сторону корпуса. Пробила одежду и захватила тело. Я смотрел. Страшновато, когда живое мясо сварят. Слава Богу, что край захватило, чуть-чуть, дешево отделался. Облезет кожа, как на моей хивинской змее, и все...

Заходил ко мне на руботу В.А.** Ну ты знаешь, тот, которого ты так хорошо передразниваешь по-эстонски. Он разошелся с женой. Черт знает что такое. Брак продолжался у них полгода. По-французски: первая женитьба пробная...

26.9.1975.

* Борис Штейн, писатель, жил в те годы в Эстонии.

** Даем только инициалы.

...Галочка, цветы в порядке, поливать их я не забываю. Но поистине много времени забирает мытье посуды. А с курсами прямо не знаю, хоть бросай. Мы теперь занимаемся практикой на "Пунане Койт".* Писать вовсе некогда. Так что "Певческий праздник"** ждет лучших дней. У нас в котельной обожгло еще одного слесаря. От сильной вольтовой дуги на нем загорелась одежда. Потушили вовремя, живой, только в больнице теперь лежит. Тоже удачно обошлось, более-менее.

У меня теперь много бумаги. Несколько дней назад в котельную приходил В.А. и принес мне полторы пачки. Пиши - не хочу. Жаль, времени не хватает...

27.9.1975.

Милая душенька, родная милая галочка!

Собирался писать тебе через 3 часа, а пишу через 23. Очень был уставший, да и дел в котельной много. Но так или иначе, а принцип соблюдается: пишу один раз в день.

Сегодня был дождь, а к вечеру поднялся сильный ветер, даже идти трудно. Ветер для пенсионеров. (Один пенсионер: Иван, пойдем завтра к женщинам? Другой: Пойдем, если ветра не будет.)

Дует всюю. Каштаны осыпаются с деревьев, ударяются с мягким звуком, зеленая колючая оболочка раскалывается сразу, а блестящие коричневые шарики катятся по тротуару под ноги. Послали меня закрыть ворота котельной - еле-еле закрыл. Ветер. Потом в помещении машинного цеха стали лететь стекла из окон, и опять пришлось закрывать окна и крепить проволокой. Так прошло 2 часа. А сейчас 2 ч. ночи...

[28.9.1975.]

Родная милая галочка.

Проводил я тебя вчера и остался один. И такая на сердце печаль легла, что домой сразу идти не мог, а зашел на час к Гал. Ал. Каллас.*** Потом пришел и лег спать пораньше, чтобы утром на работу идти.

* Название текстильной фабрики.

** Видимо, рассказ. Не обнаружен.

*** Галина Алексеевна Каллас (1912-1982) была удивительным человеком. На заводе "Вольта" (электро- и радиотехнических приборов) числилась "разнорабочей", то ли маляром, то ли художницей, то ли добровольным организатором вечеров-встреч с поэтами и писателями. Но "держала салон", где проходили неофициальные, почти тайные сборы, у себя дома, в комнатухе старой деревянной постройки барачного типа. Здесь соседствовали полки с книгами, картины, пишущая машинка, на которой

Утром встал с головной болью и с температурой. Уже было оделся, как вдруг случился со мной такой приступ озноба, что я лег на кровать и дрожал всем телом, и стучал зубами, и удержаться не мог. Недолго все продолжалось, минут пять всего. Но из меня за пять минут вся сила куда-то подевалась. Так что я дошел до телефона от кровати и позвонил на работу, что не приду, разделся и лег.

Весь день прошел так: проснусь-усну. В 10 ч. вечера (через сутки!) поднялся и стал писать сочинение для Ипси. Написал хоть и с трудом: голова прямо-таки как не своя. Теперь пишу тебе.

Радость моя. Ты не огорчайся и не волнуйся. Все будет хорошо. Только прости, что я писать много не могу. А так я по-прежнему вечно твой и крепко тебя люблю.

*Бомочка.
14.10.1975.*

...Как хорошо, что ты все купила. Я не смог бы пойти в эти два дня никуда. А завтра, может, уже смогу. Надо сходить в поликлинику тоже. И в С.П. (Союз Писателей - Ред.)

перепечатывался самиздат, переплетный станок (благодаря чему распространялись такие произведения, как "Раковый корпус")... Она скрывала свое происхождение, так как была дочерью адмирала Алексея Михайловича Щастного, расстрелянного по приговору революционного трибунала в июне 1918 года. За "государственную измену", а по сути дела - за подвиг, который получил наименование Ледового похода. Щастный спас остатки русского флота, выведя военные корабли из Ревеля - через льды Финского залива - в Кронштадт. В то время, как по условиям Брестского мира Балтийский флот (более 200 кораблей) был обещан Германии, а по секретной директиве Троцкого - суда нужно было взорвать... Обо всем этом стало известно только в годы "перестройки", когда появились в газетах мемуары о руководителе Ледового похода. Приятельница Г.А. Каллас, бывшая гулаговка Т.П. Милютина, "нарушила обет молчания", когда Г.К. уже не стало. В 5-м номере "Вышгорода" за 2002 год опубликован ее очерк "Дочь адмирала".

Борис Юлианович Крячко входил в круг "посвященных" и считался - конечно, среди разношерстной публики - абсолютно "своим". До тех пор, пока одна бытовая ситуация не развела их временно и Галина Алексеевна не перестала его "принимать", однако позволяя, чтобы ее навещала Ингрид Майдре... Но это - для другого романа... Сам Б.К. в 1978 году частично использовал "салонный" сюжет с узнаваемыми для общих знакомых прототипами в рассказе "Гены" ("Вышгород" 5, 2002). И, как всегда, раздаривал копии рукописи, нимало не заботясь о последствиях...

А цветок сегодня распустился бело, нежно и с изяществом. Гадкий утенок стал лебедем. Очень красивая стрелка...

15.10.1975.

Милая душенька!

Пишу тебе из котельной. Теперь я в новой смене, не у Вадима. Перезнакомились. Начальника смены зовут Толя, его помощника - Сергей, а меня - Борис. Ругать меня за прогул пока еще некому, нет никого из администрации, но ребята говорят, что - пустяки, мол, и все в порядке.

Я тебе в прошлом письме поплакал в плечико, а потом пошел и писал до 8 утра. Вот говорят же: "Плачь, плачь, Муза слезы любит, если не в полночь, так к утру". Написал страницы три чистого хорошего текста к "Празднику", и сам доволен. Впрочем, самодовольства мне хватит ненадолго, дня на два от силы, а потом буду вычеркивать и править, как Э.Я. говорит: "Одно слово напишет, а десять вычеркнет".

Отнес сегодня четыре вещи в С.П. Штейн сказал, что 27 окт. в 19 ч. вечера буду читать свои рассказы на секции. Какие? - пока не знаю. Будь моя воля, да нету, наверное, не дадут. <...>

...Дома появились мыши. Ставил мышеловку. Одну, большую, поймал днем. Еще две поменьше ночью. Последнюю было жалко: ей прищемило до крови лапку, она сидит и громко тоненько плачет: "пи-пи-пи", что значит "помогите! пустите! я больше не буду!" Жаль. Но что же делать, когда человек с природой бывает в ссоре? От огорчения взял Бёрнса и прочел стих "О гнезде полевой мышки, которое поэт разорил своим плугом".* Помнишь ли, мы как-то вместе с тобой его читали. Очень печальное стихотворение. Как молитва во искупление греха...

16.10.1975.

Милая душенька.

Сегодня мне настолько лучше, что я с утра занялся делами. Пошел, прежде всего, в поликлинику, где мне объяснили, как надо болеть приличному советскому гражданину: вызвать врача на дом и в первый же день обеспечить бюллетенем, а не приходить за ним спустя двое суток. Так-то! Выходит, я, болван, и болеть до сих пор не умею как следует.

* В переводе С. Маршака "Из Роберта Бёрнса" - "Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом".

Потом сходил в магазин и на почту - послал письмо и "Симпозиум" Ел. Влад.* <...>

Вот напишу тебе и сварю крепкий кофе. А завтра отнесу рукописи Боре Штейну. Господи, дай мне силы, время, глагол. Ведь у меня ничего не выходит, даже попытка всякая прерывается, даже выходной идет вверх ногами: все прерывается, пресекается и - ни-че-го, как ты говоришь.

Как подумаю, что еще один день пропал, а котельная душу из меня вынула, и я не могу ни думать, ни писать - такая досада. Ну ладно. Все будет в порядке. Только ни о чем писать не могу, настроение дрянь дрянью.

16.10.1975.

...Меня все еще никто не ругал за прогул. Может, забудут. Пришел я сегодня на работу, а тут оживление: все в ажиотаже - толкуют, что, мол, на 100 р. не проживешь и т.д. А я, глядя на свои 40 руб. помалкиваю, опасаясь, как бы еще и этого не лишили. Через три дня намечают собрание (открытое партийное). Узнаю, - если можно не ходить на него, не пойду.

17.10.1975.

...Сварил детям кашу *hirss*** и борщ (консервы). Ипси хорошо ест кашу, а Неле - хорошо ест борщ. Стирки набралась целая куча. В выходные дни будет чем заняться.

Родная моя галочка. Неделя всего, как ты уехала, а мне кажется, будто месяц. Теперь я тебя уже с нетерпением жду, по крайней мере, недели через две. Соскучился.

...А еще тебе привет от Каллас. Сегодня у меня такой день утомительный. И в котельной много было дела. Пишу тебе в спешке в рабочее время. Домой приду часу в 6-ом вечера, а в половине одиннадцатого вечера опять идти...

19.10.1975.

...Вчера звонил Штейн. Во-первых, пригласил меня от писательского союза выступить перед рабочей аудиторией о литературе. Я отказался, т.к. это неавторитетно: какой я писатель? кто меня читал? где печатали? - никакой, никто, нигде. А во-вторых, сказал, что хоть читка моих рассказов и состоится, однако придется сделать купюры во всех вещах, а "Симпозиум" вообще снять. Все прави-

* Рассказ "Симпозиум", вошедший в сборник "Битые собаки" (Таллинн 1989), Б.К., видимо, отсылал тогда в какое-то издание. Но впервые опубликован в журнале "Таллинн" № 2 за 1988 год (как и "Мясная лавка").

** *hirss* (эст.) - пшено.

льно, так я и знал. Так что, как видишь, только и остается общая оценка в виде наполовину оборванных слов: “Изуми...! Великоле...! Блестя...!” А что мне с того? Писать хочется - времени нет. И еще: “Нельзя же, - говорит, - так прямо в лоб”. Словно я это нарочно. А ну их совсем! Когда будет читка, напишу тебе...

22.10.1975.

Мой друг, - верный и нежный, я получил твое письмо и счастлив тем, что ты все это так же переживаешь, чувствуешь и разумеешь, как я. Это очень важно, то есть так важно, что без этого мы были бы не мы. А Неле говорит, что ты вовсе не чувствуешь того, что я чувствую к тебе, что я - человек чувства, а ты - человек рассудка, и будь это не так, ты не уехала бы в Москву. И еще тоже говорит, что ей непонятно, как можно писать письма каждый день, зачем и о чем? Я пробовал дать ей понять, что таким образом строится ощущение, что ты никуда не уехала и что я разговариваю с тобой всякий раз. С другой части, мне охота создать у тебя постоянное впечатление, что ты дома, что ты знаешь обо всем, что у нас делается. От этого бывает душевное спокойствие, хорошее настроение и состояние, больше становится сил и желания к делу...

...Видел во сне папу. Вернее, как будто получил от папы письмо. Он пишет, что он находится в тюрьме и будет там еще два года, а потом не знает, куда ему ехать. А у меня мысли: “Как же так, я считал, что папа умер давно, а он всего-навсего в тюрьме. Какое счастье, что он жив”. Ну, понятно, сажусь сразу же и пишу ему. Слова ложатся на бумагу со скоростью мысли и речи, а речь у меня вышла такая: “Милый папа, я так рад, что Вы живы, так счастлив. Когда Вас выпустят, сразу же приезжайте ко мне. Я Вас жду и всегда люблю и никогда больше не доставлю Вам огорчений. Вам будет хорошо. Я сейчас женат, жена у меня славная, я люблю ее и она меня тоже, и я очень счастлив”... Тут мое письмо перебивается, словно папа стоит сзади меня и читает через плечо, и говорит: “Я знаю”. Я проснулся, и полдня папин голос звучал у меня в ушах, и это было радостно. Но я понял, что это всего только сон, и оттого было печально...

23.10.1975.

...Сегодня звонили от Каллас. Приехали из Ленинграда к ней двое, один из них пишет. Сегодня будет читать. Меня приглашали, но я не смогу, работаю. Боже мой, галочка, как хорошо, что ты занята своим любимым делом.

Мне бы хоть недельку так без забот других, хотя бы немножко. Так писать надо, так надо. И в боку болит, будто торопит: Пиши. Пиши. Время идет. А как писать, когда никакой возможности. Все выходные наперед расписаны. И усталость берет. Если мне удастся через полгода написать “Праздник”, буду считать, что это удача. К Каллас я захожу один раз в 8 дней, т.е. в последний выходной день на 2-3 часа, а больше ничего не выходит. <...>

На работе у меня все слава Богу. Теперь я ответственное лицо, - сдаю и принимаю смены официально, под роспись. Но писать здесь рассказы или очерки нельзя. Много дел, часто приходится отрываться и переключаться на совсем другое. Это плохо. Поэтому я здесь либо тебе пишу, либо читаю Жюль Верна по-французски.

Следующая смена жесткая. Спать - всего пять часов. Приду домой за полночь, уйду из дома в шесть с половиной утра. Но не беда, потом отосплюсь, как у Чехова: “Мы отдохнем, мы отдохнем, дядя Ваня. Мы увидим небо в алмазах” и т.п.

Послезавтра мне читать в СП. Немного переживаю, волнуясь. Что мне позволят читать? Отрывки? Выжимки? - не знаю. Потом напишу тебе подробно, как все это выглядит...

25.10.1975.

Моя прекрасная галочка!

Моя возлюбленная, верная, нежная и желанная! Я не смог тебе сразу написать, потому что не спал 29 часов подряд. Поэтому должен был выспаться сначала и только потом сесть за письмо...

...Читка моя прошла хорошо. Было человек пятнадцать. Мне сказали много дифирамбов и мало критики. “Симпозиум” разойдется, наверное, в списках. Читал его - стоял хохот и потом минут десять не могли успокоиться. Боря Штейн советуется с собратьями из СП, что ему со мной делать. Говорит, что включит в следующий альманах. Ну, посмотрим. “Такого обсуждения у нас еще не было” - это резюме, конечно, приятно, а что с того? Все так же. А слов хороших я слышался в досталь раньше еще.

Познакомился я с одним парнем из Ленинграда. Пишет. Талантлив на редкость. Больше чем я. Но злой, колючий и ядовитый, как скорпион. Думается, что ежели у него все вещи такие, как он читал (три рассказа), то у него и конец будет как у скорпиона. Потому что, коль скоро читателю охота пойти и повеситься от такой изобрази-

тельности, то автору тем паче. Расскажу тебе подробнее, когда приедешь...*

28.10.1975.

...На выходные дел собралось - куча. Надо хоть к твоему приезду прибраться, чтобы по-божецки выглядела наша пещера и чтобы тебе было приятно.

...Сегодня утром звонил Штейн. Завтра приезжает группа писателей из Москвы. Мне сказано собрать свои рукописи по Востоку и принести в СП. Что будет дальше - не знаю. Сейчас вот напишу тебе и сбегаю к Каллас за рукописью, которой я у себя не обнаружил. А завтра утром отнесу в Союз...

29.10.1975.

...Поскольку весь день прошел у меня во сне, то и новости могу тебе рассказывать из сна. Видел маму - мою Нину Кузьминичну. Видел море в дождливую погоду и купался в нем. Я ведь не купался наяву лет, верно, 17, так что было бы преступно упустить такой случай во сне. Вода была теплая, будто подогретая, плавалось легко и свободно, а волны мягко меня качали и обдавали лицо солеными брызгами. И запах все время такой свежий и чуть-чуть капустный. А на берегу никого нет. Скальный серый пейзаж. Дно под ногами не песчаное, а из острой гальки (*pebbles*), а это ты, конечно, знаешь, очень больно и неудобно. Так, то есть, неудобно, что лучше плыть, чем ходить ногами. И к берегу я плыл с большой неохотой, и странно себя чувствовал на берегу: чужим. Вернее сказать, односторонне чужим, словно бы я есть всегда у всех и для всех - у Верушки с Нинусей, у тебя, у Саши с Володей, у Ипси - у всех, говорю. А у меня - никого. Даже тебя. Что-то случилось. Не знаю только, что?..

13.11.1975.

Родная моя галочка!

...Поспорили шутя с Ипси за твою цветную фотокарточку, она мне не хотела отдавать. Но я ее убедил, сказал, что ты мне ее сама подарила и даже надпись сделала карандашом сначала в прозе: "Дорогому Бомочке от любящей Душеньки", а потом в стихах

* О ком речь, неизвестно, может быть, о Довлатове, т.к. в это время в письмах встречаются имена, входившие в круг общения как того, так и другого. Например, Котельников, у которого, по воспоминаниям бывшего главного редактора издательства "Ээсти раамат" Акселя Тамма, при обыске на квартире изъяли довлатовскую рукопись "Зона" ("Вышгород" 6,97; интервью с Акселем Таммом "Сергей Довлатов эпохи пяти углов").

- 1) “Люблю сердечно, дарю навечно”.
- 2) “Кого люблю, тому дарю”.
- 3) “Если любишь, то храни,
А не любишь, то порви”.

Но лучше всех четвертый стих

- 4) “Если встретиться нам не придется,
Если наша такая судьба,
Пусть на память тебе остается
Молчаливая личность моя”.

Ипси карточку отдала, но сказала, что все стихи наивные и глупые, и не похоже, чтобы ты так писала. В общем, мы повеселились с ней от души.

Сон о плаванье мне так и не приснился больше. Вместо моря приснился генерал де Голль и толпа французов. Вот так.

Привет тебе от Каллас. Был у нее по пути домой. Она ждет сына из армии. (А я жду тебя насовсем из Москвы.) Новости же такие: у В. А. взорвался котел. Он сейчас в панике и неизвестно где находится. Вечером позвоню в котельную, спрошу у Вадима, может, он знает.

Наконец-то сегодня нам стали читать дельный и нужный материал о котлах, о топливе и о пр., - то, что надо. А то ведь целую неделю воду в ступе толкли.

Дома все слава Богу. Душенька, милая возлюбленная душенька. Сил не хватает без тебя. Скучаю страшно. Ипохондрия, сплин, упадок настроения. Всегда жду тебя. Хотя бы скорее кончалась эта квалификация, ну их всех в болото. Я их всех там ненавижу, только одну тебя люблю.

Завтра, т.е. теперь сегодня, последний день занятий перед выходными. Отдохну. Ничего делать не буду. Может, напишу...

14.11.1975.

...Ну, душенька, снег валит! Я пишу тебе в комнате Ипси и гляжу в окно. Снежинки величиной с кулак, а падают тихо-тихо и немного кружатся. У Рахманинова есть романс:

“Мы - снежинки, нас так много
И летим мы все от Бога”.

Очень веселая погода...

...Вот Ипси пришла из школы свежая и румяная, как яблоко. У нее сегодня был зачет по клавиру - 5.

Теперь схожу в салон. Хочу переписать для Ипси на день рождения ту пленку, что ей нравилась в исполнении американского симф. оркестра “Классическая музыка

для семнадцатилетних”. А заодно и для себя кое-что из Высоцкого.

Сегодня писал ночью. Такая чепуха получается. Не идет. Промучился до 4-х час. утра и лег спать злой...

18.12.1975.

1976 (7.8 - 20.08)

Таллин

**Не хватает, во-первых, тебя,
а во-вторых, сесть за рукопись...**

То к котлу, то к насосу, то к прибору...

...Сегодня Сережа из нашей смены уходит в отпуск и дает по этому случаю банкет, состоящий из бутылки вина и бутылки водки. У меня, разумеется, чай. Сейчас они еще за щитами, а я пишу тебе...*

7.8.1976.

...Кроме всего этого еще одно: с каждым днем все сильнее чувствую, что надо писать. Как голод. И люди, родившиеся моей волей и милостью, во сне меня спрашивают: “Что же ты так, хозяин? Бросил нас?” Нехорошо себя чувствую. А что делать? Надо хоть немного, хоть к твоему приезду что-то сделать. Хотя бы постирать. Хотя бы постилки выбить, да плетенки помыть...

8.8.1976.

...Ровно месяц с тех пор, как я написал последний раз последнюю строчку своей незаконченной повести. Очень удручен и огорчен; тем более, что писать хочется и надо писать. Эту надобность ощущаю с каждым днем, она очень близка к тому градусу, когда я отложу в сторону все заботы и никуда не встану от стола. Меня сейчас еще удерживает непочатый край работы дома, а она подвигается так медленно, что конца не видно. Что будешь делать? Галочка, ты прости, пожалуйста, но я чувствую злость и раздражение, хотя в этом абсолютно никто не виноват, кроме меня, да моей усталости, да моего гадкого настроения, да отвратительного сна с перерывами. Черт возьми, что-то такое у меня вроде нервов. Нехорошо. Надо бы задний ход. Мне для этого не хватает, во-первых, тебя, а во-вторых, сесть за рукопись...

10.8.1976.

* Ингрид с младшей дочерью Инес в Пярну.

...Со мной беседовали сегодня, не хочу ли я вступить в партию. Ответил, что не хочу. Причины выставил три: 1) староват; 2) вполне доволен положением и не собираюсь делать карьеру таким путем; 3) не люблю ходить на собрания...

17.8.1976.

Душенька. Я все время спал и больше ничего. И сейчас после ночи спать хочу. Не написала ли ты письмо Джейн? * Надо написать, а то ведь нехорошо. Я тоже написал бы ей страничку. Вообще-то я и сам порядочный поросенок: не писал еще Маршаку, ** а надо бы хоть за книгу "спасибо" сказать.

Просто не могу взяться за письма. Любое письмо, кроме твоих, кажется мне нарушением этики, когда рассказ не пишется. Ну, авось.

Сегодня ночью пробовал писать. Да разве это работа, если поминутно дергаешься то к котлу, то к насосу, то к прибору. Одно расстройство.

19.8.1976.

...Зашел ко мне мой давнишний приятель еще по салону Серг. Николаевича в Бухаре - Паша Флоренский. *** Помнится, что я тебе о нем рассказывал. Сейчас он едет на Сааремаа в н/командировку и проездом заглянул ко мне. Мы с ним очень приятно поговорили два часа и я даже немного (5 минут) опоздал на работу в ночную смену...

20.08.1976.

1979 (1.6 - 25.7)

Таллин

И сам я точь-в-точь коршун над степью...

...Все время работаю днями и устаю. Прихожу домой вовсе как побитый палкой, ложусь спать и не успеваю до утра отдохнуть. Котельная на ремонте и все мы заняты тяжелой работой: чистим, грузим, носим. Дома у меня не хватает сил заняться делом: кругом грязь - белье, посуда, пол, ковры, - воды горячей нету, словом, кавардак сплошной. И устал, устал.

* Одна из английских приятельниц Ингрид.

** Видимо, сыну С.Я. Маршака.

*** Имя Флоренского - среди тех, кто навещал в Бухаре в 70-е годы прошедшего лагеря ссыльного археолога Сергея Николаевича Юренева, реального персонажа романа Б.Ю. Крячко "Сцены из античной жизни". "Приезжал Павел Васильевич Флоренский, профессор и внук прославленного автора "Столпа" и "Обратной перспективы", а с ним орава студентов-нефтяников" (Борис Крячко. Избранная проза. Таллинн 2000, с. 91).

Только что пришел с работы и узнал от Ипси, что они будут в Пярну ехать, и вспомнил, что ты любишь мои письма, что тебе, может быть, тоже утомительно и трудно и пр. Ну, и решил несколько строчек послать тебе. Все, что у меня на сердце к тебе, ты знаешь; что сказать хочу - знаешь; по ком скучаю и о ком думаю - тоже знаешь. Галочка, ну до чего же ты умная женщина, все знаешь, просто гений, чудо и прелесть.

Приезжай. Не печалься и не сердись. У нас с тобой все хорошо...

1.6.1979.

Мой ангел, родная моя Душенька!

Получил от тебя вчера письмо. Был рад так, словно я в Хиве или в Бухаре его получил. Волновался и думал и скучал по тебе. И разговаривал с тобой по телефону, как сумасшедший, - второпях и возбужденно. Ты мне показалась очень моей, только уставшей и немного растерянной. Я тебя сильно люблю. Отдохни, моя галочка, хотя бы от моих слов, если работа мучает.

Я жив и здоров. Дома - слава Богу. Подстригся и похож опять на одного хивинца из 1972 года, который как влюбился в тебя, так и до сих пор влюблен. Цветы твои, галочка, поливаю, газеты из ящика беру, а писем ниоткуда не было. Выходные все прошли в письменном виде. Часов с 7 утра начинал и к 7 вечера бросал. Когда голова уже не работала. Очень странно себя чувствую с обалдевшей головой: простые вещи предстают сложными, квартира приобретает театральный вид, а все написанное мной кажется неумным, беспомощным и из рук вон плохим. Тогда мне плакать охота и я ложусь спать со скверными мыслями бросить все к свиньям собачьим и ничего не писать. А утром - по-другому. Гляну раз - дыхание перехватило, и душа в небо взвилась, и руки окрепли, и мысль нашлась искомая, и сам я точь-в-точь коршун над степью добычу высматриваю. "Журналиста" все это время правил и переписывал. Хочу как получше, а там уж, - как Бог даст. Выбросил вялые места и всякие красавости, убрал постороннее и к делу не относящееся. Я-то понимаю, что ни идея, ни образ не должны болтаться в воздухе, - их надо заземлить; все чувства и мысли не должны быть безличными, а принадлежать автору или персоне, тогда только фальши не будет. Это я и раньше знал, а вот поди ж ты, - никак не удержусь, заносит меня, понимаешь, как сани на повороте, и выходит частенько глупость. А это такая штука противная, что видна только по

свершении, *post-factum*, день-два спустя. Ну, и опять все идет заново. Вероятно, я не успею закончить до отпуска, а хотелось бы, да спешить нельзя.* Такие вот дела у меня липовые.

Заказал два билета на 7-е августа Таллин - Ташкент - Бухара. До Ургенча брать ежели, то ждать придется до 10 августа. Это много времени. А за билетами мне 28-го числа идти. Надеюсь, что к этому времени Ипси привезет паспорт...

Ребята сильно пьют. Последнюю ночь до утра пили. Толик рассказывает: "Сел в троллейбус и уснул. Слышу, - толкают. "Вставай, - говорят, - товарищ начальник. Приехали". Я глаза протер, гляжу - Мустамяэ. Где сел, туда и приехал".

Я тебе не сразу написал, потому что в доме ни одного не было конверта и купить было уже поздно. Сегодня с утра я достал на работе конверт и с радостью спешу тебе сообщить, что бесконечно тебя люблю, соскучился, жду, обнимаю и целую крепко. Будь здорова и весела. Помеьше уставай. Больше отдыхай. Там сейчас в огороде можно не торопиться. За сим, будь благополучна и до свидания. Целую множество раз. Всегда твой верный -

- *Бомленька.*

25.7.1979.

1980 (21.8)

Таллин

Просто люблю, как могу

...Я пишу все свободное время и, сверх того, на работе. Кругом все гудит, крики, беготня, а я пишу. Как проводил тебя, день выздоравливал от нашей ссоры, а на другой день расписался и - пошло. Я очень переживаю, что мы по пустякам друг друга за нервы теребим: ты устаешь и срываешься, а я тоже устал и не выдерживаю, а потом болею сутками.

Когда ты меня любишь, я чувствую себя вознагражденным, а когда у нас с тобой разлад, тогда я чувствую себя как больной нищий старик. Милая душенька, это вовсе не значит, что мне надо больше, чем ты можешь, нет, просто люблю тебя, как могу, а ты - тоже, наверное. Если же что-то не так сказалось, как подумалось, то прости, мой ангел, и не сердись.

21.8.1980.

* Рассказ "Журналист" опубликован впервые в таллинском журнале "Радуга" № 10 за 1988 год, затем в сборнике "Битые собаки" (Таллинн, "Ээсти раамат" 1989).

1982 (15.4 - 2.6)

Таллин

Болезнь совершенно царская...

Повесть висит буквально на крючке

Влез я на Парнас и не слезаю...

Родная моя душенька!

Вчера выписался из больницы. Чувствую себя очень неважно. Только и хватило меня дойти от больницы до дому - и ничего больше не могу, устал. Отдыхал часа два-три. Закрылся. С головой под одеяло залез и уснул. Нет, детка, плохо мне там. Не принимает душа. Встал, помылся, собрался...

...Ну, взял чемодан, с Ипси попрощался, а с остальными не стал...*

...А тут еще беда: Коля Французов помер. Пошел на выходные и помер. На четыре года моложе меня. И все вот так веку своего не доживают. Раз! - и будто не жил человек. Позвонил я в котельную: так, мол, и так, хочу проститься. Приехали за мной на маленьком автобусе, забрали, поехали на кладбище. Говорят: скажи о Коле пару слов на прощанье. А я сам - едва ноги держат. Никаких слов, одна немочь. Привезли меня обратно, и лежу я опять на одном молоке, а больше ничего нельзя до конца бюллетеня...

...А хозяина нету, он тут редко бывает, и дом сильно остужен. Вот наберусь немного сил, нарублю дров, наношу брикету и буду круглые сутки топить, пока жарко не станет. А все-таки удобно, что у меня комнату солнце освещает и нагревает, что б я еще делал, если бы комната была темная?..

15.4.1982.

Милая душенька, родная моя детка, здравствуй.

Я жив и, хотя не совсем здоров, но поправляюсь понемногу. У меня получилось небольшое осложнение, а может и не осложнение, а просто ослабление, потому что раньше уже это было: слабые сердечные ритмы и слабая пульсация. Конечно, удивляться нечему, почти месяц прожить на манной каше, а мне лишь вчера разрешили есть все, только несоленое. Бюллетень все время продляют, наверное, пойду на работу лишь в конце месяца, когда еще чуть-чуть окрепну, а пока слабость что в голове,

* Ингрид в Москве. Б.К. без нее ищет более спокойную, чем дома, обстановку, снимает квартиру, живет у знакомых. Болен. Очень тяжкий период.

что в ногах. Дочитываю “Жиль Блаза”,* питаюсь по часам, утром и вечером получасовая проходка в лесу. Не курю по-прежнему.

Был у меня так называемый “белый нефрит”, воспалительный процесс, болезнь, конечно, совершенно царская, - (от нее Александр III помер)...

...А с хозяином у меня нелады по той причине, что трезвый пьяному не товарищ, и он все чаще и чаще выражает недовольство моим присутствием. Ну, ничего. Вот пойду на работу, будет полегче. Зато в лесу что делается, детка, если б ты видела. Птицы таким хором поют, что слушать - не наслушаешься; ива цветет, ольха тоже, березка сережки себе новые по весне достала; воздух - боже ты мой, до чего хорошо! Век бы не уходил при хорошей погоде...

Родненькая. Не могу пока сообщить свои рабочие и выходные дни, потому что не знаю, когда пойду работать и с кем. Ты поэтому, как приедешь, позвони мне в Рокка-аль-маре** и в котельную, потому что я буду либо там, либо здесь, больше мне быть негде по моему состоянию. Впрочем, я сам буду звонить числа с 29-го, а раньше не хочу. Вместо Бальзака взял читать Дюма “20 лет спустя”, но если со здоровьем наладится, то, скорей всего, буду писать. Очень хочется писать, соскучился, только боюсь расстроить сон и здоровье, пока не вошел в силу.

Галина Алексеевна пока еще в больнице, но к маю, по всей видимости, ее выпишут...

21.4.1982.

Милая моя душенька!

Рад, что ты позвонила и нашла меня. Может, это и не так заметно тебе на том конце шнура в Москве, и немудрено: я не люблю телефонов, и говорить не умею, и хозяин рядом с телефоном кровать свою поставил. Хорошо себя чувствую после разговора. Голос у тебя необыкновенный, в ушах надолго остается, так и до сих пор. Возможно, что под его музыку и пишу.

На следующей неделе иду на работу, обещали закрыть больничный, и будет у меня по больничному ровно 30 дней. Правда, знакомые находят, что у меня вид бледный и невзрачный, но я подумал, что в праздники не так мно-

* Роман “История Жиль Блаза из Сантьяны” французского писателя Алена Рене Лесажа (1668-1747).

** Рокка-аль-маре (от итал. *rocca al mare* - скала у моря) - Эстонский национальный парк-музей на берегу бухты Копли в таллинском районе Ыйсмяэ.

го будет работы и я постепенно поправлюсь. Галину Алексеевну выписали и я как раз к ней зашел из поликлиники. Принес ей топливо, вынес золу, дров наносил. Она как будто ничего. Показывала рентгеновский снимок своего сердца - не поверишь, как страшно: везде провода, клеммы какие-то, игольчатые контакты, Боже мой, что делается. Был у нее инфаркт, теперь говорит, что хорошо. Дай Бог ей жить, и мне не так грустно будет.

“Жиль Блаза” почти дочитал, остался десяток страниц. Вот значит, пока болел, сделал одно-единственное дело: книжку прочитал, - и все. Все эти дни особенная стоит погода: весенняя насквозь до неба и на все четыре стороны. Через залив очень близко видны и Ласнамяэ, и Пирита, и вообще отсюда хорошо понимается, что Таллин небольшой, изящный, красивый и умный город...

Душенька! Скоро будет десять лет, как я тебя увидел и полюбил. Ты приедешь и я тебя поздравлю. Ты совершенно особенный человек в моей жизни, и я люблю тебя молитвенно и нежно. Если я тебя за это время чем-либо огорчил, то ты мне прости, так как я и тебе прощаю ото всей души. Обнимаю, целую, люблю.

Твой Бомленька.

25.4.1982.

Теперь я немножко посплю, чтобы головную боль сбить. Что-то разболелась голова. Совсем не помню Миру, у которой ты сейчас живешь. Но все равно привет ей. А Сашу увидишь - тоже.

Целую тебя и Сашу.

Родная моя душенька!

Всю неделю я пишу и пишу. Повесть висит буквально на крючке. Я сейчас занимаю квартиру Бори Гордона* и всю пользуясь тишиной и творческим настроением. Теперь я здоров вполне и набрался сил. Написал Саше письмо, наконец, а то прямо никак не возьмусь. Была ли ты у него? Я делаю хорошую вещь. Здесь был Саша Зорин** из Москвы, мы пробыли неделю вместе, и я ему главы свои читал, которые успел обработать. Он смеялся до слез и говорил всякие комплименты. Возможно, в выходные пойду на Рави печатать. Я сегодня туда зашел после работы, видел Ипси. Она играла на рояле. Мы с ней поговорили очень дружески...

* Супруги Л. Еланская и Б. Гордон - таллинские друзья Б.К.

** Александр Зорин - поэт, духовный сын о. Александра Меня, с которым он познакомил и Б.К. В “Вышгороде” 4,2003 его воспоминания о Борисе Крячко “...великой и благой нам помощи”.

...Проснулся в 7 часов. Позавтракал яичницей. (Представь, появились в магазине яйца. Я их два десятка взял.) До работы я добираюсь за двадцать минут, потому что живу в Мустамяэ. Боря Гордон - это тот, который звонил по телефону и говорил с тобой по-эстонски. Я буду у них до конца мая. Затем недельку поживу у Тамары Павловны.* Ты ее не знаешь, но, кажется, я тебе рассказывал. Дама лет 75, очень живая, суетливая, маленькая, веселая, добрая и умная. Она тебя знает от меня и от студентки ин. яз. им. Вильде. Спрашивает у нее: "А вы знаете там Майдре?" Она отвечает: "Знаю". Теперь, значит, слушай, что о тебе один человек другому рассказывает: красива, добрейшей души...

...Студенты тебя очень любят, а на кафедре не очень любят за прямоту и за то, что ты всех их что-нибудь заставляешь делать по языку. Поэтому тебя часто посылают в командировки и т.д. и т.п. Вот видишь! Слово в слово, что и я мог бы сказать. Очень рад за тебя, а Тамара Павловна возмечтала обязательно с тобой познакомиться.

Итак, пробуду у нее числа до 7 июня и перейду жить к Галине Алексеевне. Буду у нее не знаю как долго. Если не подыщу что-либо более подходящее. Вчера зашел домой, взял пачку чаю и тетрадь по газу, потому что у нас завтра экзамены...

25.5.1982.

...Сегодня сдавал экзамены по газу. Все в порядке. Написал два письма: Володе и Мите (мой друг). Знаешь ли, очень плохо писать письмо сразу, когда только что оторвался от рукописи. Никак не идет ровно, дергается все время. Да что я говорю! ты уже, наверное, получила мое первое письмо, - я его именно так писал. И наоборот: сразу после письма тебе я тоже, оказывается, не могу некоторое время писать.

Мой друг, я ем очень много и полнею не по дням, а по часам. Мне не хотелось бы браться за трубку, а между тем не вижу выхода. Правда, чувствую я себя сейчас так хорошо физически и душевно, так наслаждаюсь своим состоянием, что давно себя так не ощущал. Наверное, от этого и пишется мне хорошо. Но скоро (не завтра, так

* С Тамарой Павловной Милутиной (в девичестве Бежаницкая, из рода тартуской семьи священников и врачей; Лаговская - по первому мужу, философу, богослову, деятелю РСХД, расстрелянному 3.07.1941 в Ленинграде; о депортации своей семьи, ГУЛАГе и ссылках Т.П. написала в книге "Люди моей жизни", Тарту, "Крипта", 1997) Борис Юлианович познакомился через Галину Алексеевну Каллас, в чьем "салоне" собиралась околодиссидентская публика. Далее упоминаемый в письме Рейн - приемный сын Каллас, один из "героев" рассказа Б.К. "Гены" ("Вышгород" 5,2002).

послезавтра) вернутся хозяева, и я перейду на квартиру к Тамаре Павловне, о которой тебе уже писал. Словом, я сообщу тебе, когда перееду.

Душенька, пишу тебе с работы. У меня сегодня ночная смена (график рабочих дней я тебе выслал). Сейчас начнется немного работы и я пока закончу, а допишу потом.

Целую тебя крепко. Твой Бомленька.

26.5.1982.

...Галина Алексеевна жива-здоровая. Сейчас у нее гостят родственники из Ленинграда. Алит и еще один балбес (Котельников) хотят помирить ее с Рейном, а она не хочет и страшно злится. В феврале м-це он был в Таллине, но не зашел, потому, говорит, что приглашения не имел...

27.5.1982.

Галина Алексеевна посылает тебе привет.

Милая, родная, любимая душенька!

Все дни и ночи я пишу, пишу и пишу. Я счастлив и доволен, как давно уже себя не чувствовал. Мне абсолютно ничего не надо, даже еды, и никто мне не нужен для разговора, - я один, совсем и полностью. Готовы четыре главы почти набело. Теперь либо пятую начну, либо эти перепечатывать буду. Котельную остановили, и нас отправили в отпуск с 3-го до 10 июня... Дни у меня летят, как листья по осени. Я их просто не замечаю. Чувствую после болезни свое здоровье и пользуюсь им, как видишь, с толком. Когда устаю, ложусь спать, а просыпаюсь - хватаю ручку. Наверное, это даром не пройдет. Когда я выпишусь или вымучусь до изнеможения, будет у меня тоска и одиночество, и боль душевная, но пока я занят, пока пишу, - слава Богу. В общем, влез я на Парнас более двух недель тому назад и не слезаю пока. Хочу написать, что задумалось, хочу перевалить через горку, а на склоне лет это не так легко дается. <...>

Теперь я живу у Тамары Павловны. Ничего, кроме рукописей. Она мне готовит и зовет к завтраку и обеду. Я ем и опять за бумагу, если не на работе. У нее мне хорошо; отдельная комната, даже две на втором этаже в частном доме. Сон у меня тоже ничего, без лишних размышлений, а от беспокойных фантазий я научился уходить. Плохо только, что комары меня начали одолевать и много их. Зато у нее есть две собаки: фокс-терьер Долли и эрдель-терьер Эрик. Я их уже прогуливал, и мы с Эриком очень дружны. Когда я пишу, он обязательно у моих ног и, наверное, думает, что я его хозяин и что я, должно

быть, умный и добрый, если могу молча жить. А у Долли есть два щенка, страшно забавные и неуклюжие.

Сейчас установились очень теплые дни. Я хожу без плаща и даже без пиджака. Цветут во всю молочную вишню и яблони, а черемуха отцвела, но я доволен, что удалось мне сломить пару душистых веток ее и кинуть тебе в окно комнаты, где ты сейчас живешь.*

Я не просил бы тебя о многом, только об одном: так мне хочется, чтоб ты Сашу проведала, так хочется. Ты - душенька. Тебя все любят. От тебя всем хорошо бывает. Пусть бы и Саше хорошо было от беседы с тобой.

Ипсинька сказала по телефону, что ты приедешь 14-го. Хотелось бы знать, каким поездом ты будешь и в какое время. Кажется, я смог бы тебя встретить.

Нежно тебя обнимаю и целую.

Будь здорова, благополучна, счастлива.

2.6.1982.

Привет Саше.

1982 (30.8 - 18.9)

Бухара

Мой лучший в жизни рассказ...

Сбылось больше, чем не сбылось

Моя родная милая душенька, здравствуй!

Третий мой день в Бухаре. А.А. с девочками еще не приехала, жду со дня на день. Остановился у Горбуновых, они очень все обрадовались, мы со Славой все вечера говорим и говорим. Бабушка старая очень, болеет. Таня и Надя работают здесь же. Очень были рады, что Ипси их помнит, шлю ей от них множество живых и теплых слов. Все они очень ждут, чтобы со мной ты приехала, и я пообещал на следующий год. А пока что я хожу и проведываю знакомых, да еще ходил на могилку к Сергею Николаевичу...

Из прежних мыслей крепко засела в памяти последняя глава, что я читал вслух. Убежден теперь совершенно, что она неудачная, и вот почему: я там нагромоздил целую кучу мелких фактов и деталей, так что основную поклажу даже углядеть невозможно. Прав Бальзак: "Нагромождение фактов - вернейший признак умственного бесплодия". Мне бы, дураку, помнить, чему умные люди учат, а я, болван, вспоминаю об этом только после дела и по прошествии времени. Главы "Донос" и "Комиссия" мне

* Ингрид еще в Москве, так что "приношение" цветов - символически-романтическое.

нравятся, а “Собрание”^{*} противно вспоминать. К большому моему переживанию, вспоминается чаще именно эта противная глава. Я ее буду переделывать, как вернусь.

Душенька, моя радость, мне страшно хочется, чтобы ты была сейчас со мной. Я, как гляну на что-нибудь стоящее, так и думаю: как жаль, что ты не со мной. Скучаю по тебе, потому что люблю Вас, Ингрид. А сейчас вот сижу в редакции газеты на том же месте, где раньше сидел, когда писал тебе о своей любви, даже кабинет тот самый, а на столе чай и виноград, которые я готов тебе отдать целиком все сразу и себя впридачу.

Нежно тебя целую.

Твой Бомленька.

30.8.1982.

Всем привет.

Уз. ССР, г. Бухара,

ул. Текстильная, 6

Горбуновым для меня.

...Очень для меня огорчительно было узнать, что дети мои до сих пор не прочитали ни одной книжки, так огорчился я этим, что все настроение пропало. Между тем, у А.А. дома хорошая библиотека, такие, знаешь ли, книги, я даже не предполагал, что у нас такие выпускают: прекрасно оформленные, целые сериалы русской и зарубежной классики. Все это богатство украшает стены и не более того - стоят не тронутые руками, никем не прочитанные, девственно чистые и совершенно бесполезные. Вчера А.А. с мужем уходили на свадьбу, а я оставался с девочками. Усадил я их в комнате и прочитал им “Каштанку” Чехова. Слушали хорошо, особенно Нина следила за словами, за голосом, за жестами, и своим милым личиком переживала очень. Вера тоже, но она менее внимательна, как мне кажется...

5.9.1982.

Ненаглядная моя Душенька!

Вчера вернулся из Хивы в Бухару, да простыл по дороге, поэтому никуда уж не пошел, а пропарился в бане и лежал. Сегодня утром чувствую себя лучше, но не совсем, - немножко болит голова, немного слабость остаточная, и я молю Бога, не заболеть бы мне, а если заболею, то чтобы вскоре поправиться, потому что через неделю мне надо назад возвращаться. Приехал я в Хиву по дож-

^{*} Главы будущего романа “Сцены из античной жизни”.

дю (редкий для этих мест случай), уезжал тоже по дождю, - вот и простыл, а одет был легко. В Бухару приехал, - здесь тоже дождь был, оказывается, и утром вдруг стало холодно, так что завтракали не во дворе под виноградом, а в помещении.

Письмо это, по всей видимости, последнее, больше уже не успею. Когда прилечу в Ташкент и буду в полной уверенности в дальнейшем своем пути, пошлю тебе телеграмму, чтобы ты приехала в аэропорт и встретила меня. Это будет воскресенье. Ты приезжай. Дело в том, что я нахожусь в большой растерянности; писем от тебя не было вовсе, телеграмма была как будто не из Таллина, а откуда-то из Антарктиды, - оттого чувствую себя подавленно и растеряюсь еще больше, если тебя в аэропорту не увижу.

Все-таки поездка моя сюда не столь удачна, потому что я попал в сезон сбора хлопка: всех забирают на сборы и никому не делают исключения, так что видишься с добрыми людьми только по вечерам. И соскучился страшно, потому что всякая мелочь тут к тебе привязана памятью, не поеду без тебя, очень уж одиноко даже в Хиве, и особенно в Хиве. Хорошо, что я успел написать тебе письмо, находясь в радужном настроении, а потом все это испарилось и я ходил по городу, как по кладбищу, чувствуя себя невеселым жильцом среди старых и новых могил.

Сегодня суббота. Как всегда, напишу тебе письмо, зайду на почту, отправлю и пойду к девочкам. Если мне будет лучше, останусь у них до вечера, а если нет, вернусь и лягу в постель. Из людей, которых я встречаю, многие сожалеют, что я уехал из Бухары и из Хивы, говорят, будто эти два города потеряли меня, а Таллину, дескать, пользы от меня меньше. Возможно, это и так, я и сам о здешних местах частенько подумываю, но представить свою жизнь здесь уже не могу. Кроме всего, у меня своя потеря. Если б от тебя пришла за все время хоть малая весть, я бы ее не так чувствовал и, вполне вероятно, даже не заболел бы. Ты не печалься; я люблю тебя и когда здоров, и когда болен. Ты мой лучший в жизни рассказ, где нечего править, потому что получился он безупречно, безошибочно, я только удивляюсь и люблюсь. И не столько ты Ингрид Майдре, сколько Душенька, дитя моей души, моего чувства и воображения, где сбылось больше, чем не сбылось, - как мне тебя не любить? Что было - знаю, что будет - увижу, а любовь к тебе единственная моя собственность и при мне остается во благо и счастье,

что бы там ни было и что ни будет. Остаюсь очень все-
таки счастлив и с любовью к тебе -
- твой Бомленька.

Будь весела, счастлива, здорова.

18.9.1982.

1984 (27.1 - 1.2)

Москва

“Дед Борис, не уходи!” -

“О, моя юность! О, моя свежесть!”

Моя ненаглядная и единственная на свете Душенька,
- здравствуй.

Еще с тобой на вокзале расстался...

...Проснулся под Московой. Саша Зорин встретил меня
на вокзале и повез к себе...

...Был на выставке работ армянского художника Ога-
несяна с Сашей и Таней. (Таня, искусствовед и член Со-
юза Художников, очень просила, чтоб я им составил об-
щество, а сегодня был последний день выставки.) С выс-
тавки я отправился к своему Саше. Как и ожидал, он
уехал в командировку третьего дня, но должен приехать
до моего отъезда из Москвы. Таня гуляла с Алешей во
дворе и я ждал их около часа. Алеша подрос и окреп. Пи-
ратскому пистолету очень обрадовался и говорил на про-
щанье: “Дед Борис, не уходи! Дед Борис, не уходи!” Мне
немного странно осознавать себя дедом Борисом и смеш-
но тоже...

Вечно твой Бомленька.

Храни тебя Бог и моя любовь.

Б. Крячко.

27.1.1984.

...Состоялась еще одна читка. Публика постарше,
поосновательней, чем прошлый раз, и эмоционально
сдержанней. Много было всяких разговоров и самых
частных отношений. В общем, очень хорошо, хоть и не
без критики и замечаний. Ну, тут всем подряд мил не
будешь, что мне нужно, то возьму, а что нет - забуду и
похерю. Плохо другое. Я перечитался и очень устал, как
горлом, так и душой. Ну, вообрази себе, четыре часа
читать не безучастно и небезразлично да несколько раз
одно и то же. Это все равно, что переесть чего-то, пусть
даже очень вкусного. Поэтому тексты мои вдруг пока-
зались мне пустыми, мелкими и даже отвратными. Но-
чью я плохо спал, всякие снились фантазмагории и

беспокоил Господа часто, призывая. Больше читать не буду...

31.1.1984.

Храни тебя Бог и моя любовь.

Моя родная, родная, нежная моя Душенька, здравствуй.

Сегодня мне подумалось: “Что-то от Саши ничего не слышать. Дай-ка я к нему съезжу”. И поехал. Захожу в подъезд, подхожу к лифту, а оттуда выходит Саша и разводит руками, - вот так да! “Как раз, - говорит, - иду звонить, полчаса тому назад приехал”. Ну, конечно, радость у меня большая, давно сына не видел, глаз не отводил: высокий, здоровый, молодой, добрый, умный, открытый. Как это у Гоголя сказано, помнишь? “О моя юность! О, моя свежесть!”

...Благодарил тебя за варенье; одну банку желтых слив (что возле колодца растет) съел почти всю за один раз. Я сказал ему, как бы нам хотелось с тобой, чтоб он в Таллин приехал, а он и сам хочет...

...Я и Саше сказал, что ты его любишь, и он принял это тоже с радостью, как я понимаю.

Твой Бомленька.

1.2.1984.

1987 (19.5 - 23.6)

Таллин

Илья разговорчив без умолку...

У котят начинают ушки темнеть...

...Работаю, жив-здоров. По этой части новостей почти никаких нет, а главная новость произошла дома в нашей комнате вчера, то есть 18 июня в 5 часов утра: Белинда родила четверых прекрасных, милых, чудесных котят и совершенно с ними занята и счастлива. Мне это стоило бессонной ночи, потому что она себя вела крайне беспокойно и притом не хотела быть в одиночестве. Пришлось взять ящик с собой в постель, накрыть одеялом и дремать с такими неудобствами. Зато теперь она ко мне уже не пристаёт, оставила в покое надолго, только будит меня, когда есть захочет, а аппетит у нее открылся на зависть: по десятку салак съедает, маленьких, разумеется. Опять же, как когда-то: троих родила, а с четвертым несколько часов бегала, всем жаловалась, прежде чем на свет его произвела. Котенок, как котенок, вполне полноценный. Теперь они ее высасывают основательно, и она молока тоже много пьет. Я всегда, как варю овсянку, так даю ей теплого молока.

Рацион мой после болезни основательно переменялся. Помнишь, сколько я хлеба потреблял? А теперь мне одной буханки на неделю хватает. Главное блюдо - каша: утром гречневая на масле, вечером овсяная на молоке, а обедать, - когда хочется, а когда и нет. Илья* общительный, приятный жизнерадостный человек. Он мой друг. Разговорчив без умолку. В разговоре с родителями употребляет русские слова. Например, когда ему не хочется больше есть, он говорит: "Все!"; когда что-нибудь закончит делать, говорит то же самое...

...Сегодня у меня свободный день между дневными и ночными сменами, и я решил с тобой потолковать, а закончу разговор, по-видимому, после понедельника, когда будут выходные. Крепко тебя целую, милая галочка. Будь здорова и не болей.

Твой Боленька.

19.5.1987.

Приезжал на два дня Саша, и я был счастлив. Целых два дня разговаривали с ним и гуляли по городу, а погода была на редкость хорошая...

...Илюшенька с родителями поехал в Пярну, когда вернутся, не знаю, и я на хозяйстве один. Цветы политы, часы идут, Белинда с котятками чувствует себя великолепно, а у котят начинают ушки темнеть рантиком. У меня еще два дня выходные, и я начну писать новое тебе письмо, а это отправлю. Очень люблю тебя, нежно целую. Не забывай меня, милая Душенька.

Твой Боленька.

23.6.1987.

Всем привет.

** Илья - Ингмар, сын Инес, тоже музыкант (скрипач). По просьбе своей бабушки (И.М.) написал, как и другие члены семьи, о том, что он помнит.*

"Родители чем-нибудь ограничивали, в компании Бориса было интереснее. Я любил заходить в его комнату. Он поднимался от стола, гладил по голове и болтал со мной на английском, который я выучил от бабушки... Еще перед глазами такая ясная картина детства. Посередине стола миска со сметаной. Мы обмакиваем в нее пирожки с мясом и, наслаждаясь, повторяем русскую фразу: "А пирожки потом". Так учил мой отец, что сначала надо есть обычную пищу... В Пярну летом, в саду, Борис собирал ягоды и напевал. Разговаривал с животными, с собакой Рики... Дом в Пярну уже никогда не будет для меня таким, как в те прекрасные времена, когда нас ждали там бабушка и Борис" (перевела с эстонского И.М.).

1989 (19.2 - 19.3)

Пярну

Море покрыто толстеными льдинами...

В литературных делах повсеместное замешательство...

Пярну, 19.2.1989., воскресенье; прошло шесть недель
Дорогая моя Душенька!

Наконец-то я достал себе манинил у знакомой тебе аптекарши, кот. просила передать тебе во Францию привет.* А я уже два дня принимаю таблетки, и у меня теперь и голова не болит, и сердце не замирает...

...У меня большое облегчение наступило: за всю неделю я вынес из подвала не больше десяти ведер воды. Это дало мне возможность трижды сходить с коньками на лед залива, написать сыновьям письма, дважды сварить очень вкусный борщ, закрыть плотно окно наверху и раза три-четыре пописать сюжет. Котенка Раймонд взял, это тоже облегчение, но с другой стороны, Белинда, будучи уже никакой помехой не связана, столь жуткий подняла вой по котам, что абсолютно покоя не стало ни днем, ни ночью, и меня спасает только свободный режим моего житья-бытья. Цветы твои очень хороши, пожалуй, они никогда еще не были так хороши и здоровы на вид, а фиалки все еще цветут.

А море все-таки замерзло, несмотря на теплую погоду. Пригнало от Скандинавии много льда, целые горы, очень собой похожие на картину Фридриха Давида** “Утраченные надежды”. Представь себе, весь пляж забит льдом, какие-то сооружения спортивные там оставались, - все сломано, а море километра на полтора покрыто толстеными льдинами, которые образуют довольно ровную плоскость, где я катаюсь. После получаса примерно бега на коньках, пальцы мои обретают чувствительность очень хорошую, зато по ночам сильно болят. Езжу я вблизи берега, где мелко и не опасно, если провалюсь, так что я больше боюсь упасть, чем провалиться, а падать с возрастом все хуже и хуже...

...Вчера исполнился год, как помер самый лучший мой друг Вовка Киселёв. Это тоже очень грустно сознавать, что мы с ним никогда уже в этой жизни не встретимся и даже письмом никогда больше не обменяемся, так что молитва остается единственной формой общения, вполне действенной, хотя и несколько односторонней.

Пытаюсь сделать один рассказ, а он у меня не идет. Мне кажется, это оттого, что из хорошо продуманного есть

* Ингрид в Париже у старшей дочери Неле.

** Каспар Давид Фридрих (1774-1840) - немецкий художник.

только начало и конец, а середина очень смутно, неясно, вроде в уме складывается, а сядешь за стол писать - куда все девалось. А другим сюжетом заняться вроде даже неприлично...

...На море я сегодня не пошел, потому что вьюга снежная, а затопил плиту и стал готовить кавардак. Уже почти готов и запах дразнит по всему дому. Вот вы все приедете (раньше того я ведь никуда не смогу поехать), я приготовлю разок попробовать, расскажу Неле, чтобы она Роджера* иногда этим вкусным блюдом кормила, и поеду. А может и не поеду, - не знаю в точности, еще много времени впереди.

Родная моя Душенька, крепко тебя целую и жду вестей от тебя.

Любящий тебя твой Боленька.

Поцелуй за меня всех.

19 марта 1989 г., воскресенье, гор. Пярну, десять недель одиночества.

Моя любовь, моя тоска, мое ожидание, моя Душенька!

В сущности, сегодня уже 20-е марта, понедельник, и я задержался на день с письмом потому, что сейчас у меня гостит Саша Зорин, и распорядок мой пришлось несколько видоизменить. Вчера мы с ним были с утра в церкви, затем я готовил обед до самого почти вечера, а когда поужинали, я себя почувствовал довольно уставшим, чтобы что-то еще. Поэтому пишу сегодня. Завтра, во вторник, я его провожаю с утра в Ригу, и регламент моей жизни нормализуется в обычном плане моего житья-бытья.

Прогостил он у меня пять дней. Разумеется, это очень немного, но я и за то благодарен судьбе, пославшей случай увидеться с другом и поговорить о жизни и о том, что в ней хорошего и плохого. Он передает тебе привет и надеется встретиться с тобой при возвращении из дальних стран и помочь при пересадке. Сюда, в Таллин, и в Ригу завтра, он приезжал по литературным делам, но в этот раз почти без результата, потому что в литературных делах сейчас повсеместное замешательство и все стоит на месте, то ли в растерянности, то ли в ожидании чего-то. По его сведениям, моя книжка выходит как раз вовремя,** и ее во многих местах, в т.ч. в Москве, ждут с нетерпением...

...Привет от Саши Зорина. Я его разместил в комнате с фортепиано, а сам оставался в своей, Белинда тоже была

* Роджер Роули - муж Неле.

** В издательстве "Ээсти раамат" как раз "подписан в печать" сборник рассказов Б.К. "Бытие собаки".

со мной. Разговаривали мы с ним много за завтраком, за обедом, а после ужина гуляли по взморью. Четверо суток он сочинял статью по заказу, а сегодня наточил пилу напильником, а то она стала тупая совсем и ею долго надо пилить. Воды в подвале не было дней пять, но после вчерашнего дождя набралось шестнадцать ведер. Конечно, это пустяки, зарядка по утрам, лишь бы больше не было.

Таковы новости. Родная моя деточка, крепко тебя целую и люблю. Спасибо тебе за теплую зимнюю обувь. Спасибо за фотографию Исуленьки,* - она гораздо лучше прежней, и я поставил ее на книжной полке. Белинда мяукает тебе о своей любви. От меня всем привет...

1991 (26.5)

Люксембург

**Как хорошо, что здесь нет ни коммунизма,
ни советской власти...**

Люксембург, Шлассгеванн, 26.5.1991.

Родная моя Душенька, мой ангел!

Уже неделя, как я здесь. Сначала я очень был огорчен, что денег в редакции я получил мало, но третьего дня пришел перевод** и, в общем, средств у меня с Божьей помощью столько, сколько я надеялся и рассчитывал получить. Поэтому проекты мои претерпели некоторые изменения. Если я с первых дней думал, сделаю кой-какие покупки, через месяц отправиться домой и даже от поездки в Амстердам отказался в целях чисто экономических, то теперь у меня есть шанс съездить на неделю в Париж и сделать кое-что полезное, в т.ч. посетить Тати*** на Монмартре. Завтра я подаю анкеты во французское посольство и буду ждать разрешения. Между тем днем и нынешним сделаю основные покупки. К слову, почему ты говорила, что в Люксембурге нечего особо смотреть. Не иначе, это у тебя от Парижа. Что же до меня, то я, впервые повидав здешнюю жизнь, нахожу тут все для себя очень интересным и думаю, что мне хватило бы здешних любопытностей очень надолго. Сколько разнообразных магазинов с изобилием техники, одежды, обуви, продуктов. Каждый день я ем фрукты и в их числе что-нибудь новое,

* Он же Ингмар.

** Видимо, это редакция журнала "Грани".

*** Дешевый магазин.

диковинное. А сколько тут всего для несчастных диабетиков, кот., живя здесь, никоим образом не могут считать себя несчастными. Варенья, джемы, конфитюры, печенья, торты, конфеты ста сортов, а шоколад, а наборы, - ну ничего нет такого на свете, чего бы не было - вплоть до сахара, меда и разнообразных пломбиров. Бедные, жалкие наши люди, больные диабетом! Только у них и есть, что один килограмм гречневой крупы в квартал. Поистине, спасибо партии родной, чтоб ей сквозь землю провалиться.

А книг сколько! Книжное царство, пещеры Али-Бабы. Любой с одного взгляда скажет, что здесь духовность и культура на десять порядков выше, чем в Союзе. Господи Боже русских людей, за что их так долго обманывали, грабили и казнили? Как хорошо, что здесь нет ни коммунизма, ни советской власти, ни такой жуткой нищеты, как у нас.

Конечно, бедные везде есть, но это относительное понятие. Бедные люди здесь тоже есть по их мерке. Бедной считается семья, кот. имеет всего одну машину и доход такого уровня, что у нас любой зажиточный человек позавидовал бы черной советской завистью. Об уровне бытовой культуры не приходится говорить, потому что это вообще вне сравнений. Здесь уже нет дома без компьютера, как и без машины. Правда, есть очень дорогие товары, но дешевизной продуктов я потрясен, в особенности фрукты и овощи, причем самые диковинные и экзотические. И все это длится круглый год. Люди благожелательны и добры, продавщицы делают глазки, встречные беспричинно улыбаются. Совсем не видать скотских партизанских физиономий, каких у нас полно. Такие дела, и я рад, что я это вижу и знаю теперь точно, как меня всю жизнь обманывали с помощью пустопорожних коммунистических идей.

Роджер и Неле с детьми счастливая семья.* Да и сам я тоже жив-здоров их заботами и счастлив их счастьем. Сахар у меня в норме. Я ем меньше, потому что пища разнообразней и калорийней. Иногда хожу гулять с Фрэнки

** Роджер Роули: "Помню те вечера (начало 80-х), которые мы проводили вместе с отчимом моей эстонской подруги - с его борщом и водкой и моими гаванскими сигарами, и его чудесные рассказы на медленном английском, но всегда с выбором правильных слов... Потом он навещал нас в Люксембурге. По пути в город, на работу (в банк - И.М.), я высаживал его в парке, где он обычно сидел на скамейке перед памятником Виктора Гюго и писал, говорил, что знаменитый коллега его вдохновляет. К сожалению, я не знаю русского языка и не читал рассказов Бориса. Но дорожу памятью о человеке, обладавшем большим юмором". - Перевела с англ. И.М.*

и Томми,* но они уже большие и умеют играть сами. Вчера готовил кавардак из хорошей баранины, и он у меня сгорел, т.к. я не смог управлять кухонной плитой. Было много шуток, но я был крайне огорчен своей безграмотностью. Погода стоит прохладная, и я ношу белый свитер. Первое, что я хочу купить, это хорошие брюки, возможно, джинсы и куртку, потому что одежды у меня мало, а надо будет вот-вот перемениться. Передай привет Мильде, Раймонду и всем, кто обо мне вспомнит. А мне всего больше не хватает тебя - близости, присутствия, глаз и рук. Я люблю тебя. Часто о тебе разговариваем.

Крепко обнимаю и целую тебя. Да хранит тебя наш Господь и да поможет тебе во всех твоих трудах и заботах. Всегда тебя любящий - Боленька.

1994 (27.8)

Пярну

Закончил повесть на сорок страниц...

Любви с удобствами не бывает

27.8.1994. Пярну, Эстония.

Свет моих глаз, ненаглядная моя Душенька!

Мной сделано важное открытие: оказывается, я смогу написать к твоему возвращению из Италии в Люксембург еще одно письмо и пишу его сейчас. Лето было очень жаркое. Как и в Люксембурге, а в Италии, небось, еще жарче. Очень тебе сочувствую и прекрасно помню, как ты страдала в Куня-Ургенче, а я сидел возле тебя и охранял, чтобы к тебе никто не подходил, а потом еще возвращались автобусом в Хиву, и я влез в него первый, и

** Дети Неле и Роджера. И.М. получила от них письма с отзывами о Б.К. - из Люксембурга от Фрэнка (колледж), из Ноттингема от Томаса (студент-социолог).*

Фрэнк: "Мне было лет 12, когда после одного из звонков бабушки моя мать сильно плакала и я узнал, что больше никогда не увижу Бориса, которого считал своим настоящим дедушкой по материнской линии. Он был добрым, терпеливо играл со мною в шахматы, давал мне советы по стратегии, и мне казалось, что его нельзя обыграть, потому что он старше и многое умнее... Он был добрый, обожал пса Рики, относился к нему как к человеку, как обычно относятся к лучшему другу, и я понял, что Рики ценил это и следовал за Борисом повсюду"...

Томас: "Летом мы всегда навещали эстонских родственников, останавливаясь у бабушки. Ни одного из родных дедушек я уже не застал, появившись на свет. Эту роль исполнял Борис как самый старый мужчина в семье - со своей седой пушистой бородой и украинским акцентом (видимо, так мальчик воспринимал его английский - Ред.). Я почему-то отождествлял его родину с картинками к эстонским сказкам. Он показывал мне обложки русских книг, кажется, про разные сражения (наверное, исторические - Ред.). Будучи ребенком, я не всегда понимал смысл всего того, что он говорил, но слушал внимательно - в его голосе звучала сама мудрость... Когда мне было семь лет, я под Новый год написал письмо Деду Морозу и - получил ответ - воспитательно аккуратным почерком. Я показывал письмо всем друзьям в доказательство того, что Дед Мороз существует... Борис явился мне фигурой мистической, ввел в мир фантастики"...

занял хорошее теневое место для тебя у окна, а сам ехал на солнечной стороне. Надеюсь все-таки, что в этот раз у тебя больше удобств, чем в Ср. Азии.

Затем жара сменилась дождями, и я перестал поливать двор и розы. А сейчас установилась ясная, прохладная погода, порой кажется, будто осень наступила, хотя еще август не кончился, с прозрачными днями и лучезарными вечерами. Цветут каны. Фантастическая фиолетовая роза еще подарила целый букет. Настурции (монахи) горят так же ярко, как осенью. Прошла малина. В этот раз все ягоды были собраны благодаря Инес и Ёстэйну.* Я заморозил для тебя две полки в морозильнике. Сходит помалу крыжовник. Яблоки начались, но не так густо и обильно, как раньше, и слава Богу. К твоему приезду - иншалла! - они будут в разгаре. Сейчас Инес из них сок жмет, пироги печет, сушит и, если удастся, продает. Созрели помидоры. Огурцы будут не раньше сентября. Начинают сливы синеть. Груш должно быть много, а поспеют, по-видимому, после того, как ты приедешь. Все тебя ждет, все скучает.

Кошки как жили во дворе, так и живут. Они тоже по тебе соскучились, в особенности, Филипок. Он рассчитывает, что ты хорошо отдохнешь и будешь к нему добра и снисходительна. Белинда по-прежнему спит со мной. Корасон я по дождливой погоде пускаю в дом погреться. Орегато самый деловой: является только поесть. Рикки жив, здоров, добр и умен. Ходим с ним в магазин, на базар, в поликлинику. На Преображение Господне ходил в церковь, и он со мной увязался. Простоял литургию от начала до конца да еще исповедался и причастился, словом, часа три прошло. Выхожу, - он сидит перед входом на тротуаре и глазами меня ищет, а его все старательно обходят, потому что сразу видно, что собачка по делу сидит. Теперь он повадился с Инес и Ёстэйном ходить. На море бегать бросил, но куда-то по вечерам уходит на полчаса, на час. Новая у него привычка: закапывает кости про запас в землю, - заелся, значит. Я стал меньше его кормить...

...Мои заботы: хожу на базар и в магазин, готовлю еду, кормлю животных и себя, поливаю цветы, - на этом все. В оставшееся время пишу. Каждый день с тех пор, как ты уехала. Я закончил повесть на сорок страниц текста. Я ее выправил, отделал и перебелил. Получилось весело и сердито. Осталось почистить рукопись и отправлять. Если бы у меня всякий день был на это предназначен, я напи-

* Ёстэйн - муж Инес.

сал бы много книг. Если бы я писал через день, я написал бы вдвое меньше, но это тоже было бы много. Но я люблю тебя и свою жизнь каждым днем тебе посвящая, в этом мой главный труд и мой первый талант. Самоотверженно тебя люблю. Очень. Наверное, ты это понимаешь, но не вполне, иначе ты меня не так сильно бранила бы. И была бы терпимее к Филипку и к кошкам. Ничего, деточка, любви с удобствами не бывает, а если бывает, то вряд ли это любовь.

Инес и Ёстэйн очень хорошо ладят. Все время у них вместе. И заняты оба с утра до вечера, оба здоровые, сильные, молодые, приятно на них смотреть. В твоё отсутствие они купили в Таллине машину марки "Опель", очень красивая, хоть и не новая. Она стоит у нас во дворе...

...А я считаю дни. Осталось две недели. В добрый час тебе возвращаться домой, милая Душенька, мой свет, мой ангел. Храни тебя Господь. Крепко обнимаю тебя и целую, а с тобой поименно: Роджера, Неле, Томми и Фрэнки. Всех вас люблю, всех помню, всех хочу видеть.

Твой южный цветочек Боленька.

1996 (14.1 - 25.2)

Пярну

**Радость: учебник испанского
и чудные семейные фотографии...
Рукописи мои не затерялись**

14.1.1996. Пярну.

Мой ангел, моя Душенька.

...Заболел я сразу же в тот же день, как тебя проводил, и с большими трудностями добрался до дому. Лег в кровать и двое суток горел, как сухое полено в очаге при температуре 39,8. К счастью, печи были наготове, и я, насколько сил хватило, протопил, а на третьи сутки меня прошиб обильный пот и стало полегче. Теперь восстанавливаюсь: много сплю, нормально ем и хожу на лыжах. Хорошо также и то, что погода теплая, и я топлю печки поочередно. Проведывал меня уже в добром здравии Иван Гаврилович,* принес четыре бутылки пива, а я как раз борщ сварил. Получил от Шаши письмо и бандероль, а в ней радость: учебник испанского языка, а Володя прислал чудные семейные фотографии в сопровождении письма. Словом, положительные эмоции тоже пришли как нельзя более кстати, точно ложка к обеду.

* Иван Гаврилович Иванов, местный писатель, печатался в журнале "Вышгород".

В общем, все хорошо и благополучно, Бог милостив. Будь спокойна, не торопись и не волнуйся. Жду тебя, как всегда, и очень люблю.

Целую тебя, Инес и Марвел.* Будьте благополучны все трое, а если Исуленька заходит, тогда все четверо. Любящий тебя и всех вас Боленька.

25.2.1996. Пярну, Эстония
Возлюбленная моя Душенька!

Получил вчера твое письмо и по этому признаку считаю субботний день удачным, хорошим и счастливым. Мне очень жаль, что я не могу помочь в твоих заботах, но ты не огорчайся, а сперва поезжай к Неле и Роджеру встретить там Пасху и свой День Рождения, и будет у тебя возможность договориться на лето конкретно и точно, а в письмах разве обо всем скажешь? По своему состоянию я знаю, как важно для тебя отдохнуть. И ни о чем не беспокойся: Бог милостив, все будет благополучно.

У меня прибавилось забот: каждую ночь нас засыпает снегом и каждое утро я беру лопату и, как крот, выбираюсь на поверхность. Но это забота не главная, а что рыбы десять дней никакой нигде нет, это настоящая беда. Покупаю кошкам молочную колбасу, п.ч. ни лемик,** ни детской нету, а копченые сорта не годятся, слишком твердые. Беру молочную по 36 крон за кг, а они полкило в день съедают запросто - расходы. Только сегодня встретил в продаже копченую салаку да взял последний килограмм за 15 крон. Базар скудный, привоза рыбы вообще нет около трех недель: море замерзло, фарватер закрыло, и суда с рыбой ждут погоды вдали отсюда...

...Получил отпечатанные биографию и заявление, завтра же отнесу в миграционный отдел. Мне пришлось заново сняться, т.к. фотографий нужного формата у меня не оказалось. Писем ниоткуда нет. Примерно раз в неделю заходит Иван Гаврилович покалякать да чаю попить. Он все напутал, ничего моего в "Новом Мире" не появится, там был обзор русской литературы в зарубежных журналах, где была упомянута "ироническая проза Б. Крячко в журнале "Грани" за 1995 год. Значит, рукописи мои не затерялись, но дошли и уже опубликованы, - очень этим обнадешен и рад...

* Марвел - это Ирис, дочка Инес.

** Сорт колбасы, по-эст. *lettik* - любимый.

ИНГРИД МАЙДРЕ

ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ

Мне посчастливилось разделить часть своей жизни с Борисом Крячко и теперь написать об этом. Перед глазами так и встает то изумительное время, которое мы провели вместе, испытывая радость, оттого что существуем друг для друга. Может, мы даже идеализировали друг друга, ну что ж... Это еще больше усиливало наши взаимные чувства - уважение, восхищение и любовь....

Если считать отрезок времени между тем, когда заключен наш брак и когда Борис навсегда ушел (31 июля 1974 - 30 октября 1998), получится более 24 лет совместной жизни. Но к этому вполне можно (и обязательно нужно! - *Ред.*) прибавить еще год-полтора, в течение которого мы постоянно переписывались и мысленно были беспрестанно вместе. Конечно, основной вклад в наши отношения в этот период внес Борис, балуя меня своими длинными и сердечными письмами едва ли не каждый день. Помню свое удивление и восхищение. Как мог он так легко и плавно наполнять большие листы бумаги самыми теплыми словами и чувствами! Слова текли у него сами собой. Вначале я же еще не знала, что он писатель. И это бурное изъяснение чувств было для меня неожиданным! Позже, узнав о тяжелых обстоятельствах, в которых он тогда находился, я поняла, что ему просто было необходимо кого-нибудь любить и быть любимым. Любовь возвышает человека, делает его счастливым. Не так важно, кого любить. Марсель Пруст в "Любви Свана" высказал мысль, что в любви очень мало общего с ее объектом, то есть возлюбленным. Любовь живет в том, кто любит.

Было большим счастьем для нас обоих, что наша любовь не осталась на бумаге кратковременной иллюзией, но как бутон раскрылась в нашей общей жизни и чувствах...

Однако не стоит забегать вперед. Начну все с самого начала.

1972 год. Я работаю преподавателем английского языка в Таллиннском педагогическом институте. Чтобы свести концы с концами, даю уроки английского и в разных других учреждениях. Одно из таких - Институт информатики. Однажды там на занятиях случайно услышала, что собирается экскурсия в Среднюю Азию. Мне тоже давно хотелось увидеть эти места, но железнодорожные экскурсии устраивали только в марте-апреле. В это время преподаватель не мог себе

позволить взять трехнедельный отпуск. А тут вышло так, что один из группы выбыл, и вместо него предложили путешествие мне. Рейс самолетом с 27 апреля по 7 мая. Это в основном майские праздники, когда у преподавателей несколько свободных дней.

Сперва мы прибыли в Ташкент, оттуда отправились в Самарканд, Бухару, Хиву. Из Бухары до Хивы часов 10. В разбитом микроавтобусе через пустыню. Сплошное мучение. Сначала я хотела отказаться, но потом выяснилось, что они в Бухару не вернутся, и мне пришлось ехать. В этот же автобус вместе с нами сел и наш будущий гид Борис Крячко, но мы узнали об этом только тогда, когда прибыли на место. На следующий день, 5 мая, мы встретились на экскурсии.

Экскурсия произвела впечатление потрясающее. В предыдущих городах наши гиды, конечно, по-русски, торопливо перечисляли множество имен и дат, так что в памяти сразу все путалось. Борис был совершенно другой. По-моему, он был особенный. Он не спеша рассказывал нам о жите-бытье древних народов, их обычаях и верованиях, знакомил с легендами, читал эпитафии на гробницах, показал превосходные памятники архитектуры древнего города и поведал, как они создавались. И все так живо и образно, что мы слушали его, как зачарованные, и заказали еще одну экскурсию...

Когда экскурсия закончилась, наш гид повел нас в один музей - посмотреть интересные экспонаты. Сейчас мне не вспомнить эти экспонаты. Но ясно вижу нашего гида Бориса Крячко. Не могла глаз от него оторвать. Он расхаживал или останавливался в центре музея и, наверное, курил трубку. Моему восхищению не было границ. И я все время повторяла про себя: какой талантище! Гид являл собой мужественную фигуру, но тогда я этого не замечала. Меня пленил его интеллект, его огромная эрудиция и его способность преподавать все так увлекательно и захватывающе. Меня охватывало безграничное уважение к этому человеку. Я надолго залюбовалась им. Позже мы вместе часто вспоминали тот день.

...Затем, когда Борис перешел в вестибюль, сказали, что наш гид знает английский, и попросили поговорить с ним. Мне эта затея не особенно понравилась, но в конце концов я согласилась. Поблагодарив его за превосходную экскурсию, я рассказала ему легенду об одном человеке, который обладал даром вызывать своим словом зримые образы, так что перед слушавшими и окружающими его возникали живые картины. Но люди страшно испугались, подумав, что он маг. И убили его. Я сказала нашему гиду, что отождествляю нашу великолепную экскурсию с этой легендой, но, к сожалению, у него может быть та же судьба. Пожалуй, он понял это по-своему. Заодно я попросила у него адрес. У меня такая привычка - раз в год посылать людям, покорившим ме-

ня, рождественскую открытку с пожеланием счастья. Он написал адрес на буклете, молча подал мне, и взор его был так глубок, что я увидела в его глазах тоску и скорбь. Естественно, мне это могло показаться.

На следующий день мы отбыли в Ургенч, а оттуда самолетом в Таллинн.

Прекрасный рейс остался позади, но мне уже было некогда и подумать об этом. Конец семестра, последние контрольные и зачеты... Крутилась как белка в колесе, ведь нужно было еще провести пропущенные занятия... В то же время одолевали тяжкие мысли о больном отце, лежавшем в больнице в Тоотси, километрах в 50 от Пярну. Я собиралась проведать его во время майских праздников, чего не сделала из-за турпутевки. И тут, 25 мая, позвонила из Пярну сестра, сообщив, что отец ушел из мира. Я была убита. Я опоздала. Кроме скорби, меня мучило чувство вины. Мы с детьми поехали в Пярну. И там мать сказала мне, что она говорила отцу, какая у них плохая дочь, если она, вместо того, чтобы навестить его, предпочла экскурсию. Я ужасно терзалась, даже не могла вместе со всеми сидеть на поминках. Немного утешила пожилая женщина, которая хорошо знала моего отца. Мой отец, Айн Редик, был чрезвычайно добрый, он понимал людей и помогал им, и, наверное, все, кроме матери, его любили...

И в Таллинне я не находила покоя, и так и не собралась послать Борису приготовленную для него брошюру. Только летом немного пришла в себя, работая в нашем саду в Пярну, как когда-то работал здесь отец, и думая о нем. (Последние несколько лет он лежал парализованный и почти не разговаривал.)

В октябре я все-таки послала Борису Крячко буклет и получила от него первое письмо с благодарностью. Но это еще не было началом переписки. Мне не о чем было писать. Потом я послала ему только открытку на Новый год, не ожидая ответа, который пришел не скоро. Оказалось, что он получил мою открытку с опозданием, так как перебрался из Хивы в Бухару. Его теплое, полное чувств, эмоциональное письмо удивило меня. Мне, северянке, трудно было понять, как у человека из ничего, с первого взгляда, могут возникнуть такие чувства. Перечитывала и все равно не понимала. Не помню, что ответила. Но от него начали приходиться письма. Это было таким счастьем получать письма, полные любви, особенно после несчастного брака с деспотом, без всякой меры употреблявшим алкоголь. К тому времени мы уже расстались, но развелись официально в марте 1973 года.

В июне 73-го я и дочери переехали в четырехкомнатную кооперативную квартиру на улице Рави, куда прописали и живущую в Пярну мать. Теперь у меня появилась возмож-

ность пригласить Бориса Крячко к себе в гости. Старый город, подумала я, будет ему интересен. Приглашение он принял, но реализовать его не смог. Между тем продолжал писать свои длинные письма. Как будто хотел приучить меня к тому, что он все время со мной. И он этого достиг. Писал мне обо всем, что происходит в его жизни. Обстоятельства сложились так, что он ушел из турбюро “Интурист” и теперь работал в редакции одной газеты, но ему там не нравилось. Газетный язык, удушливая атмосфера... Все подавляло его. И вот однажды он сообщил, что приедет в Таллинн, только не в гости, а навсегда. Тут я испугалась. Только что освободившись от одних брачных уз, я боялась опрометчиво связать себя с человеком, которого знала только по письмам. Он не скрывал, что пережил два неудачных брака. У меня не было никаких оснований надеяться, что брак со мной будет более счастливым. Поэтому я попросила его приехать сначала в гости. Но он уже принял решение, и нам пришлось примириться. Мы вместе с дочками (Инес было тогда 15, Неле - 16) рассудили: если он плохой, отошлем обратно. Он приехал 13 декабря 1973 года. На товарной станции его ждали книги, посланные заранее.

Позже я спрашивала у него - не боялся ли он снова ошибиться. Борис ответил, что он обсуждал этот вопрос со своим наставником, русским ученым, почти отшельником, Сергеем Николаевичем Юреневым. Тот считал, что по письмам можно получить вполне правильное представление о человеческой сути. Борис ему верил. Хотя мои дети находили, что Борис сделал очень рискованный шаг, - ведь я могла оказаться настоящей злобной тварью.

13 декабря выпало на рабочий день, у меня были занятия в институте. Встретив Бориса на вокзале, отвезла его домой и вернулась на работу. Девочки были в школе, и он остался дома один. Основательно прибрал квартиру, я ничего не приготовила для проголодавшегося в дороге гостя. На плите стояла только кастрюля с недоваренной овсянкой. И он - сильно голодный - стал это поглощать в качестве национального блюда. Мы долго смеялись. Он сразу стал своим и понравился детям. В первый же день младшая дочь с радостью сообщила мне: “Мама, он сам помыл за собой посуду”... Та же Инес зачастую выступала на защиту Бориса от моей матери...

Внушала уважение скромность Бориса, подкупали его дружелюбие, его доброта и юмор. Он мог все обратить в шутку. Никаких требований не выдвигал. В течение всей нашей совместной жизни он пожелал всего две вещи: сначала пишущую машинку и затем - белый костюм. Кроме моего отца, я не знала ни одного человека, который был бы так непритворлив.

...Прошла неделя полного согласия и счастья.

Идиллия разрушилась 20 декабря, когда из Пярну явилась моя мать. Ей почему-то наш новый жилец не понравился. Она относилась к нему с высокомерием. Когда я была на работе, она сказала Борису, что ему следует уйти, а вернуться можно только на собственной машине. И запретила говорить мне об этом. Хорошо, что Борис приказ не выполнил, и я пыталась его убедить, что живой человек мне в тысячу раз дороже, чем железная машина. Он поверил. Но настоящая драма только начиналась. На Рождество мать и девочки отправились в Пярну. Мы с Борисом остались в Таллинне вдвоем. Однако на следующий день нас ожидал рождественский сюрприз, подготовленный моей матушкой. Она договорилась с моим бывшим мужем (хотя и его прежде не жаловала), и они обратились в милицию с просьбой произвести у нас паспортный контроль. Милиционер пришел, проверил паспорта и объявил, что Борис не может здесь дольше оставаться и должен вернуться в Среднюю Азию. Такое суровое решение, кажется, касалось прописки. Мы были словно побитые. Но ничего не поделаешь, ничем не можешь. Мы провели конец года еще вместе, а на первой неделе 1974-го он уехал. Представляю, каково было ему вернуться назад. К счастью, его хорошо приняли в Хиве, дали работу, предложили снова проводить экскурсии. И когда он ожил и заработал денег на самолет, то прилетел на неделю в Таллинн. И мы снова были очень-очень счастливы.

Борису предстояло развестись со своей второй женой. Она этому не препятствовала. Когда Борис получил развод и сделал мне в письме страстное предложение выйти за него замуж, я с радостью согласилась.

В июне 1974 года он уже был в Таллинне, начался новый этап хождения по мукам.

Прописка в те времена была настоящим наказанием, особенно в столичном городе. А без прописки нельзя было зарегистрировать брак. Только в том случае, если человек шел на тяжелую работу и его поселяли в общежитие, он получал прописку. Борис устроился на кирпичный завод (в Мяннику) грузчиком. Через две недели слег с радикулитом. Зато имелась прописка, а взятка в виде бутылки коньяка помогла приблизить наш заветный день в загсе. Регистрация состоялась 31 июля. Дома нас ждали девочки. Поклонник старшей дочери принес шампанское. Никакого свадебного стола, но чувство огромного счастья...

После этого предстояло начинать новую жизнь в реальном времени. Бориса надо было прописать теперь в нашей квартире на улице Рави. Однако моя мать, тоже прописанная здесь, возражала. И тогда я в первый раз сознательно нарушила закон. Подделала подпись матери, а ей сказала, что Борис как законный супруг имеет право на жилплощадь.

На некоторое время в доме наступил мир. Я работала, дети учились, Борис писал свои рассказы или читал, занимался домашним хозяйством. Для большой семьи закупали много продуктов, и Борис наслаждался хорошей пищей после довольно нищенского питания в Средней Азии. Когда я бывала там, то видела на полках магазинов только буханки хлеба, а молоко привозили в определенные часы. В основном же все покупалось на базаре. А я приняла всерьез шутку Бориса, что мужа надо кормить...

Место ночного сторожа гарантировало совсем мизерную зарплату... Конечно, Борис и в Таллинне хотел стать гидом. Он прошел соответствующие курсы и по окончании их написал о Таллинне статью. Текст произвел фурор. Вместо того, чтобы дать картину, как и полагалось, в советском стиле, он последовал примеру известных русских историков (любил, например, Ключевского). Ему предложили проводить экскурсии в Таллинне с условием, что зарплату он станет получать только через два месяца (как бы "пробный" период). А деньги будут идти сопровождающему его гиду-напарнику. Такое оскорбительное предложение Борис не принял: неслыханно - испытательный срок для специалиста с 20-летним стажем! Возможно, правда, они в чем-то подозревали его, особенно после очерка о Таллинне.* И, надо сказать, не ошибались. Борис от всей души ненавидел советскую систему, наверное, больше, чем мы здесь. Так как основательно натерпелся в Средней Азии...

В поисках работы он также обратился в газету. Ему дали задание, и он, помню, съездил в Вирумаа. Но в общем из этого тоже ничего не вышло - не выносил он газетного духа...

Между тем Борис узнал, что при Союзе писателей Эстонии работает русская секция. Он читал там свои рассказы. Слушали с большим интересом, но не было никакой надежды напечататься. Рассказы не были советскими, даже хуже, - они были антисоветскими. Но участники этих литературных вечеров его сразу же высоко оценили. И одна женщина по имени Галина Алексеевна Каллас (как выяснилось позже, дочь русского адмирала, расстрелянного большевиками) пригласила его к себе домой читать рассказы в кругу любителей русской словесности. Моя дочь Инес говорила: "Борис пошел в салон".

"Салон" оказал Борису и практическую помощь. Ему нашли работу в котельной Мустамяэ. И никаких проблем с эстонским языком, с машинами он мог общаться на любом - русском, английском, немецком, французском. А рабочие были в основном русские. Там не было, конечно, медом помазано, однако Борису подходил график дежурств: четыре

* Похоже, часть рукописи, которая опубликована в "таллинском" спецномере журнала "Вышгород" (№ 5, 2003), и есть тот самый текст.

дня свободных после двух дневных и двух ночных смен. Он выкраивал время писать...

Меня не тревожило, что он не знал эстонского. Дома говорили по-русски, а в более сложных случаях я могла перейти на английский. Но писала всегда по-английски, чтобы более точно выражать свои мысли. Как-то я написала ему по-русски одну поздравительную открытку, и это мое трафаретное изъяснение его сильно развеселило...

Лето мы с детьми всегда проводили в Пярну, в родительском доме с совершенно заросшим садом. Борис тоже приезжал туда во время отпуска и в свободные дни. Копал землю, а я вырывала сорняки. Смеялись: ты в поте лица должен зарабатывать свой хлеб. Он отдыхал, облокотившись на рукоятку лопаты, и рассказывал мне разные истории. Они вылетали, как из рукава сказочные лебеди. Наряду с чрезвычайной начитанностью Борис обладал еще и великолепной памятью. Говорил, что пристрастился к чтению в раннем детстве. Читал даже по дороге в школу - несколько километров. Это доставляло ему огромное удовольствие. Всю жизнь он собирал свою богатую копилку знаний, шлифовал язык и наконец взялся за перо сам. И это не было пробами начинающего писателя.

...Я варила кофе, и за ним Борис тоже что-то мне рассказывал, развлекал. Усталость как рукой снимало, за тяжелой работой мы легко проводили время.

И так было во всем, что мы делали вместе. Все велось в спокойном темпе, как и его речь. Мне нравилось слушать его русский язык. Он говорил медленно и слова произносил аккуратно и звучно. Избегал бессмысленных фраз и слов-паразитов. Но не прилагал никаких усилий, чтобы речь была совершенной, это выходило само собой. Зато когда писал, весьма критически относился к себе. Однажды моя мать увидела один из его черновиков и прокомментировала следующим образом: "Он больше вычеркивает, чем пишет".

В обыденной речи Бориса отсутствовали ругательства, привычные для мужчин. Наверное, эта традиция шла от кубанских казаков, которых он в своем роду насчитывал до семи поколений. Рассказывал мне, как ругался его дядя-ветеринар, используя имена писателей. Вальтер Скотт в его лексиконе означал "скотина", Сервантес - "стерва". А Рабиндранат Тагор - самое крепкое ругательство с усиленно грохочущим "р".

Можно было не отрываясь смотреть, как Борис готовил борщ, который он любил больше всего. Готовил, как научила его мать. Он всегда говорил о ней с такой искренней любовью и нежностью, что и я полюбила эту женщину. Мне запомнилась пересказанная Борисом ее фраза: "Иногда я тоже была счастлива".

Теперь вернемся к борщу, потому что это вообще характерное действие. Он выбирал большой кусок говядины и ставил варить со всякими специями. Затем начинал готовить овощи. Спокойно нарезал морковь, капусту, картошку и лук. Все в правильном порядке и определенном количестве. Наконец клал томатную пасту и, чтобы получить особо деликатный вкус, толлок соленое сало. Лук и соль добавлял последними. На все это уходило обычно часа три. Меня просто восхищала такая терпеливость, которой хватало на все про все. Мне же и голод надо было утолить сразу...

По китайскому астрологическому календарю он родился в год Лошади, в 1930. Любил хорошо и много поесть, но никогда не жаловался на качество пищи, пусть она и подгорала. Наоборот, шутил: “Выше всяческих похвал”. И опять мы от всего сердца смеялись. Его нельзя было не любить.

Вообще реакции Бориса нас удивляли и веселили. Вместо того, чтобы вытереть пыль на фортепьяно или на столе, либо сделать замечание, он вычерчивал по-английски: “I love you”. То же самое делал и на улице, на грязной машине. То же самое рисовал пальцем на окнах вагона, когда стоял на перроне вокзала, отправляя меня куда-нибудь поездом.

...Ну, еще о домашней еде. Он любил солянку, плов, яичницу, сырники, оладьи, пирожки с мясом и торты. Ему ничего не стоило съесть пол-торта. А из напитков - зеленый чай, который пьют в Средней Азии. В Эстонии его заменили черный чай и кофе. К моему счастью, он не жаловал ни пиво, ни алкоголь вообще. В особых случаях, на Новый год, мы пили шампанское и отличное вино.

Помнится, у Бориса было еще одно любимое азиатское блюдо, которое он называл “кавардак”. Для его приготовления требовалось 3 кг лука и один кг говядины. Тушилось все это так долго, что никакого вкуса лука не оставалось... Но предпочтение все-таки отдавалось борщу. Я и не пыталась научиться этим премудростям, но теперь, когда варю борщ, у меня перед глазами стоит Борис... Из своих поездок в Среднюю Азию он всегда привозил несколько больших чемоданов со сладким дынями, и всем их предлагал. В Эстонии любил сливы и яблоки. Но у него было правило - свежие яблоки не есть до 20 августа.* Из осенних эстонских сортов у них с его старшим сыном Сашей, который часто приезжал к нам в Пярну из Москвы, самым вкусным считалось яблоко сорта *treboux*, а у эстонцев это - “бараний нос”, “*lambanina*”. Их забавляло имя яблока. Иногда, когда яблоки в нашем саду поспевали, они вместе снимали их...

75-й год стал для меня в некотором смысле поворотным. Меня послали на четырехмесячные курсы повышения квали-

* По православному календарю 19 августа - большой праздник, Преображение Господне, в народе - яблочный Спас. - Ред.

фикации в Москву. Требовалось написать научную работу. Моим руководителем стал признанный специалист по фонетике английского языка профессор В. Васильев, который посоветовал мне изучать употребление пауз в английской речи. Меня это чрезвычайно заинтересовало, и мои английские друзья снабдили меня соответственными материалами для исследований. Темой стала “Паузация в разных стилях речи английского языка”.* Но сперва надо было сдать зачеты по истории лингвистики и по истории английского языка, а затем по специальности - фонетике. К счастью, кандидатские экзамены по философии и немецкому я выдержала еще в Таллинне. В Москве все нужно было сделать по-русски. Чего стоил один список книг на восьми страницах, которые предстояло “освоить” перед экзаменами. Такой максималистке, как я, на это требовалась уйма времени. Да еще задали подготовить (безусловно, по-русски) доклад не по фонетике, а современному синтаксису. Возражения не принимались, так как все решал сам “царь и бог”, профессор I-го Московского института им. Мориса Тореза Илья Гальперин. Но я справилась, экзамен сдала, и меня ждала работа над диссертацией. Для этого нужно было читать много теоретического материала и публиковаться в русских научных журналах.

Почему я об этом пишу? Чтобы показать, какой опорой во всем мне был муж. Он перепечатывал на машинке все мои статьи по-русски, освобождал от домашней работы, чтобы я могла полностью погрузиться в свои занятия.

В 1978 году здоровье моей матери ухудшилось, она не вставала с постели, и мы привезли ее в Таллинн. Для Бориса это было большим испытанием. Болезнь не парализовала острый язык моей матушки и ее антипатию к моему супругу. Когда меня не было дома, она говорила ему очень неприятные вещи, хотя он больше, чем кто-либо из нас, заботился о ней и ежедневно стирал ее постельное белье. Иногда мать клала в больницу, и тогда мы вздыхали с облегчением. Причем Борис никогда не жаловался.

Правда, Борис имел возможность писать. Он закрывался в своей комнате и писал. Писал и писал. Но для публикации его рассказы не годились, так как умонастроения автора не выдерживали критики. Он читал свои произведения на вечерах в Союзе писателей и в Пярну, у нас дома, где жилали многие российские отдыхающие. Они восхищались. Думаю, что их восторженное восприятие его творчества помогало ему сохранять веру в себя и продолжать писать дальше. Особенно нравились рассказы, где открыто высмеивались, конечно, в художественной форме, власть предрержащие. Абсурдные ситуации давали понять, что все катится под горку...

* В архиве Б.К. сохранилась вырезанная из журнала “Наука и жизнь” (1973, № 10) заметка о новой отрасли науки в США - паузологии. - Ред.

Борису доставляло большое удовольствие слушать себя и снова переживать написанное. События и персонажи на глазах оживали. А для меня эти чтения дороги еще и потому, что становились понятными те незнакомые русские слова, которые он употреблял в рассказах. Досадно, что нет магнитофонных записей его голоса. Эту особую способность большого писателя "показывать" свои произведения отметил и профессор Сергей Исаков, когда в 1999 году, на вечере в Тарту, мне передавали присужденную Борису Крячко (посмертно) премию имени Игоря Северянина.*

...В 1982-м, на весеннем семестре, меня снова вызвали в Москву на курсы повышения квалификации. Борис не выдержал и ушел из дома. О бабушке заботились девочки. В мае она скончалась. Мы хоронили ее в Пярну. Борис тоже был. Я вернулась в Москву - до июня. На этом мои поездки и закончились. В 83-м меня в Институте "сократили". Почему? Не могла понять. Не могла поверить. Но Борис, который знал советские законы лучше, сказал, что это из-за моей старшей дочери Неле. В январе 82-го она вышла замуж за англичанина, а осенью уехала из Эстонии. В связи с сокращением отпала и моя научная работа. Все усилия были напрасны. И снова меня утешал и поддерживал Борис. Он возвратился домой, где отныне его никто не обижал.

Но скоро пришла еще одна беда. У Бориса обнаружили диабет. У него было подавленное состояние, однако он не утратил желания писать. А передо мной встала трудная задача - реконструировать дом в Пярну. Предстояли большие затраты, и мы жили сверхэкономно. Наконец в 1985-м дом был готов, и в 88-м, когда Борис вышел на пенсию, он переехал туда, естественно, вместе со своими любимыми книгами. Полнедели в Таллинне я давала уроки. Остальные дни мы проводили вместе в абсолютном покое. В Пярну ему никто не мешал. Там его навещали брат, сыновья и друзья. Кроме того, времена изменились. В 1989 появилась первая книга Бориса "Битые собаки", которая имела большой успех. И он со страстью продолжал писать. Его рассказы стали печатать в журналах "Таллин", "Радуга", "Вышгород". Его признали.**

** Ходатайство о присуждении этой премии еще при жизни Б.К., в 1997 году, представил фракции русских депутатов Рийгикогу (Эстонского парламента) журнал "Вышгород", однако признание пришло позже, на будущий год, уже не при нем, после вторичной просьбы журнала "Вышгород" и по настоянию экспертов - писателя С. Семеновко и литературного редактора журнала "Радуга" Э. Михайловой. - Ред.*

*** Появились хвалебные рецензии в "Юности", "Огоньке", "Неве", "Литературном обозрении". А в газете "Молодежь Эстонии" 11 августа 1990 года - интервью с писателем Ирины и Виталия Белобровцевых "Человек - отдельный сюжет". Сюжетов у него накопилось через край. Но внешние, политические сюжеты, вытесняли литературные. И в это смутное время "повсеместного замешательства", разделов, обретения государственности бывшими республиками, возникновения нового русского зарубежья, в начале 90-х, Борис Крячко снова много работал "в стол"... - Ред.*

А тут выяснилось также, что повесть “Битые собаки”, которую *кто-то* отослал за границу, опубликована и в Германии, в эмигрантском журнале “Грани”. Под псевдонимом Андрес Койт. Борис говорил, что это имя придумала я, - не помню. Потом, когда “открылся” настоящий автор и появилась возможность съездить в Германию, Борис получил там гонорар, позволивший ему посетить Люксембург, где обосновалась семья Неле, и Париж. Эта поездка имела для него большое значение. В трех вузах он штудировал английский, немецкий и французский языки. И теперь мог впервые использовать французскую речь. Но не только это привлекало его. Он ходил по музеям, которые великолепно знал заочно. Помню, когда я собиралась к дочери в Париж, - в 1988-89 Неле училась в Сорбонне, - Борис советовал побывать в одном необычном музее - Клюни.*

...С большой радостью Борис общался в Люксембурге с Роджером, мужем Неле. Они хорошо ладили. Роджер любил слушать его. И когда я как-то призналась, что мне с Борисом очень интересно, он согласился: Борис с особым артистизмом поддерживает разговор, увлекает. Большие компании он не любил, но когда попадал в них, то уж непременно находил, чем потешить гостей. Одной из таких чудных историй был рассказ о том, как вице-президент США Никсон с двумя телохранителями приватно прибыл в Среднюю Азию, их никто не встретил, и происходили всякие нелепые недоразумения.** Наши американские гости покатывались с хохоту. Обычно это были туристы, которым в СССР позволяли осмотреть три города - Москву, Ленинград (еще не Петербург) и Таллинн. Тут их возили в Таллиннский пединститут - пообщаться на родном языке со студентами и преподавателями (приставляли к ним “почасовика”), а потом группа просилась в какую-нибудь семью - в неформальную обстановку. Так в 80-е годы они попадали к нам. И слушали невероятную историю про Ричарда Никсона, который в Бухаре дал нищенке стодолларовую бумажку, а на нее ничего нельзя было купить и т.д., и пошли сигналы в местные парткомы, и тогда зашевелились “органы”, а найденный “provokator” отказался сесть в их машину... Словом, история славно забавляла наших гостей, тем более, что они тогда не очень любили Никсона...

Благосклонности Бориса хватало на всех, но особое место в его сердце занимали дети и животные. Свои и чужие. На фотографии с дочками - Ниной и Верой - он просто сияет от счастья. К сожалению, жизнь разлучила их. Но с сыновьями - Сашей и Володей - он установил тесный контакт (со старшим, Александром, я познакомилась в Москве), они

* Исторический музей католического аббатства.

** Уже упоминавшаяся повесть “Во саду ли, в огороде”.

понимали и глубоко уважали отца, постоянно переписывались с ним, позже каждые пару лет гостили в Пярну. И это было изумительное время. Потому что его сыновья такие же доброжелательные люди, как их отец. И когда я осталась одна, без Бориса, их теплота и сердечность приобрели для меня еще большее значение.

С дочками Борис встречался в отпусках, в Бухаре. И все... В Эстонию они не приезжали.

Когда Борис вошел в нашу жизнь, моей старшей дочери, Неле, было 17 лет, а младшей, Инес, - 15. У них сложились нормальные, уважительные отношения. Борис ценил их талант. Они видели в нем умного, благожелательного человека. (Собственного отца всегда боялись и презирали.) Каждый занимался своим делом. Неле у себя в комнате с головой погружалась в учебу, Инес в зале играла на рояле. А собравшись за столом, шутили...

У Неле родились сыновья Томас (1984) и Фрэнк (1986). Когда они издалека приезжали к нам в гости вместе с родителями, Борис играл с ними в шахматы, он их очень любил.

У Инес родился сын Ингмар (1985), и поскольку моя дочь со своим первым мужем жили с нами, ребенок был очень близок Борису. Когда родители уходили на работу и по вечерам, Борис укачивал его на руках, пел песенки. Мальчик подрос, а привязанность сохранилась. Даже при незнании русского языка он охотно водил компанию с Борисом. У детей есть свойство без слов находить общий язык. Им так нравилось вместе поесть мясные пирожки, что при этом Ингмар выучил несколько русских фраз.

Потом Инес уехала со вторым мужем в Норвегию, а Эуген забрал сына с собой (1993), но Ингмар до сих пор тепло вспоминает Бориса.

Особо нежные чувства Борис питал к дочери Инес от второго брака - Ирис. Ей было всего четыре годика, когда Бориса не стало, но она долго надеялась, что он вот-вот вернется. И до сих пор повторяет: "Он меня любил", делая ударение на слове "любил". Отец Ирис Ёстэйн снял их вдвоем в нашем пярнуском саду, застав за сбором малины, - такое трогательное самое последнее фото Бориса. Ёстэйн проявил пленку поздней осенью 98-го, и Борис не увидел снимка.

Брат Ирис Ормар родился в 1997 году, Борис только смотрел на него, а взять на руки уже не мог...

...В Бухаре у Бориса была собака Бемоль (Be-Moll), спасенная им буквально из-под колес машины. Как он писал мне, собака повсюду провожала его, и на почту за моими письмами, и в парк, где он садился на скамейку и сразу читал их. Перед отъездом в Эстонию Борис отдал Бемоль охотнику.

Сиамскую кошку нам в Пярну привезла одна москвичка. Зимой она нашла котенка в коридоре под дверь, летом по

справке от ветеринара купила кошачий билет за два рубля, но обратно не взяла: в Москве, в одной комнате, без прогулок, и животному тяжело... Кошку мы назвали английским именем Белинда. Она отличалась чрезвычайной красотой, жила с нами 18 лет, подарила кучу белых котят, и мы всегда сообщали об этом ее первой хозяйке.

Мы относились к Белинде как полноценному члену семьи, хотя кошка была с характером, требовала, чтобы я шла спать вместе с нею, и если я вечером засиживалась, подходила и слегка покусывала за ногу. В саду находилась обязательно рядом со мной. Однажды, когда земля была слишком мокрой, она следила за мной с дерева. Но в иной мир Белинда ушла на руках у Бориса, я как раз была в Таллинне...

В мае 93-го племянница подарила мне трехмесячного щенка, черного, гладкошерстного, от немецкой овчарки и ньюфаундленда. Рики стал любимым и своей преданностью всех поражал. Если я сидела в гостях несколько часов, Рики ждал меня у порога. Если пес лежал у дверей книжного магазина, все знали, что он ждет Бориса. Если Борис провожал меня на автобусной станции в Таллинн, мы втроем усаживались на скамейку. Борис на прощанье обнимал и целовал меня, и Рики тоже пытался участвовать в этом ритуале...

Когда я уехала нянчить детей Неле, Рики взялся опекать Инес. Как-то она оставалась репетировать в пярнуской церкви до поздней ночи (орган требует колоссальной работы), вышла в кромешную темноту, испугалась, но тут подбежал Рики...

Рики вырос в нашем саду свободным и не дался надеть ошейник. Он рвался гулять самостоятельно, выкопал в саду под забором яму и убежал на волю. И однажды выбежал прямо под машину... Мы плакали. Борис похоронил Рики под дубом в саду, куда позднее положил и Белинду, и чайку, найденную на берегу, и одного щенка... Борис часто сидел на этих могилах. (Инес говорит, слышала, как он пел там.)

Мы были неутешны и взяли из приюта месячного щенка. Он вырос и тоже предпочитал гулять свободно. Мы время от времени держали его на цепи, но он вырывался. Новый Рики (в память о том) вместе с Борисом ходил проводить "дорогие могилы". Он выучил эту фразу и, когда слышал ее, воспринимал как команду...

Со всеми животными на улице Борис разговаривал, всем давал имена. Одно время в доме развелось много кошек, так как мы не нашли для Белинды сиамского кота и она стала рожать черненьких. Их не хотели брать, а Борис их безумно жалел, они спали в его комнате. Одну из молодых кошечек он назвал Корасон, что по-испански значит "сердце". Вообще Борису нравилось всем (и людям) давать оригинальные имена. Одного сиамского кота он спас, сняв с дерева, и на-

звал Регато, что по-японски “спасибо”, и тот, конечно, тоже остался у нас...

Как и где Борис писал. И в этом отношении он не был требовательным. Он мог писать в нашей спальне на моем письменном столе. Но больше всего в таллиннской квартире ему нравилось писать в кухне, за большим столом у окна, где он мог варить себе чай или кофе. Кухня здесь большая, так как дом построен по спецпроекту. Она связана с залом, где была тогда раздвижная дверь. Еще он устраивался писать на пятом этаже, в помещении для заседаний членов кооператива, потому что заседания обычно проводились в бане. Иногда сюда приходили дети играть в пинг-понг, и мы поставили ему отдельно стол. Я приносила кофе. Тогда он отдыхал, и мы с наслаждением вели разные беседы. Он знал, как сделать их приятными. За всю нашу совместную жизнь он никогда не сказал мне ни одного дурного слова, одобрял все, что я делала. И я отвечала ему тем же.

Пярнуский период, безусловно, был для Бориса самым спокойным. Летом в наш большой дом приезжали дочери с семьями. Борис любил и работать, и развлекаться с ними. А с супругом Неле Роджером мог часами болтать по-английски.

В Пярну у Бориса была своя комната, куда он собрал все свои книги. Там стоял дубовый стол моего отца. Нашлось место и для пишущей машинки, и для многочисленных бумаг. Он любил эту комнату, там в окружении животных и писал. Когда увлекался, входил в состояние возбуждения, от которого освобождался только по окончании работы. Ему часто снились фантастические и тревожные сны. Он встречал в них Шекспира или других знаменитых писателей.

В свободное время от писания и хозяйства Борис много читал, изучал испанский, рассматривал альбомы по искусству или смотрел по ТВ фильмы, чаще всего бессмысленные. Я удивлялась, он объяснял: приятно осознавать, что есть люди еще глупее, чем он сам. По радио слушал заграничные каналы.

И о болезни Бориса. Вообще-то он был здоровым и крепким мужчиной. Иногда страдал от почек и поясничного радикулита. И вдруг пришла роковая болезнь, постепенно, он ничего не предчувствовал. Но его стала мучить жажда, как и моего отца когда-то. И я послала Бориса к врачу, который подтвердил, что диабет в самом разгаре. Это было начало 80-х. Борис пил таблетки, болезнь пока не мешала ему жить обычной жизнью. Позднее понадобилось перейти на уколы инсулина. Болезнь ослабляла организм, влияла на состав крови. Однажды, в начале 90-х, когда я приехала из Таллина, Борис пожаловался, что у него были ужасные боли в груди. Но когда ему стало чуть лучше, на следующий день, он пошел не к врачу, а на базар, за едой для животных. Я тут

же отвела его в поликлинику, выяснилось, что у Бориса инфаркт, и его на пару недель положили в больницу...

В конце лета 1998 года был второй инфаркт. Я слышала, что человек третий инфаркт уже не перенесет, и страшно испугалась. Но в больнице успокоили: мол, это мини-инфаркт. Через пару недель выписали, хотя самочувствие не улучшалось. Он не позволял снова вести его к врачу, сказал, что хочет быть со своими животными.

Четко помню тот день, 27 октября, 100-летие моего отца. Я сходила на кладбище, а после мы беседовали дома в столовой. Он выглядел усталым и грустным. Я утешала его, повторяла, что очень его люблю, и просила не бросать меня. На следующий день я должна была ехать в Таллинн, по средам и пятницами преподавала в университете культуры. Прикидывала, ехать или нет. Он посоветовал ехать, но просил поскорее вернуться. Поехала. В пятницу вечером мне позвонили соседи. Почувствовала горе, закричала в трубку: "Борис в больнице?" И услышала, что его уже нет на свете. Остолбенела с мыслью: нельзя было оставлять его одного...

В субботу утром я нашла его еще дома на его кровати...

Возникли проблемы с приездом сыновей Бориса - Саши и Володи, визы оформляли очень долго. Помогла Айма, зав. канцелярией церкви, где Инес давала органные концерты. Она позвонила в МИД Эстонии, и через несколько дней визы для братьев Крячко в посольстве Эстонии в Москве были готовы.

Они приехали и помогали мне. Отпевали Бориса в православной церкви. Похоронили на старом пярнуском кладбище, под дубом, рядом с моими родителями. Для поминок я готовила плов, одно из любимых блюд Бориса. Старший сын Саша прочитал отрывок из повести "Битые собаки", молитву за душу любимой собачки. Таким образом, Борис тоже был с нами...

На следующий год сыновья привезли с собой и поставили отцу большой деревянный крест с русской резьбой (Саша - художник-резчик).

Саша и Володя приезжают в Эстонию. Я их люблю как своих детей, и признательна им за нашу дружбу. Моих дочерей они считают сестрами. Благодаря всему этому у меня осталась живая связь с моим покойным супругом. Он хотел уйти первым, но надеялся, что я скоро соединюсь с ним...

Я долго горевала, что оставила в те дни его одного. Но врач сказал, что Бориса невозможно было спасти, если бы даже скорая приехала вовремя...

Устный перевод с эстонского

Ингрид МАЙДРЕ

Литературная редакция

Людмила ГЛУШКОВСКОЙ

КОСМОПОЛИТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Когда моя мать, Ингрид Майдре, вышла замуж за Бориса Крячко, наш дом стал точкой пересечения очень разных культур. Эстонская семья, где до той поры преобладали скорее всего англофильские влияния, вдруг наполнилась большим количеством разно-ино-язычных книг и дыханием Востока. Борис представлял из себя колоритный сплав восточного мировоззрения, славянского темперамента и православной религии, - однако все это было пронизано глубокими знаниями истории и культуры Западной Европы. Его память хранила сотни любопытнейших эпизодов не только из массы прочитанных книг, но из его собственной пестрой жизни космополита Советского Союза - от Кубани до Камчатки, от Молдовы до Узбекистана; и наконец он очутился в Эстонии. Однажды, отвечая на мой вопрос, как же в столь различных обстоятельствах ему удавалось сохранять свой идентитет, Борис объяснил (помню смысл его слов), что он везде погружается в свой независимый и невозмутимый духовный мир, который несет в самом себе.

Вспоминаю его беседы на всевозможные темы: искусство, литература, философия, этимология, история. Любил с нескрываемым удовольствием "делать" речь, интонируя слова. Умел подать пикантные детали из приватной жизни политиков, которые, конечно, не пропускала советская цензура. И многие вещи трактовал совсем не со стороны официального фасада. Например, только от него я узнала, почему на картине Ильи Репина запорожские казаки, пишущие письмо турецкому султану, так гомерически хохочут...

Он умел облечь события в форму анекдота; его литературное оружие состояло из сатиры и живого воображения мастера.

Очень яркое впечатление оставила наша совместная поездка в Среднюю Азию летом 1978 года. Целый месяц мы посвятили осмотру древних памятников культуры Бухары, Хивы, Самарканда. Утром, когда жара в Бухаре была еще терпима, мы совершали кругообороты в старом городе - медресе, мечети, колонны, своды, - Борис расшифровывал язык символов восточной архитектуры, рассказывал древние предания...

В день всего два-три памятника в их культурно-историческом плане. Когда мы были в одном мавзолее, туда нахлынула группа японских туристов. Минуты за три они молниеносно все сфотографировали, этим и ограничив свой

визит. Борис в характерной для него манере поглаживал бороду и констатировал, что редчайшую достопримечательность, лампу Алладина,* туристы и не заметили...

Для моих детей ранняя смерть Бориса была большой потерей, потому что он их радовал, утешал, хвалил и для каждого находил ласкательное имя, которое они и до сих пор помнят. Ингмара называл Исуленькой, дочку Ирис - Марвел, маленького Ормара - Омарчиком...

Своим четвероногим друзьям тоже тщательно выбирал имена, уравнивая их с человеческими существами.

Для меня еще важно, как Борис воспринимал музыку. Студенткой консерватории я по несколько часов в день занималась на фортепиано, в то время как Борис работал в соседней комнате. Волны музыки ему не мешали, во всяком случае, он никогда не жаловался. Одно время я очень интенсивно репетировала "этюд Паганини" Листа, в котором часто повторяются короткие мотивы. Борис усвоил эту музыкальную фразу и нашел для нее словесную форму. В быстрой трехсловной фигуре он расслышал непрерывное повторение имени знаменитого хореографа: "Петипа-Петипа, Петипа-Петипа". Другая фигура каденции звучала для него как "папа Карло". Это были действительно меткие аналогии речи, которые могли бы послужить примером ритма в педагогической практике.

А память Бориса! Во время своей учебы в Париже я поражалась тому, с какими подробностями он рассказывал об этой столице, хотя не бывал здесь, а только читал "Отверженных" Гюго. И радовалась, когда наконец границы открылись и Борис имел возможность увидеть Париж своими глазами...

*Инес МАЙДРЕ-ААРВИГ,
преподаватель музыкальной академии им. Э. Грига (орган).
Берген, Норвегия.*

*Перевод с эстонского
Ингрид МАЙДРЕ*

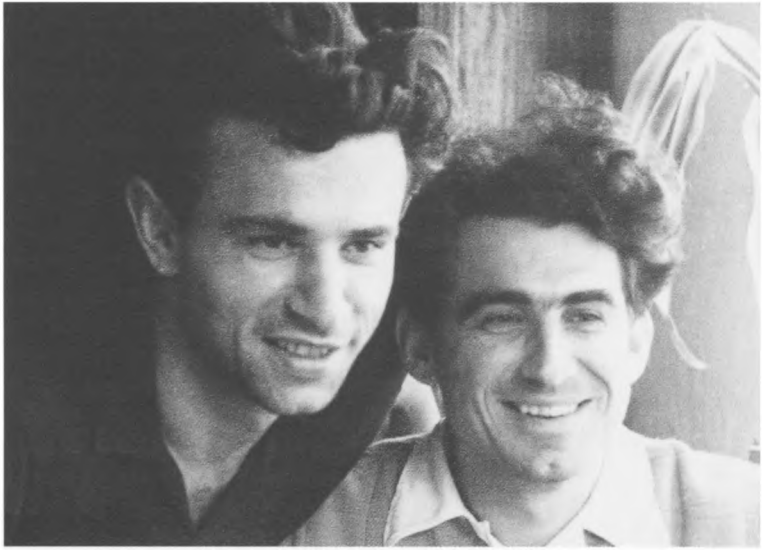
* Миниатюра "Лампа Алладина" опубликована в сборнике "Битые собаки" (историческое эссе "Хива. Мавзолеем Алладина"). - Ред.



Последнее фото. Маленькая Ирис и Борис летом 1998 года собирают ягоды в пярнуском саду.



Борис, его сын Владимир, Ёстэйн, муж Инес, Соня, жена Володи, Ингрид с маленькой Ирис на руках. И тут же Рики.



В юности вместе с братом Олегом.



Братья Владимир и Александр Крячко. 1978, январь.

II

ОТЦОВСКИЕ ТЕТРАДИ

31.12.2004. г. Волжский

...Получил от Саши* вашу передачу: журнал “Вышгород” 1-2’2004 со статьей “Colere”**. Сначала обрадовался безмерно, а потом устыдился, когда вспомнил об отце. Вспомнил ваши слова в последний наш приезд в Эстонию*** о том, что нужно делать еще одну книжку папы. У меня уже 2 или 3 года лежат его рассказы, набранные из черновиков бухарского периода. Это ранние рассказы, наброски, рисунки, с них он начинал. Наверное они “сырые”, незрелые, как мне приходилось уже слышать, согласен. Но в них есть и достоинство - виден сам рассказчик в пору своей бытности гидом-переводчиком в Бухаре, собирающим толпы людей разных национальностей и культур: датчан, немцев, англичан, эстонцев, русских. Я представляю себе эту картину, наверное, как желание собственного присутствия среди этих людей (иногда это 2-3 человека), слетевшихся с разных концов земли послушать удивительные истории не только о прошлом. Вопросы и сомнения, посеянные в общекультурном поле, конечно, требуют личного присутствия, непосредственного участия и большой внутренней работы. У Б. Пастернака есть слова, подхваченные М.Ю. Лотманом:

“Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад”.

В отношении отца я бы употребил слово “художник” (вм. “историк”). Что тут говорить. Я очарован даже этими “несовершенными” рассказами и охотно верю в очарованность той разношерстной публики, прошедшей через его руки. Сейчас, 40-50 лет спустя, нахожу в книгах отца, подаренных ему тогда, дарственные надписи как следы этой очарованности. Конечно, это можно воссоздать, напечатав их (эти рассказы) с сопроводительным комментарием.

Отец, безусловно, был верующим человеком уже тогда, хотя воспринимал свою веру не осознанно, а по призванию, т.е. интуитивно. Он был искренним и доверчивым человеком и всегда старался делать то, к чему лежит сердце. Жить по сердцу - это как солженицынское “жить не по лжи”, т.е. по правде. Потом в “Сценах” он об этом скажет.

* Саша, Александр Борисович Крячко (Москва), старший сын Б.Ю. Крячко.

** Владимир Крячко. “Colere - возделывание”, - Вышгород 1-2,2004.

*** 2003 год. Мы встречались тогда у И.М. в Таллинне и Пярну. - Л.Г.

В общем получается творческий путь русского писателя Б.Ю. Крячко, который прослеживается в его личном, авторском, т.е. художественном дискурсе. Конец его мы имеем. Это “Сцены из античной жизни”. Прорисовывается и середина - “Битые собаки”.* А начала нет (вернее, не полностью). Надеюсь, пока. Находится это начало в Ср. Азии - Бухаре и Хиве, где он был сначала гидом-переводчиком, а потом просто бедным искусствоведам, ступившим на путь сказителя, что в русской культурной традиции совпадает с образом служителя правды.

Конечно, отца надо смотреть с начала, тогда все ясно станет. Как у Козьмы Пруткова: “Отыщи всему начало и ты многое поймешь”. Думаю, желание записывать пришло естественным путем: как рассказчик он созрел, а потребность высказаться натыкалась на идеологические запреты сверху, которые находили понимание и поддержку серой массы простых советских тружеников. Выражение “народ и партия едины” верно отражало ситуацию момента, фиксируя сформировавшийся на 1/6 части суши дух совка в пустых символах (без содержания), господствующих и поныне (символ победы без понесенных жертв, символ труда без трудящихся, символ народовластия без народа)...

В Москве отца по-прежнему издать книгой не удастся. Здесь нужно “раскрученное” имя, готовое принести коммерческую прибыль, или спонсорские деньги на издание. В любом случае это деньги, которые становятся решающей силой там, где не хватает сердца. С другой стороны, как же винить людей в том, что они чего-то не знают, если узнать об этом негде. Знакомство читающей публики в России с отцом еще, по большому счету, не состоялось. Есть некий барьер, в основе которого дух совка. Делаю, что могу, в его преодоление, только у меня плохо получается. Знаю только, что мои творческие успехи неразрывно связаны с отцом. К своей диссертации** тоже отношусь (во всяком случае, стараюсь) как к творческой, а не только квалификационной работе...

Конечно, папу надо еще издавать. Думаю, это надо делать в Эстонии, где его и любят, и знают. Высылаю вам четыре его ранних рассказа, объединенных общей темой: “Минарет Калян”. Хотя я бы объединил их другим названием: “Усто” - мастер. Если следовать хронологии, то получится следующий порядок:

1. Бухара. Минарет Калян.
2. Усто.

* См. одноименный сборник рассказов (Таллинн, Ээсти раамат, 1989), а также “Избранную прозу” (Таллинн, VE, 2000).- Ред.

** Лингвокультурный концепт “война” в английском и русском языках.

3. Чингиз-хан в Бухаре.

4. Случай, ставший легендой.*

Все названия, кроме первого, условные. Я их сам дал, поэтому их можно менять. Кроме набранных текстов высылаю ксерокопии черновиков. Сами черновики (две общие тетради) высылаю не рискуя, боюсь. Весь материал фрагментами разбросан по тетрадям, чему есть соответствующие пометы. Например, 1 или 2 тетрадь, или № страниц, которые я представлял сам (синяя паста). Фрагменты пришлось составлять. Однако от себя я ничего не добавлял. Не весь черновой материал обработан. Например, с 72 по 82 стр. остался в черновике. Смотрите сами. Есть еще заметки дневникового культурологического характера, что требует обработки.

...Сегодня канун Нового года. Тяжелый это был год, но слава Богу, счастливо пройден. В августе этого года у нас состоялся переезд в новую трехкомнатную квартиру. А на следующий день я буквально свалился с копыт и попал в больницу. Раньше это называлось апоплексическим ударом, а теперь - ишемическая атака. Название красивое, даже почетное - как в бою побывал. Теперь вслед за Александром Сергеевичем могу сказать: "Мне бой знаком - люблю я звук мечей, от первых лет поклонник бранной славы". Потом был санаторий, куда меня послали на реабилитацию. Там я смог спокойно заняться диссертацией в деревенской глуши среди кур, гусей, стариков, на свежем воздухе и бесплатных харчах. Много сделал, чему безмерно рад. И теперь я точно знаю, что худа без добра не бывает.

Теперь я снова работаю, воспитываю сына Ваню. Он учится в 5 классе и многое уже знает, хотя еще больше ему внове...

...Прошлым январем еще этого 2004 года ездил в Москву со своими студентами. Провели там всего 4 дня, но это были очень насыщенные дни: Третьяковка, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, творческий вечер памяти Александра Меня** (ради него, собственно, и приезжали). Обратно домой привез целый рюкзак книг, фильмов и впечатлений. Потом у себя в институте на "Логосе" все это смотрели и обсуждали. "Логос" - это студенческий лингвокультурологический клуб, где, к сожалению, пока только я пытаюсь говорить о константах русской культуры и христианских ценностях. Получается по-разному, но поражений больше: ни у кого не хватает времени, все спешат - понять можно. Но бывают приятные открытия, маленькие "нечаян-

* Мы нашли в пярнуском домашнем архиве писателя и другие рассказы, дополнив бухарский цикл, подготовленный к публикации Владимиром Крячко по черновым рукописям отца ("Вышгород" 3-4, 2005). Ждут своего часа - отдельной книги - все "Восточные этюды" Б.К. - Ред.

** Библия, подаренная Б.К. о. Александром и с пометками батюшки, хранится теперь у Владимира Крячко.

ные радости”. Например, когда весной сажали деревья, и ребята в этом активно участвовали, находили и приносили саженцы, сажали их. Кто-то меня спросил: “А какое отношение это имеет к лингвокультурологии?” Я ответил, что в лексеме “культура” есть сема “земля”.

Потом мои студенты перешли на 2-й курс и мы разошлись. А новые все никак не могли понять, зачем надо оставаться после учебных пар в каком-то “Логосе”, и диалог не получался. Но вот неделю назад у нас состоялся семинар (я называю их встречами) на тему “Intelligent” и “интеллигент”: споры о понятиях”. Несмотря на сходство словоформ в английском и русском языках, понятия в них очень разнятся. На встречу пришли философы, был “круглый стол”, выступали студенты, я тоже. Говорил о Тамаре Павловне Милютиной.* Она в этом году ушла от нас, а на встрече как бы присутствовала и освятила ее доброй памятью. Многие потом говорили (это чувствовалось), что было интересно...

*Владимир КРЯЧКО,
филолог, старший преподаватель кафедры иностранных языков
Волжского филиала МЭИ*

О своем младшем сыне Володе, когда тому должно было исполниться 12 лет, Борис Крячко писал из Хивы в марте 1974-го И.М. так: “Он середина на половине: задумчиво печальный и отчаянно веселый. Похож внешне и темпераментом на моего папу. Быстр в движениях, добр, умен и смышлен, читает много и думает сам, обладает слухом и голосом, красив, как чье-то счастье, учится превосходно и стесняется этого...”

В 1981-м Б.К. встречался с сыном в Ленинграде, будучи в гостях у брата Олега. “Приходил Володя и провел с нами целые сутки: строен, высок, чернобров, чист и хорош, как нечаянное счастье. Общителен, но не суетлив; разговорчив и весел, но говорит в манере думать над тем, что говорит. <...> ...делился казенным своим житьем...”**

* Т.П. Милютина, как видно и по письмам Б.К., активно “присутствовала” в жизни Бориса Юлиановича. Он дружил с нею, жил у нее в Таллинне, часто гостил в ее семействе в Тарту, работая там и проверяя на слухателях, облеченных его доверием, свои сочинения (звана была, например, профессор Тартуского университета, преемница Ю.М. Лотмана, зав. кафедрой русской литературы Л.Н. Киселева). Оба сына Крячко, в память об отце, с Т.П. Милютиной познакомились, побывав у нее в Тарту. - Ред.

** Поступил сначала, по стопам старшего брата, в Высшее военно-инженерное училище. - Ред.

БУХАРА. МИНАРЕТ КАЛЯН

КАСЫДА

В год четыреста девяносто восьмой хиджры и в третий год своего счастливого царствования его величество тамгадж-хан Арслан Карахани, ревнитель веры и средоточие мудрости, щит ислама и прибежище справедливости - да продлится господство его и увеличится срок жизни его - велел построить в городе Бухаре большую соборную мечеть вместо прежней и украсить ее минаретом, лучше которого не было.

А у великого тамгадж-хана, который был халифом своего времени, находились под высокой рукой многие города - и Несеф, и Балх, и Кеш, и Самарканд, и еще другие, но благородная Бухара была истинным украшением царства и потому государь заботился.

И созвал Арслан-хан свой диван, а там были люди достойные и знающие, и сказал им хан о своем желании, и было это одобрено, ибо правдиво сказал тот, кто сказал: “Могущественный правитель да строит красивые и прочные здания”. И посоветовался хан с мудрецами, которым были подвластны звезды, и был назван благоприятный день для начала строительства, и повелел хан созвать к себе лучших зодчих государства, а повеление великого тамгадж-хана подчиняло мир и покоряло свет и по-всюду имело силу.

И пришли все мастера, кого назвали, а были они славными строителями, украсившими многие города прекрасными зданиями - и мечетями, и минаретами, и дворцами, и караван-сараями - и всех их Аллах всевышний, осведомленный обо всем тайном и скрытом, умудрил опытом и просветил знаниями, как они того заслуживали. И поручил им тамгадж-хан возведение различных построек и мечетей, долженствовавших стать драгоценными камнями в оправе первородного города.

И находился в числе строителей один мастер, и был он низкоросл и тщедушен телом и не стяжал пока славы и известности своему имени. И приказал ему великий хан возвести минарет величественный и небывалый, и все удивились, но никто не осмелился возразить. Так самое

важное дело, о котором задумывались многие почтенные зодчие, было поручено человеку, еще ничем не прославившему себя.

И никто не заметил, что этот мастер отмечен знаком Аллаха, который есть самый великий зиждитель и совершенный строитель. И не знали также, что избранный ханом для постройки минарета зодчий был единственным во всем собрании, видящим в ночи будущего истинный путь.

А мастер тот был человеком превосходного ума и наилучших достоинств, и потребовал он для постройки небывалого минарета неслыханных средств, и все удивились до предела и сочли его безумцем. Великий же хан усмотрел в этом прозорливость зодчего и промысел того, который везде, и согласился уменьшить доходы казны, пока минарет будет строиться.

В назначенный день и в указанном месте собрались простые строители и знающие мастера и стали готовить ложе для опоры минарета. И главный зодчий был здесь.

Когда сняли верхний слой почвы и прошли большой слой песка и дошли до глины, то подумали: “Довольно”. Но зодчий приказал углубиться дальше, и был он один прав, а все заблуждались, потому что только ему было известно. Снова прошли глину и начался песок, а работать было трудно, так как песок осыпался, но мастер распорядился рыть глубже. Наконец строители достигли глины, которая была мокрой, и мастер - да удлинится его тень - велел остановиться.

И положили плашмя на глиняную основу кирпичи, которых было заготовлено много, означив опору минарета правильным кругом, и стали возводить. И связывали те кирпичи чудесным раствором ганча, замешанным не на воде, а на верблюжьем молоке и на яйцах, и добавляли в раствор золу, чтобы опора минарета всегда возрождалась от влажности, потому что так приказал зодчий, и был приказ правильным, содержащим все условия правильности, и никто не нарушал. А еще зодчий приказал делать опору минарета с корнями и пустил ширию три больших корня, чтобы постройка - да не перестанет она стоять на своих устоях до тех пор, пока Аллах всевышний не унаследует небеса и землю и то, что на ней, - была живой и прочной.

Место строительства приобрело веселый вид, потому что туда постоянно приходили любопытные и смотрели, как в ганч льют много молока и разбивают яйца и как арбы с молоком в кожаных мешах и с яйцами в тростниковых корзинах во множестве приезжают сюда из всех се-

лений Бухары полными, а уезжают пустыми. Такое дело было в диковинку, и все удивлялись, а многие бранились и говорили, что строители изводят добро без пользы.

Да будет известно, что в любом государстве есть мздоимцы, обремененные большой заботой о себе и живущие неправедным трудом. Эти стяжатели - поношение веры и сокрушение основ - горазды были на всякое лихоимство в ущерб любому делу, и нельзя было возразить им, так как были они высокими сановниками, облеченными доверием тамгадж-хана, и находились на виду у него.

Был день, когда векиль прислал гонца к зодчему и приветствовал последнего наилучшими приветствиями, подобающими падишаху, а затем просил отвезти в дом попечителя государственной казны две арбы яиц. И была просьба исполнена, и отправил зодчий две арбы с яйцами в указанный дом, а были то яйца протухшие и в дело не годились. От этого обуял векиля гнев, и затаил он на мастера обиду, спрятав змею мести в складках безмерного корыстолюбия.

И был другой день, когда старший евнух ханского гарема, носивший почетное звание главного хранителя розового сада тамгадж-хана, тоже прислал гонца с приятными приветствиями и соответственной просьбой о яйцах. И дал зодчий гонцу для главного садовника два яйца, а мастера и строители громко смеялись. Гонец понял смысл и рассказал пославшему его. И впал мастер в немилость у старшего евнуха, и возросло число его недоброжелателей, ибо у праведника всегда бывают враги из сонма неправедных.

Плохо пришлось бы зодчему, и скорби его усилились бы, но промыслом Аллаха милостивого, милосердного, тамгадж-хан узнал об остроумии и смелости строителя и развеселился, и пристыдил вельмож, и оградил зодчего стеной своих похвал от стрел зависти приближенных, и много этим способствовал.

Все дни, кроме пятниц, к месту строительства везли на арбах яйца и молоко, но никто более не покушался и ничего не пропадало, из-за того что велик был страх перед гневом хана, и зодчий находился у него в милости.

Прочно и ловко ладилась опора минарета: рабочие делали замес ганча в тагоре, а подручные брали тагору и подавали ее подмастерью, а тот уже брал замес горстью и подавал мастеру; другие подручные подавали кирпичи, а мастер те кирпичи брал и скреплял их ганчем, а по верхнему слою ганча делал пальцами желобки, чтобы кирпич связывался крепче.

Работать приходилось быстро, чтобы раствор не за-твердел прежде времени, а главный зодчий успевал за всем смотреть, и не было такого, кто превосходил бы его зоркостью и мудростью и оспаривал бы его советы. И были ему подвластны синусы и их тени, и мудрые числа Аль-Хорезми, и прочие науки, помогающие строить. Приказал зодчий проложить опору минарета двумя слоями известняка, который смягчает земное содрогание и сберегает постройку, и было это сделано. Когда опору минарета вывели на уровень городской поверхности, то верх опоры увенчала дандона, и фундамент был готов.

Строительный период, приходившийся на лето, подходил к концу, и теперь постройка должна была отдохнуть до лета следующего года и дать осадку. Так заповедано было издавна знающими строителями, и был в этом смысл, и здания были прочными.

Сообщили тамгадж-хану о строительных расходах, а самым дорогим было строительство минарета, и предался хан сомнениям и запахнул полу щедрости. И призвали зодчего во дворец, и передали повеление великого хана продолжать строительство минарета без перерыва в работах, ибо так стоило дешевле.

И воспротивился зодчий всей силой своих познаний и пытался осветить помещение высокого дивана светильником прозрения, дарованным ему свыше. И истратил он все стрелы из колчана доказательств, и упали стрелы его за пределами понятий государственного совета, и он не преуспел. А зодчий был человеком прямого нрава и потому, бросивши поводья терпения, он ступил на стезю дерзости и сказал много всяких слов, но и это не помогло.

Покинув Арк, он в тот же день надел халат странствий и, оседлав коня благоразумия, выехал на ристалище бегства и помчался прочь от Бухары. И увез зодчий с собой все жемчужины своих замыслов, так что нельзя стало продолжать строительство, и работы прекратились.

А на следующий год возобновились работы, и возросли, соответственно, неоконченные постройки города, и начаты были новые. Строили мечеть Магоки-Аттари и Намазгох, и мазар Чашма-Аюб, и соборную мечеть, и другие здания, только минарет не строился.

Лихоимцы, воры и завистники, перед которыми зодчий крепко закрыл дверь исполнения желаний, решили, что их время пришло, и понесли на него в присутствии государя всяческую хулу. И не мог тамгадж-хан Арслан отличить правду от вымысла, и склонил ухо своего доверия к наветам, и гнев его возрос многократно. А через не-

которое время мухтасибы и миршабы городов и селений получили фирман разгневанного тамгадж-хана Арслана о поимке зодчего и о предании его смерти посредством усечения главы. В указе перечислялись преступления этого сына греха и разорителя казны и упоминались другие провинности, и приводились приметы, и повсюду в государстве на базарных площадях глашатаи возвестили о том народу и объявили награду тому, кто поможет. Но все попытки оказались бесплодными, и зодчего не могли сыскать ни через год, ни через два года.

На третий год к миршабу города Бухары среди дня приблизился некто в халате из тысячи заплат и назвался зодчим и попросил воздаяния ханской милости. Миршаб и стражники, бывшие с ним, немало подивились, потому что редко так случалось, чтобы злоумышленник по доброй воле пресекал корень своей жизни и отдавался в руки власть предержащим. И схватили злодея и обрекли его на смерть, но молва об удивительных событиях обладает крыльями птицы, и достигла молва ушей тамгадж-хана прежде, чем дело свершилось. Задумался тамгадж-хан и пожалел еще раз взглянуть на преступника, и привели к нему зодчего, и узнал великий хан, что это - тот самый человек, и сказал ему: "Мы знаем, что душу твою скоро возьмет Азраил, но мы хотим также знать причину твоего бегства".

И ответил зодчий хану: "Государь, я это совершил ради твоей славы. Как иначе мог я противиться твоему желанию строить минарет сразу? Я знал, что возведу минарет, и простоит он сто лет и больше, а потом упадет. Срока этого мне хватило бы, чтобы прожить свои дни в довольстве и покое. Но ты хотел, государь, чтобы я построил минарет невиданный, а я хотел, чтобы он стоял много тысяч лет и чтобы люди, которые придут после нас, вопрошали бы: "В чье счастливое царствование возведен этот минарет?" И им ответствовали бы: "В царствование достославного и великого тамгадж-хана Арслана Карахани, удивлявшего мир своими поступками, - бесконечная ему хвала и благодарение". Нас тогда, государь, не будет, а минарет будет, и имя твое с ним пребудет. Твоей казне разорение, мне дохода никакого нет, но посуди сам, великий, кому же прибыль?"

И попала стрела в цель. И положил хан руку утешения на рану своего честолюбия, и захватила его сладкая боль величия и славы, ибо ни одна касыда и ни один придворный никогда не говорили ему столь правдивых слов. И растопилась железная подкова его сердца на огне рассудка, и отменил хан наказание и опозорил недоброжелате-

лей, а зодчего возвеличил словами и одарил халатом и повелел возглавить строительство минарета без постороннего вмешательства, а по усмотрению мастера, которому один всемогущий Аллах советчик.

Время строительства подошло и постройку возобновили. Многие известные мастера, превосходившие зодчего возрастом и опытом, согласились выполнять черные и трудные работы, лишь бы быть под рукой этого человека. У всех мастеров были имена, только главного зодчего звали Бако, но все называли его Усто - Мастер, и это звучало как высокое имя, почтительно и благородно.

И Усто заботился, чтобы все строители до последнего раба были сыты и трижды в день питались мясным, так как известно, что голодный человек нерадив в работе и высокие помыслы ему чужды.

И был он строг и справедлив и довольствовался малым, а к месту строительства приходил раньше всех и уходил позже и делал больше других. И каждый дивился его уму и повиновался.

А жилище его находилось рядом, и не было в доме роскоши, потому что мастер был скромн и не стремился к богатству, и не присутствовала там женщина, а был он одинок, потому что сердце его и разум были заняты.

Уже поставили десятигранный барабан и украсили его изысканным узором, а от десятигранника повели ствол минарета. Изнутри сразу же делали лестницу навстречу солнцу и клали стену, а снаружи ствола в подвешенных корзинах сидели самые знающие мастера и укладывали кирпичи по плану и расчету главного зодчего.

И вырос минарет год от года и на четверть, и на треть, и наполовину, и больше, и строители суетились на нем и усиливали своей видимой с земли незначительностью величие сооружения. Ученые и простые люди дивились красоте его, потому что был он строен, как буква “алиф”, и прекрасен, как луна в ночь своей полноты.

И родилось имя его прежде самого минарета, а причиной было всеобщее внимание и известность. Когда проезжал мимо багдадец, то поднимал голову так, что у него начинала болеть шея, и он говорил: “Калян”. И степенный купец из Дамаска, и веселый ширазец, и хорезмиец говорили, глядя на минарет, то же слово. А бухарцы гордились и соглашались, кивая головой: “Калян, Калян”. Не “Большой” и не “Высокий”, а “Великий” - Калян! И площадь называли Пои-Калян, то есть “Подножие Великого”, и соборную мечеть тоже называли Калян.

Когда минарет был почти готов, кто-то слазил по-

стройку, и она упала. И был в Бухаре великий плач и горе, оттого что многие строители погибли, но поистине не постигает око размышления предопределение всеведущего Аллаха, в длани которого находятся бразды управления событиями, и зодчий уцелел. И наступили черные дни, и стал Усто притчей во языцех, и жители указывали на него перстом, как на источник тьмы грехов и виновника всех бед и печалей.

Но в хилом теле зодчего - да продлит Аллах благодать дыхания его, освятит доказательства его и соделает местопребывание его выше высшей точки Фаркадов - жил дух великого бойца, не знающего покоя и довольства собой, и минарет был вновь возведен и предстал. А от начала его строительства прошло двадцать два года, и был он моложе соборной мечети на семь лет.

Великий тамгадж-хан Арслан, отягощенный возрастом, государственными заботами и военными неурядицами и обремененный недугом паралича, раздробившим локоть его могучей десницы, выехал принять минарет, не имеющий подобия. И осмотрел хан постройку, а с ним вельможи, сановники, двор и семья, и минарет поразил их великолепием, а сахаром своей красоты прикрыл базар всех продавцов сладостей.

И велел хан поставить мастера пред свое лицо и сказал, страдая от одышки и старательно выговаривая слова: "Ты - действительно великий зодчий. Такие, как ты, рождаются один раз в тысячу лет. Повелеваем вырезать твое имя на фризе у фонаря, так как ты заслуживаешь".

"Государь, - сказал зодчий, и скромность озарила его лицо и явила благородство его сущности. - Государь, что значит мое имя? Это сотрясение воздуха и пустой звук. Что сделано - то сделано, а мое имя только помешает твоему имени, великий хан".

Арслан-хан отпустил мастера и сказал приближенным: "Этот зодчий - ровня нам по возрасту. Третий раз мы с ним беседуем, и всегда он находит верные слова для выражения очень тонкой мысли и оказывается прав".

И стал минарет сокровищем города и украшением лица земли, и распространилась слава о нем повсеместно, и люди стали мерить величественное и прекрасное в земной юдоли по бухарскому минарету. А слава о строителе минарета достигла возможных пределов и превзошла их и вызвала зависть прочих властителей. И многие султаны и падишахи воспылали желанием держать зодчего близ своего сердца, и предложили ему богатство и почет, но он отказался принять.

И был тот минарет поставлен во славу Господа миров и первой буквой имени его, начертанной на драгоценном пергаменте вечного синего неба, которому нет конца.

ГЛОССАРИЙ

Алиф - первая буква арабского алфавита; название заимствовано от греческой буквы "альфа", передает звук "а" и пишется в виде вертикальной прямой.

Азраил - ангел смерти в исламе.

Арк - крепость в Бухаре, бывшая резиденцией местных ханов.

Векиль - министр двора.

Ганч - алебастр.

Дандона - ряд кирпичей, поставленных ребром.

Диван - совет министров.

Касыда - хвалебная ода.

Кеш - ныне г. Шахрисабз.

Мазар - постройка культового значения на могиле мусульманского святого.

Меджлис - совет, собрание.

Миршаб - начальник стражи.

Мухтасиб - блюститель нравственности.

Несеф - ныне г. Карши.

Тагорá - большое глиняное блюдо, применявшееся в строительстве.

Тень синуса - тангенс.

Фаркады - две яркие звезды в созвездии Малой Медведицы.

Фирман - указ.

Хиджра - летоисчисление по мусульманскому календарю со времени переезда (хиджры) Мухаммеда из Мекки в Медину. 498 год хиджры соответствует 1105 г.

Числа аль-Хорезми - таблицы, которые составил в IX веке великий математик Муса Аль-Хорезми к своей книге "Хисаб аль-джебр" (алгебра).

УСТО

Вот уже переписал я своей рукой счастливый список со всем, что в нем написано на лицевой и на оборотной стороне и на полях его, списыванием правильным и усердным. Люди, наблюдавшие за изложенными событиями, сообщили мне об отсутствии расхождений в смысле прибавления лишнего или пропуска и удостоверения. Цель моя - продолжение упомянутого списка событий, а забота моя - их подлинность, дабы не покрылось налетом забвения то, что было, и не подверглось никоим образом ни по какой причине искажению. А я - раб слабый и невзрачный из обученных премудростям калама и ищущих знания - пусть простит Аллах всевышний грехи мои и прикроет недостатки, которых много.

Речь о шейхе строителей мира, доказательстве великих

века, знамени больших и малых каменщиков, оживителе истины Усто Бако Калян - да будет светозарной его могила, да не увянет его слава в плодах земли лучшего из городов, и да обретут предельное совершенство жители этого города вследствие любви его к ним и поступков.

Был он щедро взыскан милостями тамгадж-хана и посулами земных владык, домогавшихся его службы, и жилище его могло бы украситься, а жизнь стала бы легкой и приятной. Но таков удел высокодостойных, прощенных и наилучших из сынов Адама, что золотая пыль не пристает к их платью и не имеет власти над ними. Зодчий распорядился и разделил состояние между вдовами и сиротами тех, кто без времени был призван Аллахом в райские сады. И был дар окончательный, нерушимый, вошедший в силу, законный, без обмана, плутовства и без зловредных условий. И выпустил он из своих рук и своего владения то, чем владел.

Но дьявол незаконнорожденный и многократно проклятый посеял семена зависти, и дал посев всходы. Люди, в ком имелась страсть к стяжанию мирских благ или к домогательству высокого сана, кто возвеличивался перед бедняками и наряжался в дорогостоящие платья, и избегал грубых одежд, и покупал рабов, и набивал без меры свое жилище добром или стремился к этому, отвернулись от зодчего и сказали: “Вот бесноватый!”

Когда Аллах всемогущий создал небо, землю, воду, тварей и людей, то привел весы мироздания в состояние двух противоположных крайностей и уравновесил день и ночь, тепло и холод, рождение и смерть. Он, великий и славный, создал тварей разнообразными по характеру и по природе: белых и черных, красивых и безобразных, высоких и низких, сильных и слабых, смелых и трусливых согласно со своею всеобъемлющей мощью.

И сделал он среди людей лучшую крайность, а она случается, когда все неправы, кроме одного, кто знает великое слово и обладает бесчисленными знаками талантов и упорствует. И сотворил он худшую крайность, дабы могла существовать лучшая, когда все люди правы, кроме одного, который не ведает праведности и обладает бесчисленными пороками и упорствует. И оба разделили поровну гонения, хулу и мытарства. Но пребудет над первым всепрощение людей и вознаграждение Аллаха и слава предвечности. А над вторым да тяготеет проклятие и прекратится род его и да питается он колючками и пьет воду от стирки. И вмещал зодчий лучшие крайности, а люди, лишённые одежды истинного знания, говорили: “Бесноватый”.

После того, как минарет упал и был опять возведен, мастер утратил спокойствие и пустил в оборот страданий и мук товары своих сомнений. И был строитель обречен до конца жизни измерять линии минарета, чтобы убедиться в правильности, а затем возвращаться к расчетам и углубляться и искать погрешность. И высчитывал он тысячу раз и больше величины о густоте субстанции и о весовом насилии, и выискивал несовпадение одного с другим, которое создает гнет или пустоту и грозит постройке разрушением. Но не было погрешности, и постройка была совершенна, и сомнения зодчего укрепились. Многие видели его страх и сказали: “Поистине, это человек - бесноватый”.

А еще носил зодчий на совести гнет душ погибших строителей и просил всеильного Бога о нерушимости их памяти. Внял всеильный мольбам, а доказательство его всеилия есть такие крайности, как верх и низ, и переложил он гнет постройки на человека. И помутился разум зодчего, и согласились все, сказав: “Да, он - бесноватый”.

Было так, что настали неурожай, мор и смутные времена, и народ снял узду повиновения и вышел из пределов власти многих государей. Тогда султан Санджар Сельджукид своим победительным мечом доказал неправомерность владений других властителей и стал султаном Востока и Запада. Разлетелся прах лугов Мавераннахра под копытами туркменских коней, и въехал султан в Бухару и увидел минарет, и понял причину, из-за которой планеты и светила небесные сместили круги склонений и преисполнились к земле завистью. И показалось ему собственное величие ничтожным, и не сразу поверил он, что смертному под силу чудо из чудес, и поклялся он клятвой влюбленного, имеющего капитал, поставить нечто подобное - иншалла! - в Мерве.

И пожелал он пожеланием немедленным увидеть человека, сотворившего минарет, а у тех, кто стремится, нет сил для ожидания.

Сказали ему тогда: “Хазрет, этот мастер - бесноватый”.

Сказал султан: “Мы не верим, ибо в том, что видим, нет согласия с тем, что слышим. Пусть придет”.

Послали за мастером важных вельмож, чтобы расположить его и не причинить ущерба его достоинству. Зодчий пришел, и все увидели, что в его росте, осанке и походке нет значительности, а в нем самом нет общности с постройкой. Была в этом загадка из загадок, что не вся-

кому суждено разгадать. Султан же решил ее прежде других и сошел с коня, и пошел навстречу мастеру.

Сказали в свите: “Велик наш государь! Он, победивший иранцев, арабов, гузов и кара-китаев, намерен беседовать с простолюдином, как отец с любимым сыном”.

А султан был ряб от оспы, коренаст и крепок. Оттого придворным затруднительно было сравнивать его с кипарисом по стройности и с луной по красоте и служить ему было нелегко. Имел он пристрастность к трем предметам, а первым было могущество власти, а вторым была власть разума, а третьим - сила золота. И окружал он себя всем, к чему склонялся.

Приветствовал высокородный Сельджукид низкородного строителя наилучшим саламом и положил руку к сердцу, а драгоценные камни вспыхнули пламенем и ослепили. Почувствовал зодчий опасение, что один из камней султана может переменить хозяина и, чтобы этого не случилось, приблизился и не возвеличил.

Известно, что разум человека приходит в движение от чувств, а чувства того, кто принял дар незаслуженный и сверх меры, побуждают к возврату долга. Слабый человек таким образом попадает в кабалу и часто совершает дела недостойные и пагубные. Смысл поступка зодчего был таков, что он не хотел ехать ни в Мерв, ни в самый Багдад по причинам уже сказанным.

Всех удивил мастер непочтительностью с повелителем, и не могли окружающие сказать, кто из двоих господин, а кто раб. Целые народы находились у султана в подчинении, а здесь он был бессилен. Подобное происходит оттого, что Аллах-сотворитель сделал человека творцом и наделил его творчеством непродажным и душой неподкупной и запретил брать того человека силой и властью, ибо это пойдет в убыток.

Но султан превосходил умом ханов, эмиров и вельмож и поэтому оправдал поведение мастера, и принял вызов, и решил победить. Он сказал множество превосходных слов о минарете и о красоте его, и о прочности, и о совершенстве, а мастеру воздал хвалу и объявил шах прыгающим слоном.

Зодчий ушел от угрозы шаха и всячески очернил постройку, и унизил себя, и оскорбил этим собеседника. И прочитал он гнев, написанный у султана на лице и между бровями, оттого что был человеком грамотным и умел читать.

Тогда Санджар напал конем и повторил похвалы, и шли его слова от души и были страстными, как молитва,

так как призвал султан во всеуслышанье Бога, ангелов и людей свидетельствовать истину.

Мастер устыдился и понял неизбежность мата, и решил пойти на жертву ладьи, что зовется безумием. Он сказал, что минарет не крепок и часто колеблется, а потому постройку приходится подпирать пять раз в сутки: во время утренней молитвы “саят ас-субх” и полуденной “саят аз-зухр”, и после полудня “саят аль-аср”, и вечерней “саят аль-магриб”, и ночной “саят аль-иша”.

Султан рассмеялся, сказал: “Тот, кого мы знаем по имени Великого Мастера, забыл, что благому делу хорошо помогает нечетная молитва “витр”, а также молитва во исполнение желаний “саят аль-хадж”. Слава Аллаху, определяющему срок, а милость его пребывает с теми, кто помнит о пределе дней и о сроке жизни. В расточительстве времени Усто Калян превосходит багдадского халифа, но имеет соперников среди благочестивых имамов. Это - невероятно”.

Так султан не принял жертву ладьи и сыграл бы дальше, если бы случай не смешал фигуры. Один из султанских гулямов, оберегая повелителя от дальнейшего, прервал беседу. Сказал: “Судья царей, феникс победы и меч миродержавия теперь видит, что этот человек сбивчив в речах, нетверд рассудком и недостоин внимания хазрета”.

Что касается зодчего, то он не владел искусством называть жемчуг красивых слов на нить приятного слога и потому его слова, обращенные к гуляму, были таковы: “Что ты понимаешь, нарядный мул! Разве тебе дано унижить меня или украсить твоего господина? Для меня он не феникс и не судья, а сильный и властный человек”. И еще сказал султану: “У тебя в свите есть невежды. Ты их прогони”.

Краткостью речи мастер произвел столь сильное действие, что у вельмож раскрылись рты и они уподобились смущенным ворам. Тем временем Усто проявил непочтительность и отвратился, и стал удаляться. И сопутствовало ему змеиное шипение сорока сабельных жал, извлекаемых из ножен, а слова султана больше кирпича ударили его в худую спину: “Безумец, наказанный Аллахом, уже наказан в силу этого самого. Оставьте его”. А везирию сказал: “Этот человек чрезвычайной глубины”.

Все дни Усто ждал наказания, но привычкам не изменил и беспокойства его относительно постройки не убавились. Однако судьбе было угодно, чтобы ему больше не причиняли иного вреда, помимо случившегося.

Прошло много дней после того, как султан Санджар

покинул Бухару. Однажды три туркменских скорохода, отмеченные знаками близости к султану, отыскивали жилище мастера и спешили, и позвали его, и осведомились, тот ли он человек, кого называют Усто Калян.

Ответил: “Так называет, кто заблуждается. Вы видите, что это - несправедливо”.

Сказал один: “Хазрет помнит о вас и говорит слова: - Мир вам!”

Ответил: “Султану - мир!”

Старший гонец принял сверток от младшего и положил к ногам строителя.

Ответил: “Не поеду”.

Сказал один: “Хазрет говорит о вас: - Нет силы в этом деле, кроме его, и нет другой воли, кроме его”.

Повторил: “Не поеду”.

Сказал один: “Хазрет приказал доставить и ничего не требовать и не просить взамен”.

Ответил: “Благо дающему”.

Сказал один: “Хазрет говорит слова на сегодня, на завтра и на сто лет: - У врат султанской милости в Мерве для вас нет привратника”.

Ответил: “Султану - благодарение”.

Сказал один: “Хазрет говорит последние слова: - Мир вам!”

Ответил: “Султану - мир!”

Сказали трое: “Мир вам!”

Ответил: “И вам - мир!”

Был в свертке халат из золотых нитей и благородной ткани, украшенный рубинами, исторгающими цвет утренней зари, и сапфирами, утоляющими жажду глаз и души, и изумрудами, сообщающими легкость и веселье тому, кто носит, и бирюзой, проясняющей память цветом, похищенным у небес, и сердоликами - камнями надежды, веры и ожидания. Да! Не было наряда богаче, не было дара щедрее.

А халат был из халатов султана, и мастер, облачившись, заблудился в нем, много шутил и был весел. Значение всего этого трудно было понять дважды, потому что могущественный Сельджукид облек Усто словом, именем, покровом и дружбой султанского величества и оставил ему свободу поступков.

Поистине, дела наши указуют на нас, и поступки говорят!

Совершил зодчий поступок и заложил халат, и учредил завещание и долгосрочный ваф, чтобы в кухне при бухарском хонаке ежедневно выпекали бы хлеб и варили бы

пищу, и угощали бы тем варевом и хлебом всех нуждающихся строителей - странствующих и проживающих, приходящих и уходящих, свободных и рабов, мусульман и немусульман из тюрков, таджиков, индусов, арабов и прочих - и чтобы никого не отпускали голодным. Тогда жители стали говорить, что Усто Калян - маг, чародей и алхимик, заложивший душу и получивший от дьявола волшебство превращать кирпичи в драгоценности.

Мастер от души смеялся над подобными рассказами и находился в хорошем расположении. Было это удивительно, и сказали горожане: “Бесноватый радуется”.

Когда строитель наслаждался свободой благих желаний и добрых дел, постигло его чувство приязни, которое было свободно и не препятствовало, а настоящая приязнь сродни свободе, так как приходит и уходит и не зависит. Стал зодчий тяготеть к Мерву и возжелал лицезреть человека, равного по уму и по скрытым свойствам, а привязанность его возрастала день ото дня. Наступил Новруз и надо было спешить, чтобы поспеть к сроку, и он собрался.

Поутру пришел строитель к минарету и возложил ладони на кирпичи, а они после холодной ночи были теплыми. Провидя подобные обстоятельства, Аллах в бесконечном своем милосердии наградил сильных людей подобающей им слабостью. Произнес Великий Мастер слова, но никто из живых не слышал, а записаны они в скрижалях, что доступны праведным.

После этого он удалился, а тот, кто разлучался, знает. И, обернувшись, усмотрел он в постройке искажение линий, кривизну и наклон, и простер руки к небу, и крик его был громче азана: “Аллах, он падает! Поддержи!” А на минарете находился муэдзин, который сказал: “О, бесноватый, накажи тебя, богохульствующего, Аллах, у которого ты просишь”.

Так не мог зодчий уехать и остался. Он жил долго, но с тех пор прекратило время свой бег, и взгляд его обратился внутрь, а события перестали для него иметь смысл. И всё!

ГЛОССАРИЙ

Азан - призыв к молитве.

Вакф - юридический документ на заложенное движимое или недвижимое имущество.

Гулям - лицо для особых поручений, фаворит.

Иншалла - Если Бог позволит /араб./.

Калам - искусство письма.

Мавераннахр - Бухарский оазис.

Муэдзин - лицо при мечети, возвещавшее о времени обязательных молитв.

Новруз - Новый год на Востоке. Совпадал с днем весеннего равноденствия 21 марта.

Салам - приветствие.

Хазрет - государь /обращение/.

Хонако - культовое и благотворительное учреждение.

УЧИТЕЛЬ

Ранним летним утром 1155 года, едва солнце оторвалось от горизонта, азанчи городской соборной мечети прокричал призыв к намазу. Призыв, будто отразившись от хрустального свода небес, звучал отчетливо и далеко, а повторенный муэдзинами близлежащих квартальных мечетей уподобился разноголосому пению.

По узким улицам Бухары, где все было еще во власти тени и ночной прохлады, потянулось мужское население к соборной мечети города. Из проулков и тупичков выходили люди, вливаясь в общий поток, и по мере приближения к базару, к городской площади и к самой соборной мечети поток становился гуще и плотнее, как набравшая силу река. Седобородые старцы, держа под мышкой молитвенные коврики, неспешно и достойно узнавали и приветствовали друг друга, церемонно спрашивали о здоровье, о прошедшем дне и о новостях, торжественно проводя пальцами по бороде и поминая при этом Аллаха, славить которого они сейчас шли. Молодые отцы семейств подражали старикам, но их лица выказывали более чистосердечной приязни и радушия, что было подстать новому родившемуся дню. “Салям алейкум!”, уснащенное тюркским, таджикским и арабским наречиями, было единственно отчетливым в многоголосом гомоне.

В потоке выделялись местные купцы, шествующие налегке: их молитвенные коврики, оставленные владельцами в мечети, означали облюбованные постоянные места и не отягощали руки. Знатных горожан, отмеченных милостями хана и допущенных ко двору, можно было узнать по нарядным халатам и по тому важному спокойствию, что накладывало на весь облик отпечаток не то чтобы высокомерия (перед лицом Аллаха все равны), а чего-то мертвого, холодного и непохожего на веселое июньское утро. С ними здоровались почтительнее обычного, дотрагиваясь рукой до сердца, и обходили стороной либо отставали. Суетливо и сбивчиво сновали дервиши в рубище и колпаках, оглашая новый день резкими выкриками и перезвоном колокольчиков. Семенили имамы и мударрисы, богатые раздумьями о науке и вечности.

Ремесленники, чеканщики, гончары, кузнецы, гребен-

щики, лепешечники, строители, мясники, водоносы шли с деловитой неторопливостью, крепко ставя ногу, неотделимые от земли и от солнца, осветившего уже весь ствол минарета. И все это отовсюду двигалось к соборной мечети, означенной в синеве неба минаретом Калян, лучше которого, по мнению бухарцев, ничего не было и не будет.

Для молодых людей 20 лет от роду минарет уже стал символом от сотворения мира. Они не могли представить ни детство свое, ни близких им людей, ни событий без минарета, что так четко выписан в поднебесье и в их памяти. Рассказы редких стариков, помнящих времена, когда на месте минарета была лысина, встречались недоверием, а зодчий, построивший его, пользовался славой странного, удивительного и недоступного общим понятиям чудака.

Зодчий, невысокий и худой 80-летний старик, выживший из ума и с трясущимися конечностями, всегда сидел на одном и том же месте, привалившись спиной к кирпичной стене мечети и вперив неподвижный взгляд в минарет. Что ему виделось сквозь старческую катаракту? Кружевные ли пояса кирпичной кладки, где свет играл с тенью, сменяя причудливый узор новым рисунком, или только смутные очертания минарета? Вреда он никому не причинял, и его не трогали. Для пришельцев он был “дево́на” - “сумасшедший”, бухарцы называли его “усто” - “мастер”. Собственное имя его стало уже забываться, и благополучные люди всегда думали: вот ведь как бывает, когда человек сам о себе не заботится!

К нему не обращались, потому что он не отвечал на расспросы, а невнятное бормотание его не имело общего смысла.

Но в почтении горожан к старому строителю было то, что выделяло его еще больше. С ним здоровались не обычным приветом с пожеланиями мира и здоровья. Ни мир, ни покой, ни благо никогда не занимали его мысли, а было нечто большее, что взяло его жизнь, составляло заботы и страдания и сделалось стержнем его живой души.

Прохожий замедлял шаг и, коснувшись рукой сердца, говорил:

- Он не падает, почтенный усто!

- Усто, усто! Он не падает! - кричали мальчишки, проносясь мимо рыбьей стайкой.

- Не падает! - скороговоркой говорил ему тот, кто спешил по делу.

- А не падает, а не падает, - дурашливо кривлялся дerviш.

Мастер не отвечал, будто он один знал то, что никому не доступно. Когда его слезящиеся от напряжения глаза уставали смотреть, в затуманенном сознании яркой вспышкой вставала ужасная картина: минарет трепещет мелкой мертвой зыбью, начинает крениться и падает на него всей кирпичной громадой своей. Обезумевший старик резво вскакивал и бежал по площади, развевая лохмотьями халата, воздев руки к небу, и кричал:

- О, Аллах! Он падает! Он убьет меня!

Пугая прохожих, мастер убежал в закоулки улиц, но спустя время возвращался обратно и, качая в сомнении головой, садился на прежнее место. С верха минарета на богохульствующего безумца подозрительно смотрел маленький, как муравей, мулла.

Старик ничего не замечал вокруг себя. В памяти проносились обрывки воспоминаний, и он то хмурил морщинистый пергаментный лоб, вспоминая побег из Бухары, и ухмылялся собственной дерзости; то видел грозного и грузного тамгадж-хана Арслана и слышал вместо базарного шума тяжелые слова: "Ты... поистине... великий... зодчий..."; то хитро подмигивал мастерам, укладывая последний кирпич, означавший конец строительства.

Вокруг него шумел город, проходили люди, роняя с почтением слова о незыблемости минарета, а Усто видел совсем иные лица, приглашавшие его ехать в Сирию, Багдад, в Индию. Он не поехал, отказавшись от милостей всех земных владык, потому что еще тогда... боялся: а что как он упадет?

Страх, обуявший его издавна, не давал покоя, не оставлял ни на минуту, пока не довел до безумия. Человек и минарет были связаны как сиамские близнецы. Минарет Калян прочно держал своего творца, как будто не мог обойтись без него, угрожая, привлекая, лаская и печалая, а человек, убеждая, убегая, тоскуя и возвращаясь, не мог разорвать узы, связывающие их воедино.

Ни одного дня вне Бухары. Ни одной ночи в близлежащих селах у людей, связанных с ним чувством прочной и давней дружбы. Ни жены, ни детей, ни богатства - ничего! Единственная страсть, подчинившая все, единственная любовь гения обернулась величайшей для него трагедией. Любовь легендарного скульптора Пигмалиона к творению его рук, ума и сердца - мраморной Галатее - повторилась и воплотилась явью на Востоке, в Бухаре XII века.

Солнце клонилось к закату, и лучи его, окрасившие все небо сразу в оранжевый цвет спелого персика, отражали конец дня городского и сельского труженика и исполнили его душу благоволением к красоте жизни и совершенству мира.

В предзакатный час на Пои-Калян вышел старик с мальчиком лет десяти. Не доходя до места, где безучастно сидел зодчий, старик сунул мальчишке в руку монеты:

- Сейчас ты подойдешь к этому человеку. Называй его "Учитель". Отдай ему два дирхема и скажи ...” - старик наклонился к ребенку, прошептал несколько слов, и тот, сорвавшись, бегом направился к Усто.

- Учитель, - позвал он мастера, остановившись прямо перед ним. - Минарет никогда не упадет.

Блуждающий взгляд старого мастера стал осмысленным. Склонивши голову набок и взглядевшись в мальчика, он внятно промолвил:

- Откуда знаешь? Молод еще.

- Я не знаю, а дед мой знает. Он старый. Говорит, старше вас.

- Кто таков?

- Меня зовут...

- Не ты, а дед твой кто? - нетерпеливо перебил мастер.

- Дедушку зовут усто Шариф. Он строитель был, только уже давно не строит - старый.

- Откуда? Бухарец?

- Да, из Вабканы.

- Позови, - приказал Мастер.

- Дедушка! - бесцеремонно закричал мальчишка. - Учитель велит подойти.

Высокий костлявый старец приблизился с неспешным почтением.

- Салам алейкум, Усто Бако...

- Погоди, - предупреждающе поднял руку Зодчий. - Алейкум. И забудь это. Понял? Зови как прежде.

- Повинуюсь, Усто.

- Так-то лучше. Давно здесь?

- Третьего дня. Осмелился подойти к вам, Усто. Строили с вами.

- Знаю, отделывал пояс куфи. Помню. Хорошо, что осмелился. Ты нужен. Кто еще есть?

- Усто Усман из Рамтина два года как призван Аллахом в сады...

- Помню. Он не из Рамтина. Он из Гиждувана.

- Истинно так, Усто. Запомню. Вы знаете лучше.
- Еще кто остался?
- Усто Ибадилло пятнадцать лет как ушел в хадж. С тех пор не слышать.

- Знаю. Он из Варахши. Хороший мастер. Еще?
- Усто Акрам из Шапуркама, проводывал его. Болен, не встает.

- Так. А это кто с тобой? Внук?
- Сын внука, Усто. Тоже зодчий. Из глины минареты строит.

- Ну и как? - обернулся к мальчику Строитель. - Получается что?

- Не так красиво, как у вас, Учитель. И маленькие, - вздохнул мальчишка.

Мастер засмеялся:

- Вырастешь - построишь большой.

- Построю.

- Лучше, чем мой?

- Лучше вашего нельзя. Тоньше поставлю.

- Тоньше, говоришь? А как?

- Не знаю, как. А только тоньше. Чтобы вверх летел.

- Кто надоумил?

- Никто, Учитель. Сам подумал: ежели тоньше, то значит - вверх.

Три человека, двое седых старцев и один в том возрасте, когда земля еще близко от глаз, вели беседу.

- Мы с тобой скоро помрем, усто Шариф, - сказал Мастер. - Но ты уйдешь после меня. Запомни, что скажу: похоронить меня надо не далеко от минарета и не близко к нему.

- Как понять, Усто?

- Говорю ясно: не близко и не далеко. Чтобы не достал он меня, понял?

- Понял, Усто.

Помолчали, подумали.

- Внуку своему скажи, пусть отдаст сына учиться к хорошему зодчему. Ты знаешь, кому отдать. Строителем будет после нас. Пусть свой тонкий минарет возведет.

- Повинуюсь, Усто.

- Я сказал. Теперь я здесь прилягу, а ты, сынок, - обратился он к мальчику, - погляди-ка на мой минарет: как он там, хорош ли, прочен ли?

Усто Шариф и правнук одновременно подняли головы.

- О, Учитель, удивленно сказал мальчишка, - он не может упасть. Он... плывет.

Огромное, без конца и края небо, живое и трепещущее звездным мерцанием, опрокинулось над городом. И минарет, вершина которого соседствовала со звездами, был как небожитель, принятый в сонм святых. Обретя бессмертие, он плыл по безбрежному звездному морю в вечность.

Мастера похоронили, как он того хотел: отмерив на юг расстояние от подножия минарета, равное 47 метрам, взрыли пол в доме и опустили в могилу. Сейчас, как и прежде, в доме живут. Небольшой холмик, обмазанный глиной, без надписей и реликвий, без притязаний на вечность, не мешает людям. Это самая прекрасная и простая могила на свете, неподвластная времени и забвению. Там похоронен Усто, Великий Строитель, создавший Восьмое Чудо Света.

ТУРИСТ ПО ИМЕНИ ЧИНГИЗ-ХАН

Наиболее постоянным чувством всех властителей являлось чувство страха. Это вовсе не означало, что монарх или властелин получил его от рождения или что страх посещал его по причине природной боязни и робости характера. Причиной всему была власть. Понятие власти исключало застенчивость и нерешительность, и обладание властью, как правило, было уделом натур смелых, сильных, мужественных, умных. Но власть сама собой порождала страх.

Чувство страха было самым сопутствующим обстоятельством в жизни всех властителей. Власть, как товар, выставленный лицом к покупателю, в обаянии ее силы и могущества обязательно содержит изнанку - боязнь и страх, прежде за власть, а там за жизнь.

Что испытывает завоеватель в побежденном городе? Радость победы, упоение собственным величием? Высокие чувства и мысли? Нет. Прежде всего, чувство страха. И пусть оно проявляется по-разному - вспышкой веселья, гримасой раздражения, личной отвагой или практической рассудительностью, однако в потемках души победителя гнездится самое постоянное чувство - страх, а остальное только отблески внутренней борьбы человека.

Улицы за недосугом давно не поливались, а сотня конных монголов, ехавших впереди, отчаянно пылила. Гнедой жеребец неторопливо нес всадника, а тот досад-

ливо морщился и часто трогал лошадь шенкелями, наезжая на бунчужного впереди. Пыль сушила носоглотку, стесняла дыхание. Солнце от этого казалось нестерпимо жарким. Чингиз-хан впервые проезжал по городу.

Он не любил многолюдные города и по душевной простоте кочевника всегда недоумевал, как это люди могут жить в такой скученности, когда на свете столько степных просторов с незаменимыми удобствами в виде свежего воздуха, буйных трав и чистой проточной воды. Не находя в городах большого проку, он частенько пытался привить населению более правильные взгляды на общественное устройство и подвергал города разрушению либо по каким-то причинам, либо вовсе без основательных причин. Его привычка к пространству и перспективе с годами еще более усугубилась старческой дальновзоркостью и сказалась консервативностью убеждений.

Каган впервые проезжал по бухарским улицам и испытывал ощущение связанности. Улица походила на ущелье. Она долго петляла и суживалась подобно речной стремнине, и ехать по ней можно было лишь по три в ряд, и то с трудом. Ничего не видно, не на что посмотреть. Город утомлял его и злил, а взгляду негде было остановиться и передохнуть.

И все же настоящей причиной раздражения монгольского кагана было то, в чем он никогда никому ни за что не сознавался и не сознался бы. Это был страх, самый давний и наиболее постоянный спутник властителя. При виде необычного и непонятого явления ему становилось не по себе. Где-то внизу рождалась противная тоскливая пустота и передавалась вверх. На поверхности сознания ярким поплавком начинали дрожать вчерашние подозрения и прошлогодние догадки. Они были отрывочны, потому что он их рвал, не доводя до конца, и все из-за того же страха, он всячески отмахивался от них, а они назойливо лезли обратно и мutilи рассудок.

Едучи верхом по узкой бухарской улице, Чингиз-хан понимал, что при таких обстоятельствах проще простого получить стрелу в глаз или камень на голову. Но внешне его неотступная тревога проявлялась только прочным дурным настроением, установившимся с самого утра. Все видели, что каган раздражен и молчит, и все тоже были умеренно раздражены и молча следовали за ним.

Молчал сын кагана Тули-хан, помалкивали нойоны Джебе и Тохучар, ехавшие с ним в первом ряду свиты. Молча сопел Субудай-багатур, находившийся ближе всех к повелителю. Блюла молчание остальная публика мон-

гольских и мусульманских темников, захваченная игрой превосходного драматического актера, который уже не собьется на фарс, а непременно доведет трагедию до финала.

Главному актеру хоть и было шестьдесят с лишком лет, но в осанке его не наблюдалось немощи и одутловатости: это была прочно сколоченная фигура, ритмично и упруго приносившаяся к ходу коня, да и вообще к жизни в седле. Здоровье и сила выпукло проступали сквозь скромную воинскую амуницию, нужную по роли, вероятно, для незаметности. Лицо в сетке продольных и поперечных морщин грима, наложенного возрастом, остановилось раз и навсегда выражением непреклонности и воли, и лишь время от времени казалось то ли несварение желудка, то ли зубную боль. Глаза наметились узкими щелями, так что и сказать было нельзя, какого они цвета и что там в них затаенно плещется: нетерпение или безразличие. А вот жесткая прямая борода и выбившиеся космы волос гармонировали рыжестью разве что с гнедой мастью жеребца да с лисьими хвостами шапки, резко выделяя основной персонаж из окружения актеров на вторых и третьих ролях.

И все-таки Чингиз-хану шел седьмой десяток лет, и он потихоньку боялся. Мысль о том, что он когда-нибудь умрет, была ему просто тем неприятней, чем старше он становился и чем серьезнее брал в расчет покорение вселенной принципиально без остатка. Зато мысль о смерти безвременной и нечаянной вселяла в него ужас, который он мастерски подменял гневом либо мрачной сосредоточенностью.

По причине недобрых предчувствий, от которых возникало ощущение отвратительной липкой слабости, он не въезжал в шахристан Бухары, хотя город благоприсстойно сдался на его милость, а нетерпеливо ждал, когда падет сопротивлявшаяся цитадель. Он, правда, выступил перед городским населением у Намазгоха с краткой, но содержательной речью, подкрепленной избием тридцати тысяч человек, чем нагнал довольно страха на жителей, но сам от страха избавиться никак не мог.

Теперь цитадель пала, непокорные перебиты, дома проезжих улиц заняли монгольские нукеры, и каган знал это, спереди и сзади его охраняли две сотни рослых страховидных тургаудов и преданная свита, а Чингиз-хан все же лицедействовал и притворялся.

Кавалькада двигалась без шума, если не принимать за шум всхрапывание от пыли лошадей и бряцание оружия,

однако ничто не напоминало триумфального шествия и не впечатляло победительным эффектом.

Наконец улица расширилась, как река, впадающая в океан, и извергла на площадь соборной мечети запыленную массу монгольских кентавров.

Чингиз-хан заметно повеселел. Огромная площадь была как-то сродни бескрайним степным пространствам, и ее приятно было оглядеть разом. Настроение кагана передалось свите: Тохучар-нойон сделался шире в плечах и уже в талии, Джебе распрямылся, Субудай перестал дремать и его единственный глаз раскрылся с хищной откровенностью. Кто-то прокашлялся, кто-то заговорил вполголоса.

Им предстал минарет Калян, который они еще раньше видели издалека, а теперь он противостоял взглядам, как зачарованный витязь, бесстрашно и неколебимо составляя преграду и мозоля глаза.

Каган натянул поводья слишком резко, и конь, споткнувшись, остановился. Наступила заминка, случавшаяся с ним в редких случаях, когда он бывал ошеломлен и на мгновение терял самообладание и дар речи. Замешательство длилось всего один миг, но этот миг был, а единственный и ослепительный не знал, что же делать дальше. И никто не знал, кроме Субудая. Этого циклопа давно осторожно и с завистью называли нянькой повелителя, хотя опекун был лет на двадцать моложе строптивного дитяти.

- Ойе, Шейбани-хан! - прохрипел он, буравя глазом толпу свитских. - Вы не ослепли от света, Шейбани-хан? Великий каган хочет смотреть!

- Внимание и повиновение! - один из всадников сломился в поклоне до седельной луки и, отделившись от группы, зычно крикнул: - Прочь с пути! Великий каган хочет смотреть! Прочь с пути!

Лошади прынули в стороны, освобождая площадь. Чингиз-хан пальцем поманил Субудая.

- Здесь, - показал он место рядом с собой. - Ты хорошо сказал. Мы будем смотреть. Мы желаем, чтобы нам не мешали.

Покоритель вселенной смотрел на минарет. Проглянувшие было ненадолго желтые глаза его опять сузились даже больше обычного, упершись в восьмигранник основания минарета. Внутри тлело раздражение на самого себя и загоралось в зрачках. Странное волнение охватило его. Как боец перед поединком, он измерял фигуру соперника, выбирая место, куда ударить. Взгляд медленно поднялся от первого кружевного пояса кирпичной клад-

ки ко второму, к третьему и дальше. Вот он прошел поясицу минарета, схваченную куфическими письменами, взбираясь выше и выше. Дойдя доверху, Чингиз-хан почувствовал боль в поясице своей и опустил голову.

Еще раз он оглядел ствол минарета целиком, подолгу задерживаясь на поясах затейливого орнамента. Такие рисунки, радующие взор и веселящие душу, ему приходилось видеть на богатых коврах, и на нарядных конских чепраках, и на оконных переплетах, но чтобы из кирпича... Он никогда не видел ничего похожего. Минарет играл в солнечном свете кружевными поясами, а тень от него падала на Чингиз-хана, покрывая и его самого, и всю свиту.

Упиваться собственным величием дальше стало, по-видимому, очень скучно, и человек даже не заметил, как его забрало обыкновенное удивление, которое делает жизнь нашу заманчивой и хорошей до тех пор, пока мы сохраняем способность искренне удивляться. Исчезли подозрительность и злоба. Мир наполнился иным смыслом и заиграл новыми тонами и звуками. Военные заботы, государственные интересы, зависть сыновей, свары жен и все-все будто провалилось. Осталось лишь изумление дикаря, впервые нашедшего разбитую бутылку, да любопытство ребенка, желающего чего бы то ни стоило потрогать огонь руками. И все это приобрело округлую форму вопроса простого, как истина, и древнего, как человечество. Важность момента именно в том и состояла, чтобы хорошенько взвесить и обдумать вопрос: Как это сделали? Чингиз-хан сунул два пальца правой руки в рот - точь-в-точь невоспитанный мальчик из семьи среднего достатка. Лицо его несколько поглупело, но он не заболел, он упорно и озадаченно думал о том, как это можно было сделать, будто от решения данного вопроса зависело благополучие его империи.

Если язык дается властителю для того, чтобы скрывать мысли, то уж физиономия, разумеется, служит для сокрытия чувств. Выражаться французисто и блистать парадоксами Чингиз-хан не умел, хотя поступал именно так. Он таил мысли и чувства. Он опасался давать волю эмоциям и выказывать удивление, горе, похвалу или восторг. Он полагал, что чувства его моментально будут расценены и в дальнейшем использованы как слабости шахматной позиции. И все же, что случалось крайне редко, обуздать чувства вполне он был не в состоянии.

В свите не поняли жест повелителя и зашептались: “Блистательный положил два пальца в рот!” “Покоритель

мира удивлен и восхищается!” “Властелин вселенной проявил похвалу и изумление!”

Каган рассматривал минарет внимательно и долго. Он ни с кем ни словом не обмолвился, потому что, оценивая вещь лично, не нуждался ни в чьем мнении. Монголы выдержали внушительную паузу перед громадным восклицательным знаком, поставленным в кои-то веки во славу человеческого прошлого и будущего.

Раздумья сменялись одно другим, и душевная настроенность им вторила. Каган думал о том, что минарет прочен, и гадал, будут ли такими прочными его дела. Ему хотелось, чтобы - да, а голос изнутри подсказывал - нет, и тихая печаль, осенив его, тоже говорила - нет. Мелькнула жизнь, отмеченная сыновьями от старшего Джучи до малолетнего Кюлькана, возрасту которого он все чаще хмуро завидовал. Он понял: все проходит. Но он так страстно хотел, чтобы все оставалось, как есть, что сквозь сопение Субудая и шорох притихшей свиты родилась надежда. Строитель!

Ему вообразился спокойный с прямым взглядом старик, и Чингиз-хан принял его без ревности и даже не как равный равного по величию, а с почтением ученика к учителю. У них было общее, что их роднило...

Ну да, строитель. Все так просто, оказывается. Как это ему сразу не пришло в голову? Ведь был же строитель. Тот самый, что не клал кирпичи и не выплетал узоры, а знал наперед, как все это будет выглядеть при жизни и после. А разве он, Чингиз-хан, не строитель? Разве он не созидает величайшее в мире государство, что будет вечным? Аргумент явился ему самому настолько непреложным, что он удовлетворенно хмыкнул и посмотрел на минарет по-новому, словно впервые. Солнце выглянуло из-за минарета и ошеломило монголов ослепительной улыбкой. Кагану привиделось, что минарет тоже засмеялся. Он встряхнулся, гоня наваждение прочь. Свита зашевелилась.

- Когда построен? - спросил Чингиз-хан.

Из толпы вышли толмач и чернобородый тридцатилетний мусульманин в белой чалме ходжи.

- Государь, из живых никто не помнит когда, а записано - в царствование Арслан-хана Карахани. Значит, сто лет тому назад.

- Наверное, могущественный правитель, если такой минарет построен?

- Кто может равняться в могуществе... - начал было ходжа заученной скороговоркой.

- Дзе, дзе! - перебил монгол. - А как имя постройки?

- Минарет Калян. Означает "Великий".

- Кулан, - повторил Чингиз-хан, подозрительно покосившись на минарет, но вспомнил, что так зовут и степных сайгаков, и его младшую капризную жену Кулан-хатун.

- Ну, а кто строил?

- Имени его, великий, я не знаю. Рассказывают, что строил его один сумасшедший, "девона".

Ханы переглянулись. Уж им-то было известно, что целая вселенная не стоит существования двух равновеликих, а шейх-уль-улем некстати назвал великими одновременно минарет и кагана. Ждали, что-то сейчас будет.

Но кагану было ровным счетом наплевать на величие. В нем задела человека, а человек взял да и обиделся, как будто у него силой отняли вспыхнувшую было надежду, а взамен предложили сплошное разочарование.

Получился курьез. Чингиз-хан склонил голову набок. Его лицо прорезалось еще двумя десятками морщин, расплывшись в доброй ласковой улыбке. Ни один любящий дедушка на свете не смотрел с таким обожанием на горячо любимого внука, потакая невинным шалостям, с каким Чингиз-хан смотрел на бухарца Сейфиддина Бохарзи. Потом он засмеялся. Смех был сприпучим, мелким и обидным. Обычно так умные люди с сознанием собственного превосходства смеются над дурачками. Другие тоже засмеялись, и шейх понял: над ним. Потом смех резко оборвался. Лицо кагана стало строгим, и все поджали губы.

- Ты был умным мусульманином, Сейфиддин, и посылал нам дельные письма. Мы верили тебе, и мы приблизили тебя к нам. Но то, что ты сообщил нам о строителе, не бывает, и мы не верим. Если строитель был, как ты говоришь, человеком, потерявшим рассудок, и сумел построить этот минарет, то кто же, по-твоему, я, создающий огромное государство?

Шейх-уль-улем ощутил тошнотворную слабость и решительно потерялся, не зная, что ответить. Кое-как в полубезытии он воспринял шипение монгола и слова толмача: "Великий каган разрешает удалиться".

Между тем каган, повернув лошадь вполоборота, стал между минаретом и свитой. Важный и внешне спокойный, он понимал, что должен сейчас сказать нечто значительное, и слова его запомнятся и запишутся. У него давно уже вошло в привычку относить редкую похвалу и благодарность не к человеку, оказавшему важную услугу

или явившему образец доблести, благородства души и ума, а к его отцу. Выраженное таким оригинальным способом, одобрение делилось между двумя, причем отцу перепало больше, нежели сыну. И тут он оставался верным себе, ведь он был отцом. Превосходно зная, что сыновья оптом и в розницу ненавидят его и ждут не дождутся смерти отца, чтобы без помех вцепиться в глотку соперника, он до сих пор немилосердно ограничивал их волю. Поэтому и упрямец Джучи, и ленивый Угедей, и коварный Джагатай - все они питали к нему непобедимую злобу.

А ведь он не хотел этого. Он думал и надеялся, что сыновья продолжат его дела, завоюют мир и установят империю, которая будет существовать десять тысяч лет. Он старался воспитывать сыновей, свояко выражая сокровенную мечту о самом себе: какое счастье для отца гордиться своими детьми и обрести в них воплощение собственных замыслов!

Его голос был сирым и натужным от волнения, овладевавшего им в такие минуты. Он сказал:

- Отец строителя минарета, слава им обоим и величие, был счастливым человеком. Воздадим же им почет.

- Кху, кху, кху! - пролаяла свита.

- Кху, кху, кху! - прокричали монголы на площади.

Клич, ударившись о минарет, ушел к вершине его и растворился в поднебесье.

Чингиз-хан проехал в соборную мечеть. Место ему понравилось простором двора, чистотой и опрятностью, но больше тем, что мечеть с высокими и прочными стенами представляла хорошую фортификацию. О своих соображениях он, по обыкновению, говорить не стал, а сказал так:

- Здесь хорошо. Нам нравится в доме мусульманского бога. Отсюда видно Кулан. Мы остаемся здесь.

И четверо воинов подбежали к нему, помогая спешиться.

Когда стало известно о малочисленности защитников цитадели, он назидательно выразил свою мысль вслух:

- То были настоящие багатуры, и каждый из них обладал сердцем льва. Когда бы все горожане имели такое мужество, то мы видели бы Кулан только издали.

Подумав, добавил:

- И у нас не было бы нужды в Сейфидине.

Город был обречен. Чингиз-хан выразительно прочертил большим пальцем сверху вниз прямую линию. Военачальники поняли знак и отдали приказ. Остальное довершили воины. На несколько дней минарет скрылся в тучах глиняной пыли. Потом пыль улеглась, а минарет обнаружился целым и невредимым.

Мы никогда не узнаем подлинных причин отступления завоевателя от правил, но иногда бывает, что укусы комара мешают стрелку попасть в цель и спасают жертву. Так уцелел и минарет Калян, у подножия которого один невзыскательный турист по имени Чингиз-хан когда-то провел приятные полчаса.

Но что же все-таки помешало превратить минарет в груды развалин? В математике наличествует обратный, так сказать, предположительный метод доказательств, или, как его еще называют, “метод от противного”. Доказательство по упомянутому методу напоминает строительство здания не с фундамента, а с крыши, но мы им воспользуемся, тем паче, что есть несколько предположений.

Во-первых, предположим из чисто эстетических соображений, не чуждых также и дикарю, как это видно на примере с разбитой бутылкой, что минарет мог Чингизхану понравиться. Поскольку к такому предположению люди относятся с меньшим удивлением, чем к самому минарету, то оно, естественно, возможно и вполне имеет право на существование.

Во-вторых, предположим, что каган хорошо спал перед злополучным днем городской гибели и встал именно с той ноги, с какой следовало, чтобы быть в терпимом настроении. Вывод, разумеется, весьма частный, однако вполне возможный.

И, наконец, в-третьих, предположим, что минарет должен был символизировать могущество монгольского владыки, возносясь своей массой над недавно цветущим и многолюдным, а ныне поверженным в прах городом. Могло и так быть. Поскольку мы еще ранее отдали дань признания личным вкусам и предпочтениям Чингиз-хана в смысле его взглядов, что людям в степи живется лучше, чем в городе, то нетрудно усмотреть здесь счастливое для Каляна сочетание приятного с полезным.

Но лучше считать, что все три предположения верны при условии их единства. Тогда не будет ошибки. Слишком сложна теорема, чтобы отдать предпочтение одному из доказательств.

Своеобразный вид приобрела Бухара после Чингиз-хана. Городской силуэт, означенный нервной ломаной линией бесформенных руин и пепелищ, заместивших жилища, мечети и дворцы, повторял очертания наголову разбитого, взятого на abordаж и оставленного на произвол судьбы парусного судна. Люди перебиты, парусов нет, снасти оборваны, бушприт сломан, на палубе и в трюмах мерзость запустения. И этот Летучий Голландец с командой из мертвецов дрейфует по воле волн, чертя небо единственной уцелевшей грот-мачтой.

Мачту было заметно издалека, и она манила к себе всех, кто потерпел крушение в борьбе со стихией. Вернулись люди и стали в стенаниях и сетованиях возводить хижины. Весной прилетели аисты, и двое из них поселились на минарете. Однажды рано поутру с минарета, как в былые времена, азанчи разбудил горожан вестью, что молитва лучше сна, и призвал правоверных к новому трудному дню. Неведомо откуда и куда проследовал через город караван, потом другой. Выросли новые здания караван-сарая, медресе и мечетей. На самом вершине минарета вечерами зажигали огонь, что служил маяком путникам в ночи. Сюда на огонек вскоре завернет и первый европейский купец из далекой Венеции - Марко Поло.

Корабль ожил, оснастился, оделся парусами, матросы поправили такелаж, починили пробоины, паруса наполнились ветром, и, рассекая волны, судно двинулось в жизнь.

СЛУЧАЙ, СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ

Легенды, как и люди, рождаются, живут, старятся, умирают и забываются. Многим из них суждено украсить архивные анналы, другим (таких меньше) стать притчей во языцех, третьим (их единицы) жить вечно.

В легендах то хорошо, что там не требуют доказательств и принимают на веру и помнят, либо относятся с сомнением и забывают.

Местные легенды отличны от всех легенд и требуют для себя особой статьи. Если кавказские легенды отличаются легковесностью и рассчитаны на легковверных слушателей, то это оттого, что их породила определенная среда благополучного отдыхающего курортника, мигрирующего 7-8 месяцев в году в благоприятные края. А курортнику важнее всего улучшить пищеварение и поправить нервную систему, которую он испортил, служа отечеству. В диету его жизни помимо местных вин, яств, солнечных ванн и пр. входит все хорошее, а хорошо все

то, что не требует напряжения сил и отдачи мускульной, нервной и мозговой энергии. Он ничего не отдаст, он согласен только брать, и то лишь подходящее ему. Легко усваиваются анекдоты о мужьях, уехавших в командировку, - там нечего раздумывать, легко принимаются легенды о возлюбленных, превращающихся то в орлов, то в “вон ту скалу, что возле ручья”, то наоборот. В них совершенно не отводится места для размышления, потому что над вздором никто думать не станет.

Вы видели когда-нибудь свадебную процессию в Бухаре? Значит, вы любовались пышным шествием нарядно одетых веселых людей, не скрывших свою радость, чтобы досыта и подольше насладиться ею, а вышедших на улицы поделиться со всеми.

Впереди - двое в цветных полосатых халатах. Их карнаи, начищенные до ослепительного блеска, возвещают: “Та-ра-ра-ра! Та-ра-ра-ра! Слушайте все! Такой-то хочет взять себе в жены такую-то. Он честно заявляет об этом. Он всех приглашает в свидетели”.

Флейтист умиленно и самозабвенно склонил голову набок, полузакрыв от счастья глаза, и, будто соловей, весь ушел в переливчатые рулады вдохновенного исполнения. “Ах, как он будет любить ее, как будет ласкать и беречь! Ах, ах, какое счастье принесет он невесте! Ах!” - выговаривала флейта. С ней соглашалась многоречивая златоустка дойра, а неугомонный барабан, взлетая и опускаясь, подтверждал сказанное одобрительной раскатистой дробью.

Несли хлеб, завернутый в пеструю материю. “Та-ра-ра! Та-ра-ра! - кричали карнаи. - Вот хлеб! Жених клянется кормить невесту всю жизнь! Он умеет добывать хлеб. Он честный и мужественный. Смотрите же! Все смотрите!” “Да, это так! Да это так!” - рокотал барабан.

Несли куски атласа и шелка. А карнаисты и тут успевали протрубить во всю медную глотку: “Жених - честный парень! Он всегда будет одевать невесту. У него в достатке и шелка, и атласа, и всего такого”.

“Только для нее, - пела флейта. - Ах, нет девушки более достойной и прекрасной ни в Фергане, ни в Хорезме”. “Как она украсится, как станет ей к лицу наряд”, - звенела сладкоголосая дойра дрожащими от волнения струнами. А барабан выбивал восторженно: “Вот это да! Вот это да!”

Шел жених, опустив глаза долу, в окружении близких и друзей. Лицо спокойное, поступь легкая. Двое бережно ведут его под руки. Опять благовестят карнаи: “Та-ра-ра!

Вот жених! Взгляните на него! Он добр и силен. Он скромн и смел. Да не усомнятся в этом горожане. Истинная смелость всегда скромна”.

“Да, да, да! Да, да, да!” - заверял барабан официальным гулом.

Процессия шествовала по улицам города, и искрометное веселье доставалось на долю каждого, кто видел. Озарялись улыбками лица, забывались заботы и тяготы. Улицы приблизились и сделались нарядными, люди преисполнились доброжелательства друг к другу, все кругом похорошело необычайно.

Как возликовал город, как он украсился, когда по уцелевшему фундаменту прежних лет восстановили мечеть Калян!

Кончилось долголетнее одиночество минарета: жениху сыскали невесту, достойную его. Свадьба состоялась торжественная, пышная. Во всей Бухаре не было человека не осведомленного о празднестве и не принесшего на свадьбу даров душевных, света в глазах, веселья и одобрения. Не осталось никого, кто не удостоился бы приглашения на смотрины молодых, и каждый почтил церемонию личным присутствием и свидетельством.

На Пои-Калян стало всегда многолюдно и шумно, в особенности по пятницам - в дни больших базаров и служб в новой соборной мечети.

Только бухарцев с тех пор как подменили. Они распухли от чванства, и чужому человеку стало с ними нелегко разговаривать. На кончике языка у них так и висело: минарет Калян, да мечеть Калян, да еще площадь Калян. Обыденный вопрос к приезжему “Откуда вы прибыли?” приобрел в Бухаре обидный смысл вроде “Откуда вы свалились?” или “черт вас принес”. Люди из других мест только руками разводили: как могла завестись у бухарцев непомерная гордыня? Свадьба давным-давно минула, а жители, потеряв счет времени, продолжали славословить молодых, будто праздник только начался.

Верно, минарета такого, как в Бухаре, нигде не было. И мечеть была на диво как хороша. Зато такой спеси, немумной важности и смешного самодовольства тоже нигде не было. Жители уже считали неприличным проживание людей, где бы то ни приходилось, помимо их города, а иноземные купцы поговаривали, что бухарцы скоро перестанут совершать хадж и объявят свой город Меккой.

В один из осенних будничных дней, когда земля разрешилась от бремени изобилием плодов, а природа стала милосерднее к людям, даря им в меру и благодатную ноч-

ную прохладу, и очищающую утреннюю свежесть, и ласку солнечного тепла, к минарету пришли двое. Вначале они несколько раз обошли минарет вокруг, о чем-то переговариваясь, потом отошли поодаль и оценивающе, с прищуром глаз оглядели, как будто собирались покупать его и выискивали в товаре изъян. Снова вернулись и стали там, где в дневное время приходится больше тени.

Мужчина лет сорока с небольшой, но густой бородой снял платок, которым был подпоясан его халат, расстелил и, освободив ноги от башмаков, ступил на него. Другой, почти еще мальчишка, - поросль на его лице лишь наметилась золотистым персиковым пушком, - повторил все то же. Обратившись лицом к кыбле,* они помолились. Шевеля губами, приставили руки к ушам, провели по лицу, по настоящей и воображаемой бороде и, отбив несколько поклонов, подули себе на плечи и встали. Молитва была по-деловому краткой - Бог не обидится, а время, по-видимому, не терпело.

Старший извлек сверток и развернул. Всех предметов там оказалось по паре: молоточки с короткой рукояткой, продернутой сыромятным ремешком, большие гвозди - настоящие костыли, тоже схваченные у головки ремешком петелькой, да отшлифованные мраморные пластины, просверленные посередине и продетые петлями побольше: одна заготовка белого мрамора, массивная, с рубленными углами, другая, раза в четыре поменьше, серого цвета.

Сняли халаты. Молодой побледнел и трудно задышал, точно после непосильной работы, когда его спутник вздел ему на руки петли: под мышкой справа приладили молоток, слева гвоздь. Мраморная серая плитка повисла на шее, улегшись в брюшную впадину, и закрепилась узлом на спине. Сосредоточенно хмурясь, старший еще раз проверил замысловатую сбрую подопечного и одобрительно потрогал того за плечо.

Свою упряжь он надел сам, с тою лишь разницей, что молоток поместился под мышкой слева - он был левша. Юноша стянул на спине старшего ремешок узлом, но не мог унять дрожь в руках и сделал этот неловко. Мужчина сплюнул и выругался, а узел перевязали заново, после чего он шагнул к минарету, наклонился, отыскал жесткость правой рукой в собственном колене, а левой оперся о минарет и замер, как бы приглашая партнера поиграть с ним в чехарду.

* лицом к кыбле, т.е. в сторону Мекки. - Ред.

С нерешительностью купальщика, входящего в прохладные струи реки, - а вода поднимается все выше и выше, кажется нестерпимо холодной и вызывает мысль: а стоит ли? а не лучше ли вернуться? как вдруг глубоко вздохнувши, - а была не была! - он плашмя бросается в реку и плывет, меряя водную гладь саженками рук; так юноша неровно шагнул и, обретя дыхание, по-кошачьи легко вскочил на обнаженную спину товарища, который тотчас распрямился, вознося живой груз на плечах еще выше. На барабане минарета удобно было стоять, и первый, утвердившись, помог подняться туда второму.

Не давая младшему времени опомниться, старший снова сторбился и, приняв тело, метнул его на вытянутых руках ввысь. Некоторое время юноша стоял на зыбкой опоре кистей и мышц своего приятеля, плотно прижавшись телом к стволу минарета.

Закрыв глаза и прикинув щекой к кирпичам, будто прислушиваясь, он сам сделался причудливым барельефом, и только руки его обрели особую жизнь в постоянном движении и трепете пальцев. Оторваться от минарета он не мог, так как при этом сместился бы центр тяжести, найденный раз и навсегда, любое лишнее движение головы или корпуса означало бы срыв и падение.

Человек, потерявший один из органов чувств, непременно постарается восполнить недостаток за счет оставшихся у него возможностей. Так, глухой будет зорко следить за движением губ и выражением лица собеседника, чтобы уловить смысл недоступный для слуха, а слепой очень точно воспринимает жизнь, обостряя слух, обоняние и осязание до чрезвычайности.

Юноша в первые же секунды почувствовал никчемность зрения и закрыл глаза, чтобы не кружилась голова. Разглядеть ухабы и рытвины своего пути он не мог, а потому он осязал. Пальцы его скользили по кружевным выступам и впадинам, подобно пальцам слепца, напоминающего до последней морщины черты близкого человека. Он ощупывал кирпичный узор и старался постигнуть закономерность извилистой линии, что составляла декоративный мотив пояса.

Наконец, вывернув ступню наружу, он стал на рельеф большим пальцем правой ноги. Левая нога в точности повторила движения правой и безошибочно обрела опору на подобии миниатюрной ступеньки.

Его старший напарник двинулся вслед, забрав слегка влево. Он не спешил и шел ровно, казалось, что у него все учтено наперед: и дальность пути, и трудность доро-

ги. Все в нем было остойчивость и прочность; в едва заметные ушербины и зазубрины декора он вставлял большой палец ноги, как в пазы, и так же твердо, будто шел по дороге, ступая всей плоскостью.

Частые прохожие едва одаривали их вниманием. Чего-чего не насмотришься на бухарских площадях да вблизи базаров: и хитроумные проделки фокусников, и дервишские пляски, и казни осужденных. Славный город Бухара, многолюдный. Бухарцам не пристало ротозейничать и удивляться по пустякам, да будет это уделом пришельцев.

Но едва опасность падения стала смертельной, а возрастающий риск двух людей по мере их подъема слишком очевидным, прохожие стали задерживаться на площади и смотреть, что же будет дальше. Вначале наблюдали поодиночке, но недолго, так как вскоре образовались группы людей, как-то решительно забывших, куда они шли и зачем.

“Эй, гляди, упадешь - убьешься!” - кто-то крикнул снизу вверх. Предостережение прозвучало нелепо и чуждо. Было уже поздно давать совет либо помощь, это могло пойти только во вред. На благожелателя зацыкали сразу несколько человек. На площади среди бела дня воцарилась тишина немая и жуткая.

Линия минарета составляла с площадью Калян почти что отвес, и двое миллиметр за миллиметром поднимались по наружной стене, распластав тела, как ящерицы, и слившись с постройкой. Никто из них не слышал окрик, потому что мир для обоих перестал существовать, а жизнь внутри них сосредоточилась чувством, пониманием и ощущением единственно точки опоры, от которой их невозможно было чем-нибудь отвлечь. Их тела от пят, повисших в воздухе, до корней волос бритых голов налились концентрированным сознанием жизни и целеустремленностью движений.

Взгляд человека всегда привлекало необычное, будь то редкостная красота или невиданное уродство. Цирковые трюки под куполом и по сей день волнуют публику, и чем больше риск и отчаяннее сальто акробата, тем резче обрывается сердце зрителя и падает невесть куда вниз, дыхание задерживается, кровь в жилах стынет и явственно бросается в лицо, а время останавливает свой бег. Но трюк благополучно удался, и уже следует вздох облегчения, крепко бьется сердце, кровь струится напористо и быстрее, чем всегда, а время, сломя голову, помчалось наверстывать упущенное. В такие мгновения всякий, наверное, чувствует, что жизнь человеческая - не пустяк и

не абстракция, а бесценная и конкретная суть, которой следовало бы распоряжаться умнее и с толком, оттого что потерять ее гораздо легче, нежели уберечь.

Необычный вид приобрела площадь Пои-Калян. Происходившее здесь не воспринималось как реальность: те, что вверху, перемещались медленно и будто во сне, а собравшиеся внизу время от времени так же тихо, на носках, передвигались по площади с неспешностью лунатиков и, останавливаясь, погружались в летаргическое оцепенение. То, что находилось окрест - и солнце, и небо, и дома, и деревья - все переродилось в декорации чудовищного театрализованного представления.

Все молча и сосредоточенно взирали в одно место, у всех было общее удивление и всеобъемлющий ужас, и уже толпа, запрудившая площадь, недоуменно, с затаенным страхом, забыв обо всем на свете, устремлялась взглядом туда, где двое обреченных и распятых безумцев скребли пальцами рук и ног прекрасные зазубрины минарета.

Юноша шел первым. Его худое гибкое тело светлым пятном двигалось от выступа к выступу. В нем чувствовалась незрелость, недостаток мужской силы, мышцы и сухожилия у него не бугрились узлами, как у его старшего приятеля, а порою он весь натягивался струной, и тогда мелкая дрожь охватывала его корпус, ногу или руку. Подобно тому, как ветерок зыбит барашками водное зеркало бассейна, так мягкий шелк его кожи схватывался дробной рябью, заметной снизу. Напряженность передавалась на Пои-Калян, и большинство глаз, поднятых к нему, вонзались невидимой опорой под ступней его ноги. Все жили единым с ним дыханием, отказавшись понимать, что жизнь страшному риску подвергают только двое.

Но были в теле юноши гибкость молодого тростника, что гнется под ветром и стелется по самой земле, но не ломается, и неиссякаемый ток легкости и свежести, что постоянно возрождает уставшие мышечные клетки и наполняет грудь радостным восприятием простора, рождает ощущение растущих крыльев.

Непрестанность его движений, постоянные поиски пальцами рук и ног чего-то впотьмах утерянного и известного только ему одному, судорожная цепкость - все было естественным и восторженно волновало людей внизу, исторгая у них вздох облегчения или на мгновение обрывая биение пульса сразу и вдруг.

В самом деле, однажды начав движение, мальчишке

уже трудно было остановиться, потому что его организм в движении отдыхал. Когда он останавливался и замирал, то слышал, как немеют его конечности и теряется чувствительность к ощущению той реальности, верная оценка которой означала жизнь, а ошибочная вела к смерти. Поэтому ему надо было непрерывно скользить, перемещаться и создавать множество мелких излишних движений, что как раз и отличало его от партнера, следовавшего за ним чуть ниже и на корпус левее.

Этот не суетился. Ухватившись крючьями пальцев за рельефные выступы, он держался за них так, что никакой скряга, алчущий денег, не мог бы с ним сравниться. Он замирал, отдыхая, приклеившись к минарету враскорячку, как бы обнимая его громадное туловище с такой силой страсти, что стиснутые челюсти проступали желваками, а костяшки пальцев рук и ног начинали белеть меловым оттенком.

Между первым и вторым существовала незримая связь, какая всегда устанавливается между людьми в минуты общей опасности и крайнего напряжения сил. Не видя, они чувствовали эту связь, не отдаляясь друг от друга ни на локоть. Некоторая задержка и небольшой разрыв между ними наступал лишь в том случае, когда они подходили к новому декоративному поясу и ощупью, с настойчивостью слепца, читающего книгу пальцами, изучали его узорочье. Но вот неровная линия рисунка разгадана, постигнута закономерность всех выступов и ущербин, и опять движение вверх означило их медленным подъемом и передышкой людей вниз.

Переговариваться меж собой им, конечно, было невозможно - утекало дыхание, и все-таки устная связь тоже была. Правда, говорил только старший, и то очень редко и кратко и о чем - неизвестно, так как слова вниз не долетали. О смысле их можно было только догадываться по согласованности движений и действий младшего со старшим, а еще те слова вмещали строгость и доброту, волнение и спокойствие, опыт и силу, похвалу и приказ - мыслимо ли было слушаться?

Самым трудным оказался пояс с кувическим письмом, схвативший минарет в талию. Здесь терялись смысл и линия логического рисунка, а выступы и впадины поместились в совершенно непредвидимых местах. Вдавлившись щекой в ствол, юноша растерялся, впервые в жизни столкнувшись с арабским алфавитом. Растерянность его была так велика, что он на секунду открыл глаза. Буквы фокусничали под рукой, то возникая, то пропадая не-

постижимым образом. Они кривлялись над деревенщиной, не постигшим существа их премудрости, они пустились в пляс вдоль всего узкого наборного кирпичного пояса, выбрасывая заковыристые коленца. Царица всех букв Алиф ошетичилась острием изящной фигуры, буква Нун покрылась шапкой из точки - в общем, вся эта кabalистика не представляла никаких удобств. Несомненно, высокая культура восторжествовала бы над невежеством и темнота была бы посрамлена, если бы большой палец правой ноги деревенщины не оседлал вовремя букву Мим - ее удобная головка, походившая на большую запяную, покоилась в самом низу строки.

Но оказалось, что дальше продвинуться было нельзя. Поясница минарета, оградившись частоколом букв, являла непреодолимую преграду, и юноша чуть не сорвался в попытке взять одним махом весь пояс и поймать ногой знак “забар” в самом веру строки.

Вначале он заметался в безысходности. Потом утратил спасительную живость перемещения и замер на месте, содрогаясь телом. Видно было, что долго продержаться так он не сможет, и ждали: вот-вот, сейчас, сию минуту случится ужасное.

Тот, что находился внизу, быстро, как паук, поднялся на целых полметра к первому и что-то сказал, чего опять-таки внизу не расслышали, хотя тишина была полной.

И тут произошло невиданное уже в который раз за день: младший оторвал левую ногу от минарета, перенес ее на голову старшего, взлетел, распрямившись, во всю длину ноги, как раз поймал правой ногой злополучный “забар” и ухватился руками за мелкий узор кирпичной кладки следующего пояса, оставляя внизу страшный пояс куфи.

- А-ах! - разом выдохнула площадь. Это было непонятно, но красиво, как полет ласточки. Сверху, сбитый ногой юноши с головы старшего, падал тельпак. Как долго он падал, играя белой вышивкой по черному полю и похожий на бабочку. Прошел миг действительности и вечность ожидания, пока тельпак не достиг земли. Кто-то поднял его и стал рассматривать, осторожно поворачивая, как сосуд из дорогого стекла, и боясь разбить.

- Хорезм, - сказал один, оглядев вышивку.

- Каршинец, - поправил другой, указуя пальцем на неприметный знак в узоре.

Третий положил конец спору. Он взял тельпак и отнес его туда, где лежали халаты с платками да две пары стоптанной обуви. А тысячеустая молва шепотом передавала

догадки, пополняясь на ходу новыми и новыми подробностями.

Хорезмиец дернул земляка за рукав и отставил, подбоченясь, ногу - знай наших! Каршинец ослабился во весь рот. Уже говорили, что те двое из Мазари-Шерифа и что их даже узнали. Рядом право на землячество оспаривали термезцы. Над самаркандцами смеялись, говоря, что в Самарканде таких смельчаков отродясь не водилось. Как бы ни было, но дело оборачивалось одной стороной: те двое могли оказаться откуда угодно, только не из Бухары.

А юноша уже живительно сновал по тонкой резьбе кладки, которую он расшифровал и постиг в два счета, и трепетные движения его тела теперь напоминали радостный порыв птицы, вырвавшейся из силков. Каждая жилка его звенела от густого потока алой крови, и каждая мышца играла неистраченной силой. Площадь любовалась только им, общей симпатией владел безраздельно младший, и как-то получилось, что пока внизу приходили в себя от впечатлений, а впоследствии наблюдали восторженный танец жизни в виртуозном исполнении юноши, почти никто не заметил паучьи движения старшего, без особых усилий преодолевшего пояс с эпитафическим орнаментом.

Второй пошел быстрее, чем первый и, поравнявшись, вновь что-то сказал. Вскоре мужчина обогнал младшего и поднялся к самому поясу цветной майолики. Оба остановились одновременно.

В стене минарета они нашли трещины. Хотя толпа снизу ничего подобного не видела, движения и действия обоих сразу стали осмысленными для всех. Младший вбил костыль наполовину и опробовал его на прочность: костыль держал. Правая рука юноши стиснула гвоздь, а левая обхватила торс партнера и прижала к кирпичам. Старший сноровисто, словно жука на булавку, прищипил пластинку белого мрамора к минарету и вогнал гвоздь почти до конца. Освободившись от тяжести, сделал предостерегающий жест. Внизу поняли и отхлынули, сжавшись. Молоток, ставший ненужным, упал на землю, а его хозяин ловко схватил тонким, вдвое сложенным шнуром металлический стержень, соединивший плитку с минаретом.

Теперь старший, держась за шнур одной рукой и за кирпичный выступ другой, пропустил руку младшего под бедро и держал так до тех пор, пока тот расшатывал гвоздь и заклинивал им намертво свою плитку.

Упал второй молоток. Конец шнура скользнул слева

под мышкой у юноши и заструился вниз. Осторожно и медленно он повернул голову, губами, словно лакомство, отыскал шнур и стиснул. Отодрав кисти рук от кирпичей, он ухватился за шнур. Его тело впервые отделилось от минарета и скользнуло в сорокаметровую пропасть, пройдя весь путь до земли за несколько секунд.

Он стал на ноги и, нетвердо и сбивчиво, как годовалый ребенок, который учится ходить, пошел туда, где был сложен жалкий скарб, состоявший из поношенных халатов и разбитых башмаков. Пальцы его рук и ног, перепачканные кирпичной пылью, кровоточили. Люди перед ним расступились, создавая живой коридор. Дойдя до одежды, юноша опустился на землю.

- Откуда вы родом, почтеннейший? - спросил его седобородый старец, оказавшийся рядом.

Почтеннейший не ответил. Он всего лишь поднял голову и широко улыбнулся. Ему было смешно и радостно, что он опять может слышать и видеть, сидеть вот так и даже завалиться на спину и лежать, если захочется. Стоявшие вокруг него отметили про себя, что он совсем мальчишка.

- Смотрите-ка, он смеется, - сказал один с недоверием.

Важная новость тотчас пошла гулять по площади, поветрием охватив сразу десятки тысяч людей.

- Он смеется! - задорно крикнули в толпе.

- Он засмеялся, - озорно сверкнув зубами, сообщил сосед соседу.

- Конечно, засмеялся, - ухмыльнувшись, подтвердил тот.

- А он ка-а-к засмеется, - пытался кто-то шутливо рассказывать.

- Еще и смеется! Вот чудак! - давились хохотом где-то на задворках с противоположной стороны минарета.

Площадь смеялась весело и непринужденно. Смеялись старики, обессиленно вытирая глаза, хохотали до безудержу молодые, неприлично гыкал купец, потерял степенность вельможа и согнулся, схватившись за живот обеими руками, базарного вора бил приступ смеха, от которого он сделался совершенно беспомощным, - смеялись все. Такой замечательной шутки никто не мог бы припомнить, хотя шутки, собственно говоря, никакой и не было. Был невиданный четырехчасовой аттракцион, предельно измотавший нервы зрителей нечеловеческой напряженностью, а наступившее долгожданное облегчение потребовало разрядки и вышло наружу смехом. Любой из присутствовавших чувствовал, что на минарете по-

бывал не кто другой, а лично он сам, и, благополучно только что спустившись вниз, радостно спешил насладиться сознанием, что он - жив и здоров.

Громовой раскат смеха застал старшего еще наверху. Когда площадь стихла, он отшатнулся от минарета и замер, держась за шнур. Издалека тонкая связь не была заметна, и фигура на минарете как бы опровергала закон земного тяготения, а заодно и пыталась всех убедить, что нет ничего удобнее и покойнее, чем стоять на стене минарета, слегка наклонившись, небрежно избоченясь одной рукой и устремив вверх другую. Потом мужчина размеренно зашагал по стволу вниз...

С тех пор, если бухарец по привычке кивал на минарет Калян, у него спрашивали: “А не скажете ли вы, любезный, кто это там вверху прикрепил две такие редкостные плитки? Какой мрамор, а? Какая четкая расцветка!” - как будто во всем минарете только и было смотреть, что на два куска мрамора.

Не обошел событие и летописец. С застенчивой лако-ничностью он поведал грядущим людям, что в Бухаре в тот день не было базара.

Легенда шекотала мое воображение, и я старался всячески ее проверить. Альпинист, долго ползавший до этого по Памиру, неопределенно пожал плечами и сказал, глядя на минарет: - “Трудно, вряд ли”. Индус на этот же вопрос ответил многоречиво и утвердительно, что можно, что он сам знает человека, которому под силу чудеса. Этот человек, оказывается, был йогом высшей квалификации и жил где-то в Пенджабе. И совершенно невзначай, проходя мимо, я заметил, как уличный мальчишка лет семи без видимых усилий прошелся метра два поперек минарета по декоративной полосе и благополучно вернулся на мостик, связывающий минарет с соборной мечетью.

- Послушай, - сказал я ему, - если я дам тебе три рубля, а ты поднимешься чуть-чуть повыше, а?

- Нет, - сказал мальчишка подумавши. - Высоко. Боюсь. А вы, дядя, Равшану скажите. Он не боится, он лазил. Только отец его за это убьет.

Равшан был старше на три года, учился в четвертом классе, где был, вероятно, отчаянным двоечником и хулиганом, но мне не хотелось, чтобы ему попало от отца, и я оставил попытки экспериментировать дальше, а обратился к смысловой стороне двух мраморных плиток.

У старика я спросил, для чего вверху минарета прибиты две пластинки.

- Глазят, - отрезал он.

- Чего? - переспросил я обалдело.

- Э, будто не знаешь, да? Есть хорош глаз, есть - сиретни, а есть дурной, вредный. Дурной глаз глазит, - с сердцем объяснил мне старик, досадуя на мою непонятливость о самых обыденных вещах. О, сладость ереси и прелесть чертовщины! С трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, я поблагодарил старика и отошел, помяная при этом комментарии Нишпури к "Истории Бухары" Наршахи, где он серьезно толкует о подобных случаях.

Чем пуще мне хотелось проникнуть в легенду, тем больше возникало вопросов, приводивших в тупик. Я начал мысленно блуждать по лабиринту легенды, и одна мысль в особенности донимала меня неотступно. Во имя чего был нужен такой риск? Кто в этом обрел какую выгоду? Я не нашел прямых ответов на возникшие вопросы, но вместе с тем подумалось, что нынешние люди подходят к жизни и событиям крайне утилитарно и оттого ограниченно. Мы утратили смысл многих понятий, нивелировали термины и потеряли остроту оценки.

Человек потерпел бедствие и, чтобы выжить, более месяца питался собственными сапогами. Потом уже человек узнал, что он - герой, и благодарно пожалел съеденные сапоги, которые были казенными.

Человек трудился не покладая рук. Он прилично заработал, сделал приобретения, украсившие его житье-бытье, и удивился, когда его объявили по всему миру героем. А где же храбрость, доблесть, мужество, самообладание? Чтобы утвердить понятие о героизме, надо отчетливо установить все ступени к этому высшему пьедесталу.

Итак, пользы никто не обрел, риск для жизни двух смелых людей был огромным, ровным счетом никаких изменений не произошло. Совершенно отчаявшись найти факту малейшее подтверждающее обстоятельство, я не стал ничего более искать.

БОБОИ-ПАРАДУЗ

Ансамбль Калян давно обрел человеческий характер. Он, словно патриарх Ной, за свой долгий век набирался понемногу от всех, с кем водился: от Усто Бако, от Мир-Араба, от Ахмата Фаиза Авлиё и от прочих известных и безвестных. В разное время он и вел себя различно - мужествовал, противоборствовал, любил, ненавидел, ждал, звал, надеялся. Теперь его физиономия определилась уже отчетливо.

У него выразительное лицо старика. Нельзя сказать,

чтобы оно было красивым, потому что на нем заметно великое множество глубоких морщин от возраста и пережитого, мягкие и жесткие складки от неровностей его характера, бугры и впадины, но у него целы все зубы и он не шепелявит, а говорит так связно и членораздельно, что дай Бог каждому. Глаза у него стариковские, умные, добрые, с хитрым прищуром и затаенной печалью. Видит он превосходно и очки ему не нужны. Иногда он улыбается каким-то давним знакомым из давнего прошлого, и тогда лицо у него становится - просто прелесть.

На исходе двенадцатого столетия в городе Бухаре жил один человек. Впоследствии он сделался интересной и привлекательной личностью, а при жизни считался скучным и неуживчивым чудаком. Он сидел на площади Пои-Калян у минарета и зарабатывал себе на пропитание тем, что чинил самую что ни на есть негодную обувь. Звали его Бобои-Парадуз, или Дедушка Холодный Сапожник.

Был он хмур и сосредоточен, и только дети знали, какая у него улыбка, потому что с детьми он был всегда добр и ласков. Был он также молчалив, а если говорил, то больше ворчал. Он ворчал на заказчиков и на заказы, и на ломоту в костях, и на плохую погоду, и на базарный шум, словом, бранил все на свете. На работу, однако, он выходил в праздники и в будни, и в Бухаре его все знали.

Еще Бобои-Парадуз мог определять по обуви характер клиента и справедливо отделял скрягу и скопидома от многодетного вдовца и бедного путника. Иногда он чинил башмаки и не брал плату, и это считалось хорошим признаком. А башмаки, починенные Дедушкой Холодным Сапожником, носились долго и благодарно. Вот каким был пир правившего хана!

В то время в обычае земных владык было заведено иметь духовных наставников, а себя считать их последователями в жизни, приверженцами, мюридами. Духовный наставник, или пир, должен быть таким человеком, с кем можно без утайки советоваться по вопросам государственной важности и перед кем можно очистить совесть чистосердечной исповедью. Настоящий пир одобрял и порицал мюрида, говорил решительно все, что ему о нем вздумается, передавал истину из первых уст, разрешал, запрещал, удерживал и направлял. Быть пиром в лучшем смысле понятия у самовластной автократической особы было, вероятно, невыносимо тяжело.

Бобои-Парадуз был настоящим пиром. Он был само-

стоятелен и независим. Он жил только тем, что сам зарабатывал, и если творил благо, то не от хана, а от себя. Он не прельстился ни богатством, ни почестями, но оставил за собой право прямого взгляда и нелицеприятного обращения. Стоило ему лишь пожелать, он стал бы самым богатым и влиятельным в Бухаре человеком, как это почти всегда случалось. Мюрид готов был с радостью использовать любой повод, чтобы выразить свою признательность наставнику и всячески ему угодить, а Бобои-Парадуз как раз такого повода хану не давал. По этой причине современники и считали его, мягко говоря, чудачком.

Возможно, хану тоже нелегко было с таким пиром, но что делать? Пир избирался на всю жизнь, и его нельзя было сменить, как халат. Приходилось только терпеть и ждать, когда старика призовет Аллах в свои сады. А старик был здоров и крепок.

Хан исправно являлся к своему пиру. Бобои-Парадуз принимал хана на Пои-Калян и заставлял его дожидаться, пока сам был занят вощением дратвы или беседой с каким-нибудь голодранцем. Затем, не вставая с места и не предлагая хану устраиваться поудобнее, Дедушка Холодный Сапожник выслушивал его и давал совет. А на другой день во время приема хан внезапно отменял разбойный выезд или дополнительный налог на воду.

Но бывали такие дни, когда Бобои-Парадуз устраивал хану публичную выволочку в присутствии случайных и низкородных людей. Тогда старик не стеснялся в выражениях и бранился, как и надлежит сапожнику. Хан бледнел, краснел, потел, хмурился, нервничал, кусал губы, но не перебивал и молча выслушивал до конца. Позже во дворце Арка хан срывал зло на ком-либо из высокопоставленных приближенных подхалимов.

Затерялось в анналах и выцвело имя хана, а вписать туда имя Дедушки Холодного Сапожника летописцы постеснялись. Время внесло поправку, и люди поступили наоборот: они забыли мюрида и запомнили пира. Все великие чудачества хорошо запоминаются и долго живут, а Бобои-Парадуз был большим чудачком. Так, по крайней мере, думали жившие с ним люди. Правда, потом оказалось, что Бобои-Парадуз был человеком доброй души и крепко любил многое из того, что беспощадно иной раз бранил.

Бобои-Парадуз был погребен неподалеку от старинного еврейского кладбища. На возвышенности, в глубокой седловине долго стоял никому не видный мавзолей. Давным-давно он стал разваливаться, и кто-то из стариков вновь и вновь старательно укладывал стены из кирпича.

В эту сторону растет новый город, строятся большие современные дома. Нет, не уберечь мазар! Простите, Бобои-Парадуз, жизнь не стоит на месте, и никто не станет ее удерживать.

Но еще в 1970 году в выбоине стояла сагона, окруженная кирпичной стеной. Внутри было подметено и полито. На земле лежала плетеная циновка из камыша для отдыха и размышлений о времени и о людях. Здесь же стоял большой глиняный кумган с водой, чтобы те, кто пожелает притронуться к сагоне Бобои-Парадуза, могли прежде омыть руки.

ГОРОД И ЛЮДИ

“Знай, о дорогой мой, если Бог пошлет тебе сына, прежде всего подбери для него хорошее имя, ибо в этом одно из отцовских прав”.

Кабус-наме, 1083 г.

Если вы попали в чужой город и у вас не оказалось путеводителя - ничего. Ступайте, куда глаза глядят, примечайте, что вокруг творится, и читайте названия улиц. Среди них нет-нет да и попадется несколько долгожданных и неожиданных имен, что побудят интерес, сделают будничной походку, а самой прогулке придадут цель и смысл. Несколько дней погода вы всерьез станете думать, что бродили не так уж вслепую и вели вас не опыт и знание, а руководящее чувство - самый интересный провожатый на свете.

Была, помнится, в годы войны хорошая путеводная песня:

Брянская улица
По городу идет.
Значит, нам туда дорога...

Потом пошли улицы смоленские, киевские, минские, будапештские, варшавские и, наконец, берлинские.

Улицы любого города путеводны, и по их названиям можно о многом судить. Об уроженцах здешних мест, именам которых в разговоре обычно предшествуют междометия. О тех, что были тут волею событий и кого поминали не лихом, а добром. О событиях, происходивших либо в самом городе, либо мощно повлиявших на общественную жизнь издали. И, конечно, о времени. Как о человеке составляют достаточно верное представление по кругу его знакомых, в такой же мере по уличным табличкам можно рассказать о чертах города, о его характере, возрасте, особенностях.

Улицы Ленина, Куйбышева, Калинина, Фрунзе; улицы Лермонтова, Герцена, Белинского, Тараса Шевченко, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Богдана Хмельницкого; улицы Индустриальная, Специалистов, Кооперативная, Текстильная и, образно выражаясь, многие-многие другие сразу заставят пришельца понять, что он шагает по Москве. Или по Ленинграду. Или, в крайнем случае, по столице советской Украины.

Вот как легко бывает ошибиться. Это - Бухара. Та самая Бухара, что оспаривает право первородства у Самарканда, у Еревана и, ничтоже сумняшеся, покушается легендами на вечный Рим. На картах археологов она до сих пор помечена большой белой кляксой, оттого что горожане постарались и отложили многометровые неисследованные пласты, известные под названием "культурных". Жители города сказочно богаты: на тысячу человек приходится по одному памятнику монументального зодчества от трехсот лет и старше.

Улицы в старом городе узкие, как теснины, и перепутаны, как лабиринт. Да и что за магистрали длиной в пятьдесят метров, где улица Толстого становится улицей Чехова без видимого перехода и предпосылок? Разве улицы такие бывают? Это проулки, закоулки, переулки; в их невообразимой путанице незнакомца обязательно ждет сюрприз в виде тупика имени кого-нибудь. И все ж это улицы, и прилепившиеся друг к другу каркасные глиняные дома с плоскими крышами удивительно повторяют города Ассирии, Урарту и Вавилона.

Не так давно кварталы и улицы назывались по старинке: квартал Водоносов, квартал Медников, квартал Оружейников, улицы Лепешечников, Ювелиров, Чеканщиков, Златошвеев, Гребенщиков, Продавцов фисташек. Был даже страшноватый переулок, где жили мастера по обмывке трупов.

Конечно, такие улицы - самые старинные. Их жители с незапамятных времен подбирались по цеховым признакам. В этом заключалось определенное удобство, и адрес не только показывал, кто где живет, но и называл, кто есть кто. Те же улицы остаются поныне, но теперь у них другие имена.

Были улицы с названиями близлежащих сел: Пайкендская, Варахшская, Шафирканская, Ромитанская. Их жители происходили родом из упомянутых мест и держали гостевые дворы для земляков. Что касается селений, то они старше Кракова, Парижа и Лондона; некоторые из них до сих пор носят данное им при рож-

дении имя, но улиц, родственных им, в городе стало меньше.

Какой же город, да еще восточный, мог обойтись без базаров? Не было такого города. Базары и в нашу жизнь вторгаются подвижными ценами. Но в Бухаре базары не простые, а именные.

От Пушкинского колхозного рынка веет чем-то новым, малоисследованным. Нет ли тут какого-нибудь сродства, связи, так сказать, между тем и другим? Есть.

Между великим русским поэтом и бухарским базаром действительно имеется связь столь же прочная, как между бузиной, произрастающей в огороде, и дядей, проживающим в городе Киеве. Связь заявляет о себе веселым рассказом с чувствительными акцентами и грамматическими погрешностями: поэт шел на рынок, покупал большой жирный гусь, дергал из хвост красивый белый перо и писал свой замечательный произведений. По-видимому, приведенных биографических сведений с избытком хватило, чтобы учредить и памятную улицу, и базар.

Улицы петляют, пересекаются, встречаются и расходятся. Исаковского, Дунаевского, Твардовского, Котовского, Чапаева, Клары Цеткин. В довершение ко всему - улица Площадь Революции. Согласитесь, что улица-площадь явление в природе редкое, как яблоки на березе. И все-таки есть такая улица в Бухаре.

А при случае можно встретиться с песней и снисходительно понять чувства легкомысленного француза из "Персидских писем" Монтескье: ах! ну до чего приятно, наверное, быть персом. Песня ломкая, трепетная, неровная, точь-в-точь улица. В ней, правда, нет размаха, как вдоль по Питерской, нет простора, как вниз по матушке по Волге, но она хороша. У нее необычное звучание, оттого что ей некуда податься, и песня затекает в тупики и закоулки, будто густое цельное молоко.

Разве я тебя не видел
На Гиждуванской улице?
У тебя в руках был букет роз
Из сада его величества.

Тембр, ритм, жест - Восток! Велик соблазн "поверить алгеброй гармонию": извлечь из этих величин корень и, составив уравнение, найти дрожащий, как обнаженный нерв, конец музыкальной фразы.

Ты - моя улыбка на губах,
Ты - моя милая душенька.

Песня старая-престарая. Ей, верно, лет пятьсот. Но Гиждуванская улица старше. Где ее искать, эту улицу? С

чем она связана? С бухарским ли селом Гиждуван, что в два раза старше Москвы, или с Гиждуванской битвой 1512 года, когда узбеки одолели иранцев? Впрочем, об этом событии теперь мало кто помнит.

Улицы, улицы... Островского, Долматовского, Розы Люксембург. Изредка попадаются имена Айни, Хамзы, Дониша. И вдруг к вящему удивлению предстает место вовсе безымянное - городская стена. С зубчаткой, с бойницами, с округлыми башнями. Твердыня. Точнее, бывшая твердыня, потому что уцелела лишь небольшая ее часть, да и то - случайно.

Провидя подобные обстоятельства, один дервиш, гулявший по Бухаре семисотлетней давности, обнаружил любопытную закономерность. Сам он был человеком весьма начитанным и разбирался в литературе, если верить отзывам о нем Гёте, Байрона и Пушкина. Звали его Саади, а выражаться он имел обыкновение стихами.

“Пока человек не начнет говорить,

Пороки и достоинства его остаются скрытыми”.

В 1950-х годах одному градоначальнику показалось, будто бы в городе не хватает воздуха. Едва он официально об этом заявил, достоинства полезли из него во все дыры, а лавры Чингиз-хана заметно увяли. Стену снесли.

Потом было вот что: ртутный столбик подскочил на четыре деления. Прежде стена обнимала город и вместе с бассейнами и городским каналом умеряла зной. Как только ее не стало, сквозняки выдули микроклимат и в городе стало жарче. Тогда, снявши голову, поплакали по волосам и часть стены оставили в покое. Видно, так тому и быть, как сказал Навои:

“Государь, разрушающий свое государство,

Подобен Хосрову, не имеющему будущности”.

Времена меняются, улицы - тоже. Сгнули Купеческие, Дворянские, Жандармские, Губернаторские. Вместо них появились Советские, Рабочие, Дехканские. Родились Октябрьские, Узбекистанские, Комсомольские. Имена этих законнорожденных детей были понятны, звучны и просты. Однако с некоторых пор наименование улиц вменили в служебные обязанности должностных лиц. Лица эти, бесспорно, совмещали умение считать до ста со склонностью к шалостям, потому что...

Улица Свердлова № 1, улица Свердлова № 2, улица Свердлова № 5. Улицы сорокалетия Октября, сорокалетия Узбекистана, сорокалетия Комсомола. Улицы пятидесятилетия... Жить на них безрадостно: в формах и бланках адрес не помещается, а выговорить его - впору задохнуться.

Растет город, строится. Многоэтажные дома, широкие нарядные проспекты. Бульвары, аллеи, парки. Честь и место большим свершениям и людям незабвенной памяти. Добро пожаловать. И незачем уподобляться пушкинскому герою, отсчитывающему дни у изголовья больного родственника.

Родительским правом нарекать новорожденных в большинстве случаев пользуются разумно и любовно, чтобы дети не обижались, когда вырастут, и чтобы со стороны совестно не было. Легко вообразить себе ужас супругов, нарекающих первенца звучномудренным именем Чанг, когда они заглянули лет на двадцать пять вперед и поняли, что у их внуки будет не отчество, а черт знает что такое. Точно так же легко представить безликость наших городов через четверть века, если неумеренно прибегать к арифметике.

Но потомки - это лишь полдела. Другая половина заключается в бережном и почтительном отношении к предкам. Тем паче, что в практике жизни мы, весьма часто оглядываясь назад, видим, как иной раз новое открытие оборачивается прочно забытым старым.

Тысячелетием раньше в городе жили известные и щедрые раздумьями мудрецы. Бухарец Авиценна, по книгам которого лечился весь мир. “Царь поэтов” Востока Рудаки. Историк Наршахи, написавший в 943 году первый городской путеводитель. Ученый энциклопедических познаний Аль-Фараби, из-за которого ссорились несколько городов (и Бухара в их числе), считая его своим. Нынче споры поутихли и потому

Не находит современник
По злой иронии судьбы
Здесь ни проспектов Авиценны,
Ни переулков Фараби.

На Центральной площади с красивым именем Регистан торчмя стоит покосившаяся мраморная плита. Жители называют ее “спотыкач”, а водители автомашин относятся к ней как к своего рода памятнику, объезжая и чертыхаясь. Плиту поставили более двадцати лет назад и золотыми буквами обещали соорудить на этом месте монумент великому мыслителю Абу-Али-ибн-Сино (Авиценне), но дальше авансов, реверансов и деклараций дело не подвинулось.

Еще в Бухаре временами жили-были Аль-Хорезми, Газали, Фирдоуси, Омар Хайям, Бируни, Низами, Навои, Васифи. Это длинная история перечислять, кто здесь был, легче назвать, кого тут не было, так как всякий вы-

дающийся по знаниям и культуре человек считал обязательным хадж не в Мекку, а в Бухару.

Давно это было. Но от великих людей остается великое наследство - их мысли. Что делать с унаследованным имуществом? Как лучше употребить завещанные сакраментальные формулы? Как поумнее распорядиться объективными законами дальнейшего развития?

“Народ, отрицающий свое прошлое во имя настоящего, Не заслуживает грядущего и не удостоится”.

Крепко умели выразаться на Востоке. Хотя, откровенно сказать, народ ни при чем. Как раз напротив, народ прочно держит в руках жар-птицу будущего и никому ее не отдаст. Не имеют грядущего члены комиссии городского совета, которые - да простит их Аллах - порой сами не ведают, что творят.

Две тысячи триста с лишним лет тому назад Александр Македонский заложил в Египте город и назвал его своим именем. С точки зрения местного горсовета факт, конечно, вопиющий, потому что тут видна заслуга не отдельной личности, а всего дружного рабовладельческого коллектива. Тем не менее, город так и остается Александрией.

Кроме того, по некоторым темным непроверенным слухам и старинным хроникам, главная улица в Багдаде носит имя Гаруна ар-Рашида. Зато доподлинно известно, что в Париже есть улица Франсуа Рабле.

Так что, если вы попали в чужой город без путеводителя, не огорчайтесь. Читайте названия улиц.

“АНДРЕС КОЙТ ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ...”

Мой отец родился 10 сентября 1930 года в большом селе районного значения со звучным названием Красная Яруга, что в Курской области. Его родители работали учителями в школе и преподавали в старших классах биологию. Раньше они учились вместе на биологическом факультете. Папа принадлежит к старинной очень большой казачьей семье с хорошим состоянием и высоким по тем временам образованием и социальным положением. Его родители, Крячко Юлиан Антонович и Иваненко Нина Кузьминишна, поженились в 1927 году в станице Ново-Мышастовской (это на Кубани, под Краснодаром), где вся многочисленная семья из 18 человек проживала в одном большом доме и кормилась одним хозяйством... Надвигался проклятый 1929 год, который Сталин назвал годом великого перелома... Семья, заблаговременно почуяв беду, распродала все свое хозяйство, вырученные деньги поделила и разъехалась по разным местам, но не очень далеко от Ново-Мышастовской. Родители отца приехали в Курскую область и в селе Красная Яруга купили хороший дом, обзавелись хозяйством и стали учительствовать. Местные власти отнеслись к ним хорошо, как к молодым специалистам, которых тогда везде очень не хватало. Документы у папиных родителей были в порядке, и никто ничего о раскулачивании не заподозрил. А раскулачивание все-таки произошло в 1931 году. Но когда в Ново-Мышастовской совдепы пришли отбирать наш фамильный дом, то застали там в пустых стенах только стариков, которые взяли по паре узелков с нехитрыми пожитками и ушли жить в семью к одной из своих дочерей, здесь же на соседней улице. Более жестоких репрессий семья не претерпела. Все выжили. В 1930-31 гг. страну потряс ужасный голод, унесший по разным источникам от 6 до 9 миллионов жизней. Это цена, которую заплатил народ Сталину за коллективизацию. Но и эту беду семья пережила без потерь.

В 1935 году у папы появился брат Олег. Близкие и друзья всю жизнь зовут его Алька. Дядя Алька в настоящее время живет в Петербурге.

Папа мне как-то говорил, что он помнит себя и окружающий мир примерно с двухлетнего возраста. И самое первое его чувство - это чувство удивления от окружающего мира. Надо сказать, что выражение удивления почти всегда присутствовало на его лице до самой смерти. Поднятые брови, сморщенный лоб и слегка собранные в букву О губы - это было у него всегда, когда он с кем-то разговаривал, что-то

разглядывал или читал. Характер он имел очень мягкий, уступчивый и без малейшей агрессии или жесткости, точно как у его мамы. Из-за этого характера мой дед Юлиан называл отца девочкой. Он был прав. К тому же по гороскопу папа родился под знаком Девы. Но вместе с тем отец обладал очень сильной волей и целеустремленностью. Его ни в коем случае нельзя было назвать плаксой, хлюпиком и т. д. В детстве он часто дрался со сверстниками и вообще был озорным пацаном, за что ему доставалось от родителей и других взрослых. Но тогда же, в детстве, у него проявилось еще одно очень редкое по нашим временам ценное качество. Способность на большую и преданную дружбу. У папы по жизни было очень много друзей, и со всеми он сохранил до самой смерти добрые отношения.

О своем довоенном детстве он мне рассказывал мало. Но об одном эпизоде он мне поведал несколько раз в разное время, настолько его это впечатлило. Однажды у одного из своих приятелей отец украл какую-то вещь, и дед Юлиан обнаружил эту кражу. Вещь немедленно была возвращена законному владельцу, а затем последовала экзекуция. Дед Юлиан привязал своего провинившегося сына к дереву и принялся лечить его от воровства ремнем так основательно, что тот даже потерял сознание. Испугавшись, что переусердствовал, Юлиан Антонович принес своего единокровного в дом и напоролся на свою супругу. Бабушка Нина в мгновение поняла, что произошло, и немедленно принялась дубасить своего мужа в отместку за сына. Уместно сказать, что Нина Кузьминишна была женщина рослая, и очень сильная, сильнее своего мужа во всяком случае. Это был первый и вообще единственный раз, когда бабушка Нина применила физическую силу против другого человека. Мой отец после этого случая болел в лежачем положении неделю. Его отец пытался как-то загладить свою вину за издержки воспитания и принес побитому сыну сладости и прочие лакомства, которые с негодованием были отвергнуты. Папа весело при этом рассказывал, что даже пытался лягнуть своего отца ногой. Тогда Юлиан Антонович принес и подарил своему сыну несколько томов Альфреда Брэма "Жизнь животных". На многие годы эти книги для папы стали любимыми и самыми дорогими. Могли тогда кто-то предполагать, что пройдет много лет и Крячко Александр Борисович станет художником-анималистом, и Альфред Брэм займет в его библиотеке почетное место? А ведь это произошло. Вот ведь как семя может прорасти! Папа всегда ту экзекуцию вспоминал с юмором и благодарностью своему отцу. Он говорил, что тогда получил такую хорошую прививку от воровства, что в дальнейшей своей нелегкой и полной неожиданных искушений

жизни никогда не имел даже мысли что-то приобрести нечестным путем.

Папе шел 11-й год, когда в мае 1941 года он закончил 4-й класс и был отправлен на лето в пионерский лагерь. В воздухе уже носился горьковатый запах надвигающейся войны. Советская пропаганда изо всех сил кричала народу в уши, что войны не будет. Сомневающихся больно наказывали за паникерство и отсутствие патриотизма. Но чем ближе подходила дата 22 июня, тем больше становилось напряжение в народной массе. За неделю до войны Юлиан Антонович забрал своего сына Борю из лагеря, сославшись перед начальством на какую-то совершенно вздорную причину. Так поступили все родители, и лагерь опустел.

Здесь нужно немного сказать о Нине Кузьминишне, матери моего отца. Она обладала потрясающей интуицией и какой-то глубокой житейской мудростью. Заранее попрятав все ценное, что невозможно было взять с собой, она взяла самое необходимое и с двумя своими пацанами уехала к родственникам куда-то под Воронеж. Потом им пришлось еще пару раз переезжать, но недалеко. Им удалось избежать оккупации и множества других бед, которых было в избытке в это лихое время. А Юлиан Антонович воевал с первых дней войны. Нина Кузьминишна чутко прислушивалась к любым вестям из Красной Яруги. В 1943-м летом отгремела знаменитая Курская битва, фронт, рыча, пошел на запад. Она немедленно стала собираться, чтобы вернуться домой. Ей пришла весточка, что дом уцелел, хотя в Красной Яруге много домов было разрушено и сожжено войной. Приехав с детьми на место, она обнаружила дом сгоревшим. Какие-то милые соседи постарались. Зависть, подлость, разбой, душегубство - это тоже было среди нашего советского народа. Тут уж, как из песни, слова не выкинешь. Поплакав на пепелище, они уехали в Ново-Мышастовскую, где можно было притулиться под крышей у кого-нибудь из многочисленных родственников, которые еще до войны постепенно начали возвращаться в родные места после раскулачивания. То лихолетье папа всегда вспоминал постоянным сосущим острым чувством голода. Ели всё, даже солидол. Столярный казеиновый клей был чуть ли не за лакомство. Этим солидолом отец тогда испортил себе почки, которыми потом страдал до конца жизни.

В 1945 году закончилась война, но Юлиан Антонович вернулся в семью только в 1947 году, погуляв пару лет на стороне...

Семья выдержала все невзгоды, опять собралась вместе, чтобы еще раз заново начать строить свою жизнь. Отец учился в школе, родители его работали учителями в той же школе. В 1947 году дед Юлиан выиграл по облигации 10 000

рублей, колоссальные по тем временам деньги. Это вызвало такие страсти у родственников и соседей, что впоследствии папа посвятил этому событию свой рассказ “Родные и близкие”.* На эти деньги дед построил для своей семьи большой хороший дом. Я хорошо помню этот дом. Мои родители привозили меня в гости к бабушке и дедушке два раза, когда мне было 5 и 6 лет. Более всего мне нравилась обширная усадьба с большим фруктовым садом и виноградником. Командовала всем этим имением бабушка Нина, которая со всеми была строгая, но меня баловала, кормила через каждые 5 минут и оправдывала все мои детские шалости.

В 1949 году умер папин дедушка Антон Маркович, а отец поступил в военное летное училище, где проучился всего год и был оттуда отчислен по причине того, что медицина у него обнаружила туберкулезные пятна на легких. Таким вот эхом отозвалась в его судьбе военное детство, эвакуация и прочие издержки того времени, когда туберкулез был весьма распространенным явлением. Папа всегда по-доброму и весело вспоминал этот период своей жизни, друзей по училищу и всякие смешные моменты их быта и учебы.

В 1950 году умерла папина бабушка Александра Аникиевна, на которую он был очень похож. В этот же год отец поступил в Ростовский педагогический институт на факультет иностранных языков. И вот здесь у него обнаружилась потрясающая способность к языкам. В институте он освоил английский, которым до конца жизни владел совершенно свободно, как русским. Через пару лет после окончания Ростовского пединститута папа поступил в Горьковский заочный институт иностранных языков и закончил его со знанием немецкого и французского. Через 40 с лишним лет этот же институт закончит мой младший брат Владимир и приобретет себе английский язык. В семидесятых годах прошлого века папа взялся за арабский и самостоятельно выучил его настолько, что читал и писал без словаря. В последние годы своей жизни он увлекся испанским (мечтал съездить в Испанию)...

В Ростове, будучи еще студентом, отец встретил мою будущую маму, Павлову Марию Герасимовну, и влюбился в нее без памяти, что неудивительно. В молодости мама была чудо как хороша собой. Множество молодых мужчин из-за нее повыворачивали себе шеи, оглядываясь, и поразбивали носы в турнирах. Мама тогда была студенткой того же института, но училась на другом факультете. Мои родители уже заканчивали учебу в институте, когда 17 июля 1954 года на свет появился я, Александр Борисович Крячко. Дата моего

* См. сборник “Битые собаки” (1989). Первая публикация - журнал “Радуга”, 1988, № 4. - Ред.

рождения оказалась отмеченной ужасной трагедией в истории нашей страны. 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в доме купца Ипатьева, была злодейски казнена большевиками семья последнего русского императора.

После окончания института моим родителям не нашлось работы вблизи их родных мест, и они были направлены по распределению в Узбекистан, в маленький грязный городишко Широбад. Чтобы не мучить себя и уберечь своего первенца от ненужных рисков, мои родители передали меня в заботливые и добрые руки моей бабушки, маминой мамы, Павловой Пелагеи Никифоровны. Это была женщина удивительной доброты и бескорыстия. Отец и бабушка сразу понравились друг другу и, несмотря на то, что в будущем их отношения подверглись серьезным испытаниям, они на всю жизнь сохранили взаимную привязанность и сердечное тепло. До смерти бабушки в 1995 году отец всегда писал ей и называл мамой.

Здесь, в глухом хуторе Ожёгине, что в Волгоградской области, в доме бабушки я начал помнить себя и окружающий мир. Родители не могли регулярно навещать меня из-за скудного достатка и больших расстояний. Поэтому я впервые увидел отца, когда мне было 3 года. Когда отец приехал в Ожёгин, он нашел, что его сын смешно лопочет на диалекте донского казачества и лихо матерится. Последовали вопросы. Бабушка объяснила, что хуторские мужики матом не ругаются, они на нем разговаривают. Глухо отгородить ребенка от тлетворного влияния взрослых условия не позволяют. На том и поладили. Я был в восторге от отца. Он был такой большой, он так высоко подбрасывал меня в небо, а потом ловил сильными руками, - дух захватывало. А еще я был в восторге от его подарков. Это были альбомы для раскрашивания и большая жестяная коробка с цветными карандашами. Карандаши были очень красивые, они удивительно необычно и приятно пахли и звонко гремели. Отец научил меня всем этим пользоваться, и я с упоением раскрашивал все картинки и постоянно спрашивал у него, правильно я делаю или неправильно. Отец терпеливо мне все объяснял, показывал на деревья, кошек, корову и другие вещи для сравнения и говорил: "Сашенька, посмотри, как красиво!" Я не понимал, что может быть красивого в яблоках, помидорах, кошках и облаках, но, наверное, тогда, благодаря отцу, в моем подсознании все-таки шелкнул какой-то включатель, из-за чего потом во мне проснулся художник. Когда в 1997 году я гостил у отца в Пярну, он сказал мне, что художник - это не профессия, это диагноз. Не могу ничего добавить к этому утверждению.

Книги всегда были при нем. Он всегда их читал, собирал и любил не меньше, чем живых людей. Про себя он так

и говорил: “Книги - это самое лучшее, что я понимаю и умею”. Отец никогда не мог скопить денег, потому что едва у него появлялась какая-то относительно свободная сумма, он сразу же покупал какую-нибудь интересную и умную книгу. Благодаря книгам он был великолепным рассказчиком. Отец так много знал и так интересно рассказывал, что у слушателей останавливалось время, и услышанное от него они запоминали навсегда.

В 1957 году отец поступил на службу во Всесоюзное акционерное объединение (ВАО) “Интурист”. Он оставляет работу в школе, и они с мамой переезжают из Широбада в Термез, что на границе с Афганистаном. “Интурист” - это была одна из организаций, имевших отношение к Комитету государственной безопасности СССР. Могущество КГБ повлияло положительно на многие проблемы с обустройством моих родителей на новом месте. Отцу стали платить много больше, чем до того в школе, мама довольно быстро устроилась на работу в большую среднюю школу, им немедленно дали, хоть и небольшую, но уютную квартиру. В марте 1959 года родители забрали меня к себе.

Попав в Среднюю Азию, отец, будучи человеком очень впечатлительным, не мог не поддаться особому обаянию и колориту этих мест. Он увлекся историей, литературой, искусством и культурой Востока. Потом это увлечение переросло какие-то национальные и местные рамки и приняло всеобщий характер. Его интересы распространились на общемировое искусство, историю, литературу. И конечно - это книги, книги, книги. Из-за них отец выслушал от мамы очень много неприятных слов. Но книги он не оставил, а вот трещина в отношениях с женой и протест появились.

В 1960 году у папы умер от рака его отец, Юлиан Антонович. Папа долго и тяжело переживал эту смерть. Моему дедушке тогда было всего 53 года. Умирал он настолько спокойно и обыденно, будто смерть для него была чем-то вроде утреннего умывания. Это спокойствие и невозмутимость перед лицом смерти всегда удивляли и восхищали моего отца.

Великолепное знание отцом английского языка и освоение им немецкого и французского, общая эрудиция, респектабельная внешность сделали его весьма заметным в глазах начальства, и в феврале 1961 года наша семья переезжает в Молдавию в город Унгены, куда папа был назначен начальником местного отделения ВАО “Интурист”. В этот же год я пошел в школу.

В 1962 году в марте у папы и мамы появился еще один сын, мой младший брат, которого назвали Владимиром. Это время для меня было счастливым и безмятежным. Я учился,

много читал, опять занялся рисованием. Чтобы поощрить мою тягу к искусству, папа подарил мне самоучитель из двух больших книг “Рисунок и живопись”. Через какое-то время это мне надоело и я потерял к рисованию интерес. Но все-таки кое-какие навыки я приобрел, и это мне пригодилось впоследствии.

В 1965 году умерла папина мама Нина Кузьминишна от болезни печени. Отец как-то сник, весь почернел и осунулся. В это время мама, наверное, решила, что пришла пора показать, кто в доме хозяин. У родителей участились разговоры на повышенных тонах. А потом у отца появилась другая женщина, которая впоследствии стала его второй женой.

Разрыв у родителей был коротким и яростным. Произошло это в 1966 году. Отец со своей подругой уехал на Камчатку. Они поселились недалеко от Петропавловска. Надо было как-то обжиться, и он устроился простым рабочим на местный судоремонтный завод. Жизнь была тяжкая, хотя и не голодная. Сказывался холодный суровый климат, удаленность и дикость места, полное отсутствие какой бы то ни было культуры, всеобщее хамство и пьянство, а также наглое и беззастенчивое воровство начальства. Да еще бытовая неустроенность, грязь и всеобщий раздрай. Таких условий он, конечно, не выдержал бы и пропал. Спасли три обстоятельства: его верные друзья-книжки, шахматы и любимая женщина. Шахматами он увлекся неожиданно и с большим интересом. Про них папа всегда вспоминал так: “Шахматы меня спасли”. На Камчатке у отца рука впервые потянулась к перу. Наверное, ему было не трудно начать писать. Все-таки филологическое образование, знание языков, потрясающая начитанность и эрудиция определенно помогли ему. Первый рассказ, который он написал, назывался “Катя”, посвящен был медведице, а напечатан в журнале “Охота”.

О своей жизни на Камчатке папа через много лет написал замечательную повесть “Края далекие, места-люди нездешние”. Эта повесть была опубликована в журнале “Дружба народов” в 2000 году и вызвала восторженные отзывы литературной критики. К камчатскому периоду относится очень интересный рассказ “Морской пейзаж с одинокой фигурой” и другие рассказы, но вершиной среди них является, конечно же, повесть “Битые собаки”. Эта вещь никого не может оставить равнодушным.

Прожив около трех лет на Камчатке, отец понял, что от туда надо уезжать. Всерьез заниматься там литературным творчеством было невозможно. Обратился за помощью к старым друзьям, с которыми никогда не прекращал общения. Те помогли ему опять вернуться в Среднюю Азию. Он с женой переезжает туда и поселяется в Бухаре. В 1970 году у отца рождаются две очаровательные дочки - двойняшки

Вера и Нина. Остальные факты его жизни в Бухаре подробно описаны в романе “Сцены из античной жизни”. Поэтому я не буду мешать автору своими комментариями, а отойду немного в сторону и вернусь в 1966 год в Унгены. Там остались я, брат Володя и мама.

Мама решила уехать куда-то поближе к родным местам. Счастливый случай помог поменять квартиру, и мы переехали на жительство в город Волжский. Это рядом с Волгоградом, на левом берегу Волги. Эти два города разделяет плотина. Там началась наша новая жизнь, но уже без отца. Папа связь с нами поддерживал. Звонил, писал письма, несколько раз заезжал проведать меня и брата. В 1974 году я стал курсантом одного из высших военных училищ в Ленинграде. Часто приходил в гости к дяде Альке и однажды встретил там отца. Мы поздоровались и обнялись. А потом долго сидели рядом и молчали, приходя в себя от ошеломления этой встречи. Так мы снова соединились и восстановили свои отношения. Конечно, я уже жил своей самостоятельной жизнью, и отношения нами поддерживались множеством хороших добрых писем. В 1981 году, будучи офицером, я был направлен для прохождения дальнейшей службы в Москву. К тому времени у меня уже была семья. Мне повезло быстро получить в Москве квартиру, и отец часто стал бывать у меня, а я иногда приезжал к нему в Таллинн, а потом в Пярну.

Однако вернемся в 1973 год, в Бухару.

В это время отец переживал тяжелейший кризис в своей жизни. Опять разрыв отношений и развод с женой. Квартиру он оставил семье, а сам скитался, где придется. К тому же его исключили из партии, выгнали с работы, и он остался без средств к существованию. Обо всем этом он говорил: “Мне тогда было так плохо, что от безысходности и горя не хотелось жить, а глаза сами искали веревку”.

Когда отец работал экскурсоводом, многие турагентства, посылавшие в Бухару своих англоязычных туристов, заранее просили-умоляли обеспечить им для экскурсий именно Бориса Крячко. А уж если эти англичане имели какое-то отношение к Партии и Правительству, то местное начальство, желая прогнуться перед руководством из Москвы, к отцу относилось как к какому-то сокровищу, осыпая его всевозможными милостями и непомерными гонорарами. Даже когда его выгнали из “вертепа” (см. “Сцены...”), холуи и топтуны с ног сбивались, разыскивая отца, чтобы доставить его пред светлые очи руководства и уговорить провести очередную группу высокопоставленных иностранцев. Одну группу из Эстонии сопровождала женщина-переводчик. Она как-то сразу понравилась отцу. И это было взаимным. Они познакомились: “Борис Крячко”, “Ингрид Майдре”.

Потом была переписка. Оказалось, что она в разводе со

своим мужем, у нее две дочери, живет в Таллинне. Оказалось, что Ингрид страдает теми же увлечениями, что и отец, - это язык (английский), искусство и, конечно, книги. Опять эти книги! Пришла любовь, а им было за сорок. В Бухаре отца уже ничего не держало, он уезжает в Таллинн, и они с Ингрид женятся. Отец дает ей новое имя - Душенька. И это имя к ней прирастает настолько, что все близкие начинают ее так звать и зовут до сих пор. Во всех своих письмах мне отец многие события начинал описывать так: "Мы с Душенькой..."

Когда отец переехал в Эстонию, возникла проблема с его трудоустройством. По специальности он устроиться не мог, так как не знал эстонского языка. Поэтому он закончил трехмесячные курсы и стал работать сменным оператором в районной котельной. Эта работа нравилась ему хорошей оплатой и тем, что за сутки дежурства он имел трое суток отдыха, что позволяло ему заниматься литературным творчеством. Он писал и на работе (если условия позволяли) в помещении, где размещался основной пульт управления, там было рабочее место дежурного оператора. По этой причине отец всегда соглашался дежурить в выходные дни и праздники, которые к тому же оплачивались по двойному тарифу. И еще был один довод в пользу котельной, которую отец называл Титаником. Титаник дал ему возможность раньше выйти на пенсию, в 53 года. К писательскому труду, к Слову вообще он относился очень ответственно, постоянно шлифуя и совершенствуя уже написанный материал. Когда его рукописи были переданы в Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), там удивились: "Какой роскошный русский язык!" В Эстонии отец начинает печататься в журналах "Таллин", "Радуга" и "Вышгород".

Папа часто приезжал ко мне в Москву, ходил по редакциям местных толстых журналов, предлагая свои вещи для публикации. Читали всегда с большим интересом, но везде получал отказ. В "Новом мире" про "Битых собак" ему так и сказали: "Ну, за это лет семь тюрьмы положено. Печатать не будем". Это были 80-е годы, андроповщина, черненкощина. Советский Союз уже начал пошатываться, но советская власть на местах еще не соглашалась что-либо менять и не уступала своих позиций.

В 80-х годах папа познакомился с московским поэтом Александром Ивановичем Зориным, который стал его близким другом. К тому времени отец уже давно был глубоко верующим православным христианином, а Александр Иванович был одним из духовных чад протоиерея Александра Меня. Каждый раз, когда папа приезжал в Москву, они с Зориным ездили к отцу Александру в ближнее Подмосковье, в Новую Деревню, где стоит храм, в котором отец Александр служил. Папа всегда возвращался оттуда какой-то воодушев-

ленный и восхищенный: “Какой удивительный человек!”
“Какой гениальный ум!”

У Душеньки в Пярну есть большой дом с чудесным садом, доставшийся ей в наследство от родителей. Это очень тихое и красивое место недалеко от моря. Отец просто влюбился в Пярну, в этот дом и сад. Он благодарил за это Бога и все повторял слова Марины Цветаевой: “За этот ад, за этот бред пошли мне сад на склоне лет...” В 1983 году папа выходит на пенсию и сразу же переезжает в Пярну. Душенька тогда еще работала, преподавая английский язык в Таллиннском университете и вела частные уроки. Но она тоже решила, что отцу лучше жить в Пярну, так как оставлять там дом и сад на долгое время без присмотра рискованно. У Душеньки была возможность по 2-3 дня в неделю проводить в Пярну, так что они с отцом никогда не расставались надолго. Скучно ему там никогда не было. Этот большой дом редко бывал без гостей. Папа любил принимать у себя разных людей, и к нему люди тянулись чрезвычайно. У него был врожденный талант общения. Все люди, независимо от возраста и пола, в обществе отца чувствовали себя комфортно... А уж если папа начинал что-то рассказывать или читать вслух какие-то свои вещи, - это всегда производило фурор. Иногда он сетовал на то, что не хватает времени писать. Конечно, дом, сад и заботы по хозяйству отнимали много времени. Но зато он здесь ни от кого и ни от чего не зависел (относительно, конечно) и был хозяином своему времени. Отец всегда это отмечал особо. А еще в эту пору ярко проявилась его любовь к животным. Они были рядом с ним всегда - собаки и кошки. С ним в доме одновременно проживало до шести кошек и собака. Надо было видеть, как отец ложится спать. Все кошки приходили к нему, укладывались рядом на софе, грели его и, мурлыкая, убаюкивали. Когда папа собирался на рынок и выходил за ворота на улицу, к нему со всех сторон сбегались собаки. Я несколько раз наблюдал эту картину и всегда удивлялся тому, как эти собаки чувствовали или определяли появление на улице своего кумира? И для каждой у отца находилось ласковое слово и приветствие. Некоторые из собак имели хозяев, но были и бездомные. Всем им отец давал свои имена, очень яркие и точные - Лохматка, Анубис, Петрович..., а те охотно и с удовольствием на них откликались. Собаки всегда молча и с достоинством следовали за отцом, окружив его вроде почетного эскорта, но метров за 100 до рынка отставали. Знали, что на рынок им нельзя. Папа всегда им покупал собачьей колбасы и, когда возвращался, наделял каждую своим куском. Сколько благодарности и любви к своему благодетелю было в собачьих глазах! Это невозможно описать. Век у собак и кошек короткий, и они, конечно, иногда умирали. У

папы в саду было отведено место, где он хоронил своих любимцев, а потом почти каждый день приходил на это место, садился на пенек от спиленного дерева и пел им песни.

В 1989 году, когда политические ветры в стране потеплели, в Эстонии вышла первая книга отца “Битые собаки”. Она содержала одноименную повесть и серию рассказов. Эта книга быстро разошлась и даже появлялась в Москве в самиздатовском варианте. Немного раньше во Франкфурте, в Германии, “Битых собак” опубликовало издательство “Грани”. Отец направлял туда свою рукопись под псевдонимом Андрес Койт по соображениям безопасности. Все это принесло ему известность. Об отце заговорили. Известность эта носила ярко выраженный диссидентский характер, поэтому пробиться на страницы официальных изданий не помогла. В Союзе писателей сидевшие там дедушки и бабушки, чья комсомольская молодость взрывала церкви, проводила раскулачивания и коллективизацию, спросили прямо: “И чего это вы так не любите советскую власть?” “За ненависть”, - ответил отец и ушел, поняв, что ничего хорошего его здесь не ждет...

Меня с отцом связывали не только родственные отношения. У нас с ним было множество точек соприкосновения. Одна из таких больших жирных точек - искусство. В самом начале своей офицерской службы, когда я был совсем молодым лейтенантом, случай послал мне в руки пару небольших кусков дерева от ствола липы. Я решил вырезать из них ложки с длинными черенками, но не простые, а чтобы они были изящные. Для этого черенкам был задан слегка изогнутый профиль, и ложки стали похожими на одну из букв арабского алфавита, вышедшую из-под руки каллиграфа. Они мне показались вполне достойными, чтобы подарить одну маме, а другую теще. Мне понравился процесс резьбы. Вьющаяся изпод стамески стружка ведет себя как живая. Запах дерева, его какое-то человеческое тепло, цвет разнообразный, но всегда приятный для глаза, и ощущение благодати в самом материале, - все это очаровало меня. Я стал художником-резчиком по дереву. Здесь, конечно, с особой силой проявилось то, что заложил в меня раньше отец. От тех ложек прошло 24 года. За это время я определился как анималист.

По мере моего творческого роста меня всегда сопровождал отец своими советами, замечаниями, критикой. Все его книги по искусству достались мне.

В 1997 году я приехал в Пярну к отцу на целый месяц в отпуск. Стоял сентябрь. Это был счастливый месяц для меня, отца и Душеньки. Так много было всего хорошего! Отец как раз отшлифовал и подготовил к печати роман “Сцены из античной жизни”. Этот роман звучал по вечерам в авторском исполнении в уютной домашней обстановке.

Папа никогда не замечал такого понятия - национальность. Он говорил, что к национальности надо относиться, как к белью. Если человек нравственно чист, то и национальность его так же чиста, приятна и незаметна, как чистое белье. А вот у мерзавца всегда с нравственной чистотой проблемы, и его национальность начинает вонять вместе с ним, как протухшие кальсоны. Поэтому в доме отца бывали узбеки, таджики, евреи, русские, украинцы, татары, поляки и т. д. И всем было там хорошо. Да и семья вокруг отца собралась интернациональная. Сам русский, но с украинскими корнями, жена эстонка, один зять англичанин, другой - норвежец, пёс Рикки - немец. Перечислив это, папа улыбался.

В это время отец проходил процедуру вступления в Союз писателей России. Но бюрократические заморочки, отписки и волокита очень огорчали его. Я в тексте этих бумажек из Союза писателей заподозрил даже зависть. А потом отца разозлил упрек в антисоветизме и он решил отозвать свое заявление о вступлении. Вот ведь дурь какая! Шел седьмой год, как Советский Союз развалился. Труп разложился и высох, а челюсти все шелкали...

Отец был очень верующим человеком, всегда соблюдал посты, церковные праздники, регулярно исповедывался и причащался. Он любил православие за красоту, доброту, простоту и понятность. А еще он говорил, что православие - это всегда личная встреча с Богом. Поэтому отец совершенно не боялся смерти и даже шутил и подтрунивал над своими многочисленными недугами. Он был тогда очень больным человеком, и это была наша с ним последняя встреча.

Отпуск закончился, я вернулся в Москву. В это время я имел воинское звание полковник и занимал солидную должность. Но резко возросшие издержки воинской службы, усиление мааразма, воровства, лжи и общей деградации в армии превысили уровень моей терпимости и вошли в противоречие с моими устремлениями. В начале 1998 года я уволился с военной службы и профессионально занялся искусством...

30-го октября 1998 года папа покинул этот мир. Душенька в это время была в Таллинне. Соседи нашли отца мертвым. Он умер от инфаркта, который у него был третьим по счету. На коленях у него лежала книга с иллюстрациями картин Караваджо - одного из его любимых художников. Дата смерти папы совпадает с датой смерти Сергея Николаевича Юренева, который был его крестным отцом. В этом есть какой-то знак. В свое время от Сергея Николаевича отцу достались в наследство серебряный нательный крест, Библия и та самая табличка под куском бухарского шелка из "Сцен..." со словом "НАСРАТЬ". Теперь крест и Библия находятся у моего брата, а табличка поселилась у меня.

Мы с братом ездили на похороны. Начинаясь ноябрь. В

Пярну, в саду, в том месте, где отец хоронил своих любимых животных, рядом с пеньком от спиленного дерева, на мягкой земле, мы нашли очень четкие следы от его ног. Вот оно как со смыслом нарисовалось! Человек ушел навсегда, а его следы остались! Отца отпевали в церкви, где он был прихожанином. Был ясный день. Собралось очень много народа. Людей никто не приглашал, но пришли почти все с улицы Аули, на которой он жил последние 15 лет. Про отца знали, что он русский, что он писатель и что он очень добрый человек. В церкви отца, лежащего в гробу, через окно осветил яркий луч солнечного света, словно прощаясь и благословляя...

На следующий год летом я сделал большой православный крест-голубец, и мы с братом отвезли его на крыше моей машины в город Пярну и установили на могиле отца, как он просил. На кресте прикреплена медная табличка с надписью, кто таков и когда. Мы с братом регулярно ездим в Эстонию проводить отца и Душеньку. С Душенькой и с нашими сводными сестрами у нас сохранились очень теплые отношения.

*Александр КРЯЧКО,
художник, резчик по дереву,
член Союза дизайнеров Москвы*

27 января 2005 года



Дома в Пярну с любимым котом Филиппком,
им хвостом маячит Рики. 1996.

III

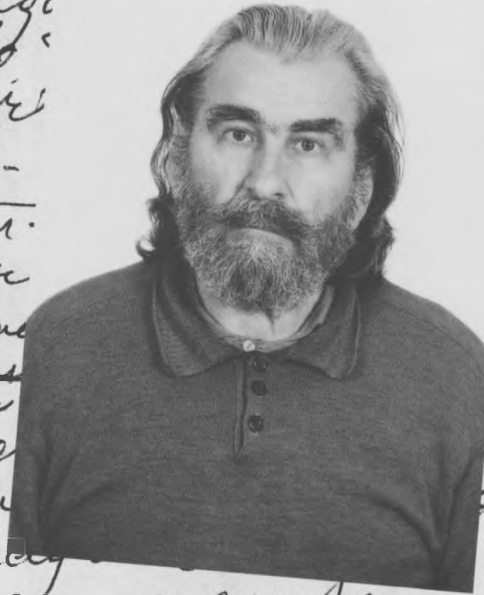
и зашел и увидел за конгревационно
Михайлов и Гимм оидь не не сома
камер и говорит что ~~2000~~ ~~Гоме~~
антисоци ~~Гоме~~ ~~Гоме~~ ~~Гоме~~
3 С... сам Гоме чил руд



но мать,
всего...
из-за не не коорда
льно ~~до~~
иль (я это) ~~Гоме~~
не (Гоме) ~~Гоме~~
кой завод, под
о дня, а завод
и самими
Харито -
руками стены ког

и а' геновой доет множественного
Дело было
используя. ~~тогда~~
уже после крепостной права
и купил тогда

сахарной фаб
кавказской, и
обращаю (но -
А наладил
ие уряды - и
огда в Возро
Гуман, на ка
и еван вни
и грамоте ка
е себя урядом француз, - ильдь! -
а завод без них работает и сахар
неправно производят. Примечать и



и
- это
Гоме
мн
ми за
не ун
осил
и см
исован
а заво
Время

ЭКСКУРСИЯ

ВОПРОС: Есть ли такое слово, которое может считаться правилом для поведения на всю жизнь?

ОТВЕТ: А “взаимность” разве не такое слово?

ВОПРОС: Нужно ли платить добром за зло?

ОТВЕТ: А чем же тогда платить за добро? За зло воздавайте справедливостью, а за добро - добром.

Беседы с Конфуцием

ИНТРОДУКЦИЯ

Хорошо изображать события от третьего лица, удобно: от действительности позволительно в сторону воображения податься или глаза прикрыть, или правду подменить красотой, потому что правда не очень собой приятна, а красота на то и красота, чтобы всегда быть в лучшем виде. С помощью Музы, удостоенной многих правительственных наград, нетрудно живописать всякие явления и таких героев, которые, независимо от времени действия, высказывают любимые идеи в духе наших газет, и автор как бы присутствует, но не участвует, свидетельствует, но ни за что не отвечает, куда-то зовёт, но сам ничуть не торопится.

Мне тоже хотелось бы так писать, да не выходит; то ли глаза не вовремя закрываю на действительность, то ли в сторону воображения мало сбиваюсь... “Нетипично, - говорят. - Где вы, - говорят, - нашли таких мошенников? проходимцев? уродов? Разве в наших условиях они могут произойти? Не могут. Значит, и рассказ ваш не представляется вероятным”.

Вот и приходится писать от первого лица, а не то опять обвинят во лжи, и доказать тогда ничего не докажешь. Если бы только писать, - так нет же! - надо лично участвовать в событиях и отвечать перед всеми, кому попадёт на глаза чудная эта повесть. Кроме того, я вовсе не главный герой, а второстепенное лицо, и упрекать меня в амбиции никому не след.

Муза мне, пожалуй, без надобности. Не то, чтобы я против нее вообще. Когда она собственной персоной на-

граждала и взыскивала, без нее автору было не обойтись, а теперь ее саму награждают, - куда мне до нее! и что ей до меня! - мы с ней чужие.

Но мне нужен собеседник, чтобы мысленно упираться в него взглядом, гадать, что он за человек, и видеть, попадает в него слово или не попадает. Причем, мне больше по душе не тот, что вперед ушел, а тот, что идет следом, не отстаёт ни на шаг и порой на пятки наступает. Он моложе меня, но этот недостаток со временем зачтётся ему как преимущество. Вот кто мне нужен, то есть, так нужен, что я готов вступить в разговор первым.

- Извините, я наступил на вашу тень. -

- А-а, ничего, бывает хуже. А я вас уже где-то видел. -

- Возможно. Я там часто бываю. -

Начало есть.

* * *

Но я действительно там часто бываю и без всякой нужды. Вернее, мне нужды нет, а другим до меня есть, иначе для чего бы я туда ходил, да еще часто. Об этом месте я говорю кратко: там, туда, оттуда...

Проще, конечно, взять да и не пойти, - мало ли кому я нужен. А если во мне такая кому-то потребность, так ведь и Мухаммед ходил к горе, а не наоборот. Всё это так, но с тех пор много воды утекло и порядки переменялись. Сколько лет мы живём не для себя, а для общества, и даже не для общества, а ради смутных и отдалённых его целей, и жить по-другому не умеем. Потому мне и в голову не придет сказать: "Товарищ, как же это? Я вам позарез нужен, вы мне нимало не нужны. Полно шутики шутить, первое апреля лишь раз в году бывает". Я даже не подумаю таким образом. Зовут - иди, бьют - беги, разница в скорости и только.

Там мне дадут что-нибудь делать. Ах-ах! это же решительно меняет положение. Поручат дело, стало быть, заплатят за него, как принято, поблагодарят от души, да, небось, и премией вспомнят в годовой праздник. Как бы не так, держи карман шире. Копейки не дадут, а насчет благодарности - ну что за церемонии, право. Просто скажут: "Вы свободны", а я отвечу: "Спасибо. До свидания".

Я рассказываю ересь? - разумеется. Но припомните-ка, что все известные миру ереси оказывались на поверку чистой правдой, и люди слушали еретиков не иначе, как открыв рот и развесив уши. С еретиками обходились круто: распинали, вешали, сжигали, рубили головы, зато по прошествии времени жалели о них и плакали. Вспом-

ните кстати, что все открытия в науке и обновления в культуре выглядели поначалу вопиющей ересью. Да что говорить! Попробуйте сами выразить мало-мальски свежую мысль, как ее тут же объявят еретической по причине свежести. Хватит и на наш век людей, страдающих насморком от запаха живых цветов.

Что за место, куда я ходил? Какие там люди? Чем заняты? Что у них за душой и что на уме? Как живут-могут? Трудно ответить сразу. Боюсь, что мне не поверят, между тем как я говорю правду. Учреждение, где я бывал, приобретало неясный характер, и чем дальше, тем больше. Будь мои прогулки объяснимы личной прибылью, душевным удовольствием или общенародной пользой, так я бы прямее выразился, а то ведь - нет. Бесцельность моих посещений наложила на место печать неопределённости, и всё стало, как в сказке об Иване-дураке, который тоже незнамо куда ходил и неведомо что делал.

Между прочим, меня там многие знают, и я их - тоже. Еще бы не знать: виделись пятьсот тридцать восемь раз, здоровались-прощались за руку, за столом, хоть и невзначай, а сживвали. Одна беда, что имён не помню, будто они у них вымышленные. И голова у меня устроена на подобие веялки: зерно к зерну, а полу на ветер.

ЗАСТОЛЬНЫЙ РАССКАЗ

За столом, говорю, сживвали в диетической столовой. А на столе манная каша и полуведёрный чайник. Нас всего шестеро. Песен мы не поём, говорим вполголоса, не куражмся, старую судомойку зовём девушкой, и нас очень просто принять за курортников с язвой желудка, а шампанское в пузатом чайнике за лимонад. Разговоры у нас обстоятельные, но передавать их в подробностях нет расчета, потому что посторонний всё равно не в курсе местных событий и, кроме того, ему, постороннему, надо сперва основательно проштудировать годовую подшивку "За рубежом", прежде чем толковать с нами про жизнь. Не в обиду сказано: компания гостю рада, однако будь гость хоть семи пядей во лбу, вряд ли он сможет участвовать в нашей беседе, похожей на викторину.

Как дела в Камеруне? Что в Гвинее новенького? Кто из начальства выиграл по лотерейному билету вторую машину? Что слышать о запоях бывшего председателя облисполкома? В какой стране наша разведка опять дала маху? Англия, эта проститутка, как ее правильно Ленин называл, чего она от нас добивается? Сколько процентов личного состава городской милиции переболели гоноре-

ей? Зелёное, длинное, висит на стене и пищит - что это? Какие преимущества у мусульман перед иноверцами? По каждой теме свой оратор.

- Где у русских знак веры? - обращается ко мне очередной выступающий. На днях он сделал сыну обрезание, и шампанское идет теперь за его счет. - Где? На шее. Крест. Можно снять. Раз! - и нет. Правильно? И ты уже совсем кафир. А мусульман? Первый сорт. Люкус. Кто снимет?

Он встает и под одобрительный гомон сотрапезников доказательно поглаживает низ живота.

- Всё так. Министр-пинистр, кто такой? Мусульман. Красную книжку не смотри, в бане смотри.

- Слушай, - говорю я простодушно. - А ведь ты в Бога веруешь.

Он садится и, полузакрыв глаза произносит: - Ля ил-ляхи лля... - Окрепнув взглядом, переходит с арабского на русский: -...Но я в него не верю. -

Застолица подводит итог: - Омин! - и все прилично смеются, а спикер велит “девушке” отнести чайник на кухню, чтобы еще разок наполнить его “лимонадом”.

- Погоди, - не унимаюсь я. - Ты скажи прямо: есть Бог или нет? -

- Есть. -

- Значит, ты в это веришь. -

- Нет. -

- Ну как же, ведь Бог, по-твоему, есть. -

- Конечно, есть. -

- Почему же ты не веруешь? -

- Мое личное дело. -

“Нет божества, кроме Аллаха, но я в него не верю”. Семь пятниц на неделе. Сорок бочек арестантов. Сто вёрст до небес и всё лесом. Если бы дело сводилось к абсурду, так и забыть не грех, а то ведь - осмысленно, серьезно, практически. “Нет божества, кроме Аллаха, но я в него не верю”. Ведь это целая система взглядов, самая современная диалектика, основной принцип нашего экзистенциализма.

Я немного забегаю вперед. Мне стало ясно не всё сразу, потому что мое сознание, как и у большинства моих соотечественников, развилось на ущербе лет, когда силы почти исчерпаны. Один мой знакомый расплакался оттого, что добрался до Монтеня и до Писарева к семидесяти годам, а не к тридцати. Я понимаю его огорчение. Но я также понимаю и того, кому нравятся зимние яблоки.

Итак, я их знаю, и они меня - тоже. Только мне всё кажется, что они думают одно, говорят другое, а делают третье, поэтому и физиономии у них не сложились и запомнить трудно. Этот разлад между мыслью, словом и поступком делает их лица похожими на оттиск гербовой печати с прокрутом, когда все буквы смазаны и прочитывать ничего нельзя. Я вовсе не виню их и не вторгаюсь в разлад ума с совестью - не мое это дело. Я даже думаю, что такое состояние у людей может оказаться длительным, но не вечным. Думать по-другому мне трудно. Так, глядя в звёздное небо, я испытываю тоску при мысли, что разумная тварь произрастает только на земле, а всё вокруг нас - сверкающая бездна и пустота.

Может случиться, что вам, мой собеседник, по младости лет неизвестна тоска, и оттого вы с укоризной взираете и на меня, и на мои сентименты. Но я могу вызвать это чувство искусственным путем у кого угодно и у вас тоже хоть сию минуту. Извольте. Вложите пальцы руки в дверную щель. Так. Теперь я потихоньку начинаю зажимать их дверью. Как великолепно читается ваше лицо! Вот на нем промелькнула растерянность, показалась сучка и сменилась разочарованием. Разрешите узнать у вас в этот момент, прекрасна ли жизнь, и каковы ваши планы на будущее? Вижу, вижу: и планов нет никаких, и жизнь не мёд. Но дальше, дальше, как говорит наш общий друг Николай Васильевич Гоголь. Ой, как вы затосковали лицом. С чего бы это? Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе. Развлекитесь мыслью о высоких материях. Что? Ну будет, будет. Не стану больше экспериментировать при условии полного вашего доверия к моим чувствам.

А ведь и я хорош. Век бы туда не ходил, да приходится. На душе страх, неуверенность и неприязнь, зато выражение лица встречным под стать: хлебом меня не корми, а дай побывать в горних высях и в благорастворении здешних воздушных. Встречных много. У нас и обиход свой выработался. Всякий раз, будто кукушка в старинных часах: ку-ку!

Первый встречный: Как жизнь молодая?

Я: Постараюсь оправдать доверие.

Второй: Категорический привет!

Я: Категорический ответ!

Третий: Ха-ха! Я иду пока вру, и ты идешь пока врешь.

Я: Хо-хо! Ври, пока ВРИО.

Четвёртый: Стой! Новый анекдот. Муж уехал в командировку, а жена, не будь дура...

Я: Слушай наизнанку: жена уехала в командировку, а муж...

Кто их знает, чем они занимаются. По крайней мере, мне это выяснить не удалось. Сказать, что ничем, так зарплата большая, вид разбитной, походка - того и гляди подумаешь: вот человек при деле, да еще, видать, при таком, где всё на живой ноге делается. О работе там рассказывать не любят, а мне опять сдается, что они и сами толком свое дело не знают и относятся к нему, как к пожизненному заседанию, где их время от времени понуждают произносить что-то вроде “сгинь-сгинь-рассыпья” и прочие магические заклинания.

Чёрт знает, что такое со мной творится. Лучезарно ослабившись, я вымеряю ковровые дорожки трёхэтажного фаланстера и нутром ощущаю непостижимый гнёт, к которому все-таки легче приноровиться, чем преодолевать. Виноват, молодой, исправлюсь - мудрость самозащиты. Никто меня этому не учил, сам постиг и другим советую. Если вас, к примеру, грабят, а вам жизнь дороже кошелька, не сопротивляйтесь. Впрочем, вы самостоятельно придете к такому же заключению, когда почувствуете ребром острый предмет в том месте, где у вас печень. Согласен, что жизнь становится тем нестерпимее, чем чаще грабёж повторяется.

Словом, ходил я туда так же охотно, как некогда ходили на барщину, а вёл себя с такой же непринуждённостью, с какой крепостной мужик посылал дочь в баню помыть барину спину. Честно говоря, мне ужасно не нравились визиты в областной комитет партии.

ССЫЛКА НА ГЕРЦЕНА

Во время путешествия Гумбольдта по России ему понадобилось измерить температуру воды в Иртыше. Дело было осенью. Ученый дал конвойному казаку градусник и послал к реке. Вместо того, чтобы обмакнуть градусник с берега, служивый на радостях влез в воду по самые ноздри, а когда его спросили, холодная ли вода, ответил:

- Не извольте беспокоиться, ваше-ство. Мы привычные и всегда рады стараться. -

ОПЫТ

Занимаясь востоковедением, мне пришлось перебрать множество авторов от Кей-Кавуса до Адама Меца. В исследованиях без изъяна не обойтись, в особенности при авторской разноголосице, когда один говорит “Было дело”, другой - “Ничего подобного не было”, а третий -

“То ли было, то ли нет, а ежели ради истины, то всё возможно”. Однако встречались положения, где спора не возникало, и авторы были настолько едины, словно сидели на сессии Верховного Совета и голосовали за мир во всем мире.

Тогда-то я наткнулся на утверждение, что славяне - наилучшие рабы во вселенной. Я вскочил, как от пощечины, и автора спасло лишь то обстоятельство, что он умер на тысячу лет раньше, чем я родился. Моя славянская душа тут же потребовала сатисфакции, и я погрузился в поиски опровержения, обуянный жадой мести. Вскоре я нашел, но абсолютно противоположное тому, на что уповал. Второй автор с большим знанием дела изображал рабов-славян в самых лестных для рабовладельца выражениях: выносливы, доверчивы, терпеливы, здоровы, покорны, спокойны, по-собачьи преданы хозяину и могут обходиться без пищи дольше греков, армян, иранцев, римлян и негров. Третий источник сравнивал невольников по рыночным ценам Басры, Дамаска и Александрии и вновь отдавал славянам пальму первенства: самые дорогие рабы. Четвёртый ставил знак равенства в романских языках между терминами “раб” и “славянин” и т.д. После обильных научных подтверждений я огляделся вокруг себя пристальнее и отметил, что город Глупов и его жалкий народ были писаны с натуры, а не по выдумке Салтыкова-Щедрина.

И всё же вопреки логике и смыслу я отрицаю этот опыт и опровергаю его собственной рукой, когда пишу эти слова.

* * *

Всего труднее водить экскурсии с должностными товарищами. Во-первых, аудитория не та, что водят, - они сами кого хочешь поведут, во-вторых, люди неинтересные, какие-то безразличные и невыразительные. Отсутствующим выражением внешности они похожи на слепых или на школьных учителей: слепой человек, обращенный в слух, поневоле сдерживает эмоциональную игру мышц и лицо у него поэтому непроницаемо, как маска, а учителя профессионально далеки от всякой мысли, обучая питомцев чему угодно, кроме мышления. Конечно, кому - что: высокопоставленная клиентура охотнее слушает анекдоты, побасенки, забавные истории и пикантные подробности, недозволенные детям моложе шестнадцати лет. Публика попроще предпочитает что-либо серьёзное и дельное. А я - экскурсовод с провалом в памяти по части

анекдотов и с прещением к побасенкам. И у меня нет никакой возможности намекнуть, что вначале был я, а затем всё остальное.

Вначале была правительственная депеша, а затем серьезный разговор, который я выслушал с подобающей скромностью. Чтобы добраться до сути этого разговора, надо без сожалений выкинуть всю прикладную официальную риторику, как то: “высокое доверие”, “партийное поручение”, “международная обстановка”, “политическая важность”, “мировой скандал” и “чрезвычайные последствия”. Короче, приезжала делегация во главе с заведующим отделом Центрального Комитета нашей партии, а мне надлежало показать им город - вот и всё.

Но почему здесь так любят говорить, хотелось бы знать. Говорят-говорят-говорят и столько всего наговорят, что голова кружится. Выяснить бы, что это у них: болезненное недержание слова или привычка морочить голову всему белому свету? А возможно, и то, и другое?

РАССКАЗ О ЛЮБВИ, О ТОВАРИЩЕСТВЕ И О ПРАКТИКЕ МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ

Колхозы до укрупнения были точь-в-точь плюшкинские усадьбы, а председатели и вовсе обыкновенными по наружности людьми вроде ключников. С утра председатель самолично вешал на правление замок и уезжал до вечера в поле. Из ценностей в конторе ничего не было, хоть шаром покати, но в дневное время ее всегда охранял глухонемой сторож. Должно быть, ветхую избушку берегли от сельских мальчишек, чтобы те, чего доброго, не развалили ее играючи.

Как-то вечером сторож, мыча и жестикулируя, стал толковать воротившемуся председателю, что кто-то приехал и находится теперь у самогонщицы Палашки.

- Кто? - спросил председатель норовистым кивком.

Немой высунул язык, удлинил ладонью и поболтал ею в воздухе. Получилась фраза: прибыл человек, который много говорит.

- Значит, из райкома, - догадался председатель. - Лекция, значит, будет. О любви и товариществе. -

Председатель как в воду глядел. На другой день нас, школьников, загнали в дощатый клуб, где мы играли роль заинтересованного населения, так как из взрослых почти никто не пришел. Тогда эта лекция была в ходу по всей стране. Война не так давно завершилась победой, и народу пришла пора узнать, что любовь и товарищество - не одно и то же, а отличаются, как яровые от озимых. Я эту

лекцию помню: нам внушали идею, будто самая большая любовь, какую человеку дано изведать лишь раз в жизни, это любовь к генералиссимусу. Если разобраться, так что же тут странного? Из нас готовили крепостных, готовых в духе времени бросаться под танки ради любимого кацо.

* * *

После каждой обкомовской экскурсии я влачу домой ноги не солоно хлебавши, опустившись и поглупев. Поэтому меня одолевает досада, и в душе шевелятся неясные забастовочные поползновения.

- Погода сугубо не та, - говорю я шофёру. - Печёт, хоть прикуривай.

- Для хлопка хорошо, - рассудительно отвечает шофёр, не сводя глаз с дороги. - Может, в этом году обязательство выполним. -

Он со мной взаимно неискренен. Его тоже удручает дармовой день, который не принесет ему ни одного левого рубля, а на зарплату разве семью прокормишь? Когда автобус обгоняют несколько чёрных "Волг", с обкомовскими номерами и белыми шторами, он неизвестно для чего говорит: - В аэропорту раньше нашего будут. -

- Наверное, - вторю ему я.

- Будут пищу принимать или сразу начнём? -

- Приедем, у них спроси. Тебе не всё равно? -

- В принципе, да. -

Разные бывают у людей принципы, разные. Чувство раздражения царапает меня изнутри, и я должен признаться, что у меня свои принципы: я ненавижу чёрные лимузины, не терплю нулевые номера, презираю белые шторы, но сызмальства люблю заведующих.

РАССКАЗ О ЗАВЕДУЮЩЕМ

По-моему, лучшим заведующим в нашем довоенном селе и вообще на планете был заведующий избой-читальней по прозвищу Федя-избач. Рассказывать о нем я буду с небольшим отступлением.

Село, где я родился, испокон бедное и захудалое из никудышных. Его, верно, и найти было бы невмочь, не поставь там миллионщик Харитоненко сахарный завод. Заводская труба, насколько помнится, всегда вулканически курилась и была первейшим обстоятельством места в округе вёрст на полста. Неподалеку находились также бывшие маентности* князей Юсуповых, которые наведы-

* *Маентность, маентность - недвижимое имение, вотчина. - Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. II. Москва - 1956.*

вались сюда примерно раз в столетие. Однажды в эти края на досуге забрёл охотник Тургенев, который, спасибо ему, описал природу и людей здешних мест в своих “Записках”.

Тамошнее население выделялось замечательной стройностью и осанкой: можно было год ездить по хуторам и не встретить ни одного толстяка. Редкий по красоте национальный экстерьер и стати зависели однако не столько от природы и климата, сколько от рациона, описанного начальником Санкт-Петербургской таможни Радищевым (ему тоже спасибо), что не мешало людям жить-поживать, а наблюдателю посвистывать от удивления, попав на свадьбу, где всё угощение состоит из трёх ведер самогона и ведра киселя, или на длинный-предлинный ужин, где стол украшало единственное блюдо - подсолнечные семечки. Словом, что такое мякина и с чем ее едят, местные жители знали и до войны, и после победы. Силён жить русский человек!

Покидая Россию, Наполеон не мог выбрать дороги хуже этой, если бы даже захотел. Отощавшие и доведенные до людоедства французы проклинали на чем свет стоит полководческий гений императора и обогащали областной диалект словечками “пранцы”, “шваль”, “супьяток”, “ракло” и др., бытующими поныне. При встречах с населением, для которого полуголод был перманентным состоянием, галлы признавали себя менее выносливыми и сдавались в плен по десятку на одного.

В таком селе на скудной почве Среднерусской возвышенности и выкохался Федя-избач - гармонист, грамотей и красавец. Если не класть охулки на его врождённую хромоту, то в остальном он состоял из сплошных достоинств. Ходил он в настоящих хромовых сапогах. Точнее сказать, в другом виде его никто не видел, и мужики поговаривали в шутку, что Федя любит девок не разуваясь. Но сапоги - всего лишь четверть его популярности. Он, кроме того, всегда был при часах, и каждый встречный норовил узнать у него точное время, а мальчишкам Федя часто давал слушать их “анкерный ход”. Трёхрядная гармонь делала его блуждающим сердцеedom и всеобщим любимцем. Девки гуртом на него заглядывались и на каждом шагу влюблялись, как теперь в космонавтов не влюбляются. Соперников у него не было, да и не могло быть даже в облике романтических трактористов.

Федя заведовал избой-читальней, сам составлял стенную газету от начала до конца и сам же ее писал красивыми печатными буквами, скрывая единоличное авторст-

во псевдонимами: долото, обух, фуганок, зубило. Статьи доставляли ему писательскую известность, их выучивали на память кусками. “Плохо еще работают колхозники нашего колхоза на колхозных полях”. По нынешним временам это была смелость невероятная. Сейчас так писать нельзя, цензор не позволит. А Федя писал.

Было у него ружьё “система бердан центрального боя”. Заряжал он его холостыми патронами, а стреляло оно само собой. Вот в крещенские праздники Федя, байронически прихрамывая, идет румяный и весёлый по улице. Часы на нем тикают, снег скрипит, сапоги скрипят, ружейный ремень через плечо тоже вроде поскрипывает. Мальчишки чутко, как зайцы, замирают, едва он сворачивает к ним. Щедро подарив окуроч самому достойному, он ему же и говорит:

- Наташку сейчас лапачь буду. А ты подойди и за курок дёрни. Понял? -

И направляется к группе девок. Там сразу гвалт, смех, визг. Уже он схватил Наташку и тискает. Тут как раз федино ружьё оглушительно салютует. Наташка валится в сугроб, остальные разбегаются, а Федя кричит им вслед:

- Лови! Держи! Хватай! Ага-га! Дорогая, дай пошарю! Ого-го! Помни день субботний! -

Не знаю, хорошо это или плохо. Просто мне ту землю довелось босиком топтать, хлеб тот жевать невкусный и к людям приглядываться. Вот оно и запомнилось.

Часы Федины скоро испортились. При полном параде он сиганул в пруд, где один из нашей ватаги пускал со дна пузыри. Когда спасённый выблевался водой, Федя посмотрел на свою “луковицу” и сказал:

- Часы сгубил из-за тебя, зараза. Анкерный ход. -

И размашисто съездил утопленнику по шее.

* * *

Ковровую дорожку расстелили загодя до прибытия самолёта. На скучном сером бетоне лётного поля она празднично алела, а пересекая клумбу, естественно сочелась с розами и тюльпанами. Трап покрыли туркменским ковром. (Туркменские ковры так хороши, что лучше их видеть, чем о них читать.) Самолёт специального рейса сел на полосу, как чайка на воду, и, прогудев мимо вокзала, остановился, где его ждали. Областное и городское руководство выстроилось в шеренгу по одному с соблюдением субординации от правофлангового. Крепко чувствовалась атмосфера дружбы и сердечности.

Это был заведующий всем заведующим. Вокруг него

плясали два союзных министра, четверо республиканских и еще двое из местного ЦК. Десант высадился и пошел, следя обувью по красному ворсу дорожки. Ветра не было и в помине, но их сильно покачивало, то и дело снося на асфальт, и они напоминали стаю шкодливых котов, обьевших сметаной. Шествие открывал заведующий. Он был великолепен и выделялся с первого взгляда. Его свитская челядь выглядела неуклюже и надвигалась тучей, тогда как он - маленький, юркий, изящный - приближался неожиданным, но самостоятельным зигзагом, ничуть не задаваясь целью пройти по прямой.

Многие удивляются, отчего это наши театры оскудели зрителем и держатся на искусственном дыхании дотаций и списаний. Да им как не оскудеть, когда они норовят представлять житьё-бытьё так, что никто видеть не хочет. С тех пор, как правду уволили со сцены по сокращению штатов, в театре только и осталось, что запах кулис да несколько потраченных молью любителей. Актёр стал противоположен зрителю, театр противопоставился жизни. А смотреть то, чего нет в действительности, не каждый горазд. Кроме того, для чего людям ходить за семь вёрст киселя хлебать, когда под боком разыгрываются пассажи, какие ни Станиславскому, ни Брехту не снились.

Министры политично приотстали, а зря! Заведующий и на общем фоне выделялся как индивидуальность, а отдельно он сразу превратился в личность. Но как рассказать об этом? Слаба мировая литература, косен язык человеческий, бедна фантазия наша, чтобы изображать подобные явления. Потому-то и сравнений нет, а есть только условные аналогии. Если бы, скажем, граф Альмавива потехи ради напоил Керубино коньяком и пустил гулять по аллеям... или пойдя Иван Александрович Хлестаков после знаменитого лабардана не в спальню, а на люди, сходство, думается, было бы полное. Жаль, что прежние драматурги не знали, как распорядиться героем, когда он лыка не вяжет, и отправляли его либо спать, либо с глаз долой.

Опереточно промахнувшись рукопожатием с секретарем обкома, заведующий с трудом удержался на ногах. Сметнув, что в таких случаях вернее всего выручают братские объятия, он круто повернулся и уже без риска расшибиться рухнул в развёрстые руки, как в сеновал. Тут пошли объятия и поцелуи, называемые исторически. Невдомёк лишь было, кого они собой представляют и где их место в общественной структуре социализма. С

рабочими и крестьянами, равно как и с интеллигентской прослойкой, их роднили чисто внешние признаки, да ведь этого мало. Рабовладелец, небось, тоже не о двух головах. Вероятно, это и была та новая общность людей, о которой пишут в газетах. Допускаю, что я субъективен в суждениях. Это у меня опять-таки с детства.

РАССКАЗ О ПЕТРЕ ИВАНОВИЧЕ ПРОПАЩЕМ

- Какая беда, - огорчилась мать. - Подумать! Пётр Иванович - такой умный, добрый, интелли... -

- Еще чего! - перебил отец. - Что ты несёшь? Интеллигент! Какой он интеллигент? Ведь он пьёт. -

Мать растерялась: - Как пьёт? -

- Стаканом, вот как, - ответил отец спокойнее, а закончил и вовсе грустно: - Умен бы, - ладно. Много нас, умников. А то ведь - талантлив. -

- Господи, - вздохнула мать. - Пропал человек! -

Петра Ивановича я ни разу не видел, что такое интеллигент, тоже не понимал - мне было лет шесть. Но отцову формулу "интеллигент не пьёт" я усвоил сразу. А проверить теорию на практике мне удалось лишь через четырнадцать лет. Во хмелю шумных студенческих пооек делалось весело, свободно и легко, но я чувствовал, что способность соображать при этом куда-то пропадает. Это мне не нравилось. Наверное, я был интеллигент, потому что предпочитал трезвую голову весёлым встряскам и похмельным угрызениям. Еще позднее я научился не только наслаждаться рассудком, но и приводить его в соотношение с чувством и, наконец, убедился, что способность мыслить - самое лучшее, чем я располагаю от природы в виде здравомыслия и свободомыслия.

Я болезненно переносу, когда талантливый человек выпивает. Мне это кажется тушением пожара бензином. Бывает так, что в трюме корабля возгорается товарная масса и тлеет снизу. Водой огня не достать, хоть судно топи. Тогда на массу выливают бензин. Огнеопасная жидкость быстро доходит до очага и, не воспламеняясь в безвоздушном чреве, гасит его. Но для самоубийства хватит одной спички.

Доступно ли вам представить Чехова, Моцарта или Ньютона в состоянии хронического алкоголизма? "Воля ваша, - скажете вы, - а только представить такое никак нельзя". Что же, тогда представьте Фадеева, Смуула, Шолохова. Вы, небось, думаете, что я из имен просто так тождества составляю? Нет, это я протестую. И заодно хочу сказать, что пьяные люди мне не особенно нравятся.

Вернёмся к нашим баранам. Когда все обнялись, расцеловались и перемолвились словами радушия и гостеприимства, меня издали поманили пальцем - подойди, мол, - и отрекомендовали заведующему. Я им еще раньше залюбовался, а теперь он сам на меня посмотрел просветлённым взглядом. Вы, по-видимому, не раз встречали взгляд человека, который крепко подшофе, и понимаете, какой это взгляд: любопытный, доверчивый, слегка рассеянный и застенчивый, как у девчонки, покамест она не сложит себе цену. Знакомство было односторонним, то есть назвался только я. Ничего удивительного: так знакомились и в Древнем Риме, и в России четырнадцатого столетия, и в наши дни. Заведующий тотчас же схватил меня под руку и не отпускал, пока мы в автобус не сели. Так что вначале шли мы с заведующим, а за нами министры. Когда все поднялись в автобус и уселись, заведующий сказал водителю "Давай", и тот моментально понял, что от него требуется. Экскурсия началась.

Стал рассказывать я без особого подъема, но и не без надежды отыскать связь и обнаружить интересы. Чем они интересовались, узнать не удалось, но связь обнаружилась мгновенно.

- Чего-чего? - спросил заведующий, и я поставил пластинку сначала.

- Да это же было совсем не так, - сказал он.

- Нет, все было как раз так. -

- Поговори еще. -

- А что говорить? -

- Я сказал, что не так. -

- Нет, так. -

- Не так. -

- Так. -

- Ладно, послушаем, что ты дальше скажешь. -

Привычка спорить осталась у меня от работы с иностранцами. Американцам, например, очень нравится, когда с ними конфликтуют, причем, чем независимее и искреннее с ними человек держится, тем с большим уважением они к нему относятся. Но то были американцы, англичане, австралийцы, французы, итальянцы и прочая закордонная фронда, а это же свои, нашенькие.

Не надо было мне спорить. Вскоре заведующий опять перебил меня обращением к министрам:

- Братцы, что он городит? Кого они нам дали? -

Министры как один сокрушенно покачали головой, что вполне можно было понять: "Да, прошиблись това-

риши из обкома. Не того дали. Могли бы и получше найти. Безответственно подошли к поручению, ай-ай-ай, как нехорошо”. Что касается меня, то я с удовольствием прыгнул бы на ходу из автобуса, если бы не боялся переломать ноги. Экскурсия, хоть убей, не выходила, и я упрямо замолчал, объявив тем самым бунт на коленях.

Заведующий тронул меня за шиворот и потребовал, как дитя сказку у няньки.

- Давай нам про Тимура. -

- Про Тимура вам в Самарканде рассказывали. -

- Ну и что? Еще давай. Про Тимура желаем. -

Милое купецкое Замоскворечье! Бессмертный незабвенный Тит Титыч, здравствуйте, ваше степенство. Сколько лет, сколько зим. Кто бы мог подумать, что вы вот так прямо со сцены да в жизнь с лёгкой руки Островского препожалуете? А как ваш геморрой? Ну и слава богу, рад за вас, благодетель, больше, чем за кого другого. Время-времечко! Вот вы и снова норовите одни в пяти каретах зараз кататься. Прошумели революции, просвистели годы, как сорока на колу повернулась, а вы, сударь мой Тит Титыч, будто феникс из пепла, неистребимы-с!

Я не выдержал и рассмеялся.

- А ты не смейся. К Тимуру сам Неру приезжал. -

- Не к нему он приезжал. -

- Много ты знаешь. -

Я сказал, что знаю, сколько надо.

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

Роста он был невысокого, сложением напоминал сухого и жилистого йога, смуглошафрановым лицом походил на аскета непреклонной внутренней воли и, вопреки обыкновению словоохотливых индусов, очень мало говорил. У него был умный внимательный взгляд, готовый вспыхивать и тускнеть, смотря по тому, с кем и о чем он беседовал. Может быть, тут сказывались личные предпочтения, в силу которых он тяготел к умным людям. Из его друзей довольно назвать физика Эйнштейна и художника Рериха, чтобы узнать Джавахарлала Неру.

Во время приезда к нам индийский премьер захотел побывать в Самарканде, в Бухаре и в Хиве. На последнем пункте он в особенности настаивал под тем предлогом, что в хивинском медресе Шергази-хана учился его прадед. Но упомянутый памятник до последних лет находился в столь жалком состоянии, что его в конце концов отговорили от затеи, дав согласие на Самарканд с Бухарой.

Дорога туда вела скверная, и асфальтовую ленту

пришлось делать наново, так что приезд Неру пришелся как нельзя более кстати, и самаркандские водители автотранспорта лучше многих оценили значение официальных визитов.

В мавзолее Гур-Эмир индусу показали надгробную плиту из чёрного нефрита, расколотую пополам, и гид очень бойко повел речь о Тимуре и о его великих завоеваниях. Неру с усмешкой взглянул на гида и вдруг оборотился к могиле Тимура тем местом, какое Фортуна показывает неудачникам. Дело в том, что Железный Хромец в порядке взаимоотношений с сопредельной Индией понастроил там когда-то много пирамид из человеческих голов. Прошло уже более полутысячи лет, но Неру был злопамятен. Его интересовал Улугбек; он постоял у могилы великого звездочёта и, невнимательно слушая рассказ, погладил надгробный камень рукой.

* * *

- Я с Неру был, - сказал заведующий обиженно. - Кому мне верить, тебе или ему? -

- Мне. -

- А ты кто такой? -

Экскурсия пошла веселей, министры навострили уши. Я был хмур, зол и убежден в афористической мудрости иносказания о том, что великие эпохи порождают поэтов и героев, а мелкие - пыль и много начальства. Не сладко было, когда пан занимал панскую должность, но вот паном сделался хам и должностное несоответствие стало обходиться стократ дороже. По своему настроению я бы даже молитву сотворил: Господи-Боже! Как долго ты еще будешь казнить людей твоих столь глупыми руководителями? Смени, творец, гнев на милость и дай нам умных, а олухов, если уж без них никак нельзя, оставь про запас.

Но Бухара такой славный город, где любое настроение можно преодолеть. У ансамбля Ляби-Хауз министров удалось еще больше растормошить. Заведующий хлопнул меня по плечу и похвалил:

- Давно бы так. Ты говори прямо: "Ребята, дело было вот так, мол, и так". Ты давай с нами по-простецки, мы это уважаем.

Пора оговориться, что "ребята" были на седьмом десятке лет. Жизненный опыт украсил их головы серебром, а лацканы пиджаков депутатскими значками. Как слуги народа они вели себя очень прилично. Любой человек, будь он на моем месте, принял бы их одобрительные улыбки за коллективное волеизъявление. "Да, да, - гово-

рили они, - сделайте одолжение, не церемоньтесь, пожалуйста. Нам это очень приятно, когда по-простецки". Передо мной в миниатюре стояло наше двухпалатное собрание народных представителей с его молчаливым безразличием, сомнительным единодушием и некоторой тенденцией к демократии.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

После войны я пас колхозную скотину. В стаде у меня была, считай, сотня с лишним кастрированных бычков-двухлеток, которых готовили на убой по госпоставкам и в ярмо, так как сельский транспорт тогда еще оставался гужевым. Верхом на заезженной кобыле с ёкающей селезёнкой я пригонял к полудню весь гурт на водопой и сам обедал в бригадном стане. В те годы у начальства наблюдалась непонятная склонность запросто говорить с народом, любуясь природой и покуривая. Поэтому неофициальные разговоры отменили, уразумев, что ничего из них, кроме смеха, не выходит, а прежде они, так сказать, имели место.

В обеденный перерыв к стану подкатил на дрожках председатель, а с ним товарищ из центра. Перекусить, значит, умаявшись по полям ездить, и с людьми побеседовать. Пока председатель слабил супонь, уполномоченный направился к мужикам, угостил их папиросами и начал - то да сё, жизнь, погода, виды на урожай.

- Как вам сказать, - ответил мужик с земляной мордой. - Там, где сеяли, еще есть. А где не сеяли - ничего нет. -

- Так-таки ничего? - усомнился приезжий.

- Один бурьян, - развела морда руками.

Уполномоченный задумался, мужики засмеялись. Обедать товарищ не стал и вскоре отбыл, хотя должен был перед бригадой с речью выступить.

Меня, неровен час, упрекнул в пренебрежении к плебсу. Я же оправдываюсь тем, что эта морда мне нравится, я с ней в кровном и духовном родстве состою, так что гордиться мне, как видите, нечем.

* * *

Вернёмся к нашим баранам. Мы вошли в старинное медресе Кукельдаш и поднялись наверх. Мои слушатели имели о медресе модные современные представления, как об очагах средневекового аскетизма, схоластизма и мракобесия. Но, во-первых, это неправда, а во-вторых, я считаю, что ругать Чингиз-хана неблагородно и поздно.

Медресе - высшие учебные заведения мусульманского Востока. Их учебная программа объединялась понятием "файлусуфия". Греческий термин со всей его пифагорейской ёмкостью попал когда-то в иноязычную среду, преломившись ложкой в стакане воды, стал иным на слух, но ничуть не хуже. Философия в медресе подразделялась на теоретический и практический курсы. К теории относились предметы: этика, риторика, политика, грамматика и литература. К практике принадлежали: коран, шариат (догматика), фикх (юриспруденция), хадис (жизнь, деятельность и изречения пророка Мухаммеда), философские трактаты учёных суфиев, астрономия и астрология, алхимия и химия, медицина и естественные науки, строительство и математика, состоявшая из пяти отдельных и взаимосвязанных предметов - арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии, музыки.

Музыка относилась к математическим наукам. Из жеста, ритма и тембра извлекали квадратные и кубические корни; по заданным величинам наигрыша составляли сложные уравнения и алгебраическим путем находили конец музыкальной фразы в обертоне и промежуточных вариантах, которые, плюс-минус, либо могли здесь прозвучать, либо исключались. Ввиду научного подхода к предмету восточная музыкальная гамма глубже западной. Нашей гамме характерны тон и полутон в виде бемолей и диезов, и хотя на этом мелководье прекрасно плавали и Чайковский, и Григ с Шопеном, восточная гамма содержит громадное количество четвертных тонов, по которым самый неискушенный слух узнаёт Восток и никогда не ошибается. "Поверить алгеброй гармонию", - блестящая догадка Пушкина блестяще им выражена в "Моцарте и Сальери". Именно так. Этим, в частности, и занимались студенты стародавних медресе на уроках математики.

Математика! В эту сухую, скупую, точную цифровую науку о ёмкостях, площадях и количествах ученые Востока вносили элемент фантазии, эмоциональную окраску, глубокое чувство. И вот предмет, не утратив ни цифры, ни формулы, ни закона, обретал вкус, цвет, запах, мудрый смысл и обаяние самой жизни. К алгебраической задаче целиком привлекался арсенал литературных изобразительных средств, сюжет, композиция и, если угодно, рифма.

"Восемь девярых корня кубического роя пчёл улетело в куст жасмина, привлечённое к нему утренним ароматом свежести, а вслед за ними и остальная часть квадратного корня этого же роя... А один самец застрял в бутоне цвет-

ка близ улья и шепчется с самкой. И говорит он ей: “Скажи, милая женщина, сколько всего пчёл?”

Здесь, на Востоке, жили и Аль-Джебр, именем которого назван предмет, изучаемый во всем свете, и великий Аль-Хорезми, составивший первый учебник алгебры на основе своих уравнений, которые теперь проходят в школах безмянно. Здесь же и Омар Хайям в промежутке между рубаятами писал математические исследования, и Аль-Фергани взлетал к солнцу на крыльях пропорций и процентов, и порфиноносный Улугбек цифру за цифрой вписывал в графы своих небесных зиджей.

Прежде, чем Галилей рассчитал траекторию брошенного круглого тела, что привело к флюксиям Ньютона, что надоумило Декарта переженить алгебру на геометрии, что подтолкнуло Лейбница к дифференциальным исчислениям, что подвигнуло Гаусса на окончательное оформление предмета, нареченного в трехмерности земного пространства высшей математикой, – прежде, чем возвели сам памятник человеческому разуму, на Востоке для него приготовили постамент, и очень прочно приготовили...

Какой бисер я метал пригоршнями! Какой жемчуг словес низал на нить приятного слога! Какие алмазные копи и золотые россыпи показывал! Какие венки сплетал и складывал у подножия моих слушателей! Да не взыщется с меня за эту глупость, но мне хотелось, чтобы они хоть чуть-чуть поумнели, хоть немного поняли и запомнили. Всё напрасно: я держал светильник перед слепыми.

Заведующий улыбнулся и, сыграв беззвучное попури на пуговицах собственной мотни, вошел в студенческую келью. Я последовал за ним и увидел, как он справляет малую надобность. Кто-либо другой вознёсся бы, вероятно, до неба и выше, углядев детородный орган заведующего отделом Центрального Комитета. Как не вознестись, когда сама судьба знак подает и на отечественную историю указывает.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАМЁКИ

Придворный вельможа и один из последних екатеринских фаворитов граф Салтыков благополучно дожид до Пушкина, не переставая хвалиться, что видел голую задницу матушки-императрицы. Скончался он в преклонном возрасте и в счастливой уверенности, что цель жизни была им достигнута смолоду.

Кутайсов, возведенный Павлом Первым в графское достоинство, привык получать плевки в физиономию непосредственно из августейших уст. Граф чрезвычайно

гордился таким обиходом и, как говорят, не умывался неделями.

* * *

Ничтожный огарок заведующего произвел на меня самое неожиданное впечатление: я потерял дар речи. На медресе при входе мраморная плитка оповещала, что памятник находится под сугубой охраной государства и пусть, дескать, пеняет на себя тот, кто умышленно или ненароком и т.д. Но ведь заведующий - не кто-нибудь, а государственный человек и сам знает, что творит. Меня пошатывало будто спьяну; я вышел из кельи и наощупь пошел к выходу. Кто-то из протрезвившихся министров догнал меня и окликнул.

- Подождите, - сказал он. - Что вы делаете? Ведь вы всех нас... подведёте. Я понимаю, вы обижены и реагируете... Но поймите... Ну что с ним будешь делать? - он беспомощно втянул голову в плечи и безнадежно закончил: - Большой человек! -

И поехали мы дальше. А дальше нам поперёк дороги встал минарет Калян - несравнимый, непревзойденный и в превосходной степени единственный. Я вовсе не стал о нем рассказывать и не жалею. Конечно, умолчал я не по злomu умыслу, а оттого, что мне не дали говорить вследствие небольшой случайности.

Культура Средней Азии при ее самостоятельной исламской оригинальности подвергалась влиянию со всех четырёх сторон. Кого тут только не было: Греция, Рим, Византия, Индия, Китай - вот что я сказал. Про Китай я упомянул напрасно, оплошал.

Работать с большими людьми - хуже нет, и всякие резоны надо сразу же по боку. Большие люди делают политику, изменяют климат, отменяют законы природы и упраздняют науки. Важная штука политика, всё она умеет, всё знает. Слушаешь ее слушаешь и страх берёт: до чего за рубежом велика преступность, как здорово они отстают от нас по умственному развитию и на что надеются, чудачки, в процессе энергетического кризиса и сплошного загнивания. Хорошо, что мы от них по другую сторону занавеса. Об этом надлежит и во сне помнить, а я сказал - Китай...

Синолог из меня, говоря откровенно, никакой. Я признаю китайскую культуру, читал Бичурина и могу составить о стране некоторое понятие, через пень-колоду знаком с китайской литературой и до глубины души влюблен в диалоги Кон-Фу-Цзы. Всё-таки сведений о

Китае у меня достаточно, чтобы кивнуть академику Бартольд у в знак согласия: да, в самом деле, можно изобре-ти порох и не создать сильной армии, изобре-ти компас и не создать мореплавания, изобре-ти книгопечатание и не создать общественного мнения. А нынешний экстаз китайцев вокруг личности кормчего рабоблика* так же постыден, как и пережитый нами период сотворения ку-миров.

Заведующий смачно плюнул мне под ноги, помянув мою покойную мать, и разразился выступлением. Его пламенную ораторию трудно передать слово в слово, потому что мою мать он часто упоминал, создавая тем самым множество смысловых противоречий. С одной стороны, он, как будто, причислял себя к моим родственникам первой степени, а с другой - называл меня недоумком; то он заявлял о близком знакомстве с моей матерью, то обещал не допускать меня к экскурсиям на расстояние пушечного выстрела; сперва он энергично выражал претензии на отцовство, а затем угрожал наказанием за мои прокитайские высказывания.

Что я чувствовал при этом? А ничего. Я стоял холоп-холопом, которого вот-вот сведут на конюшню и всыпят багогов. Язык мой прилип к гортани, в глазах помутилось, рассудок выключился почти полностью и только маленький участок мозга работал вовсю. Я слушал такую грязную ругань, какой погнушался бы сапожник, и думал: Вот ведь как бывает! Человек - глядеть не на что, а поди ж ты, голос какой! Сам из себя невзрачный, сублинный, одно слово - шибздик, а как дикция поставлена. Соплэй бы его перешибить в два счёта, а как речью владеет! Чудеса в решете, да и только.

АПОЛОГИЯ МОЕЙ МАТЕРИ

Избегая многого, скажу только, что она была простая, добрая и целомудренная женщина. Кроме отца, она никого не знала и считала, что так и полагается. В ней уживались всякие странности и крайности, которые до сих пор выше моего понимания: она могла носить мешки с зерном наравне с мужчинами и она же падала в обморок при виде меня верхом на лошади; в разговоре с людьми она чаще смотрела долу, чем в глаза, и в то же время жила в ней непобедимая гордость пополам с хвастовством.

Нас у родителей было двое: я и брат. Когда мы стали взрослыми и приезжали в отпуск, мать придумывала какую-либо надобность, чтобы пройтись по главной ста-

* От фр. *gatoilli* - впавший в старческое слабоумие человек.

ничной улице и чтобы мы с братом ее сопровождали. Она брала нас под руки, и лицо у нее делалось величественным, взгляд прямым, губы строго поджатыми. При встречах со знакомыми она здоровалась молча, одним наклоном головы, не убыстряя и не замедляя шага.

- Мама, - спросил я случаем, - вы нами на людях хвастаете? -

- Да, - призналась она и тут же спросила: - А что, нельзя? -

Главной ее чертой была доброта. Мы спрашивали, отчего она терпеливо сносит наглые претензии соседки или вздорную брань пастуха. Она объясняла, что соседка - одинокая женщина и в нужде, что ей при недуге и воды никто не подаст выпить, а ежели ругать ее, так ей и пожаловаться некому. А о пастухе сказала:

- Он же с войны безрукий, ну и сердится. А так он - ничего, и корова у него сытая. Оторвать руку - кто злой не будет? -

Я видел, как она ходила с огорода в дом, чтобы подать нищему деду пятак, и меня это возмутило.

- Мама, для чего вы ему дали? Ведь это тунеядец, паразит нашего общества. Он же вашу копейку пропьёт. -

Мать спросила: - Ты нарочно или дурак? - Оглядев меня, словно впервые, сказала успокоенно: - Дурак. -

Будь она жива, небось и о заведующем сказала бы: "Что с него взять? Наелся водки, как свинья, вот и матерится. Залил глаза - и море по колено. А проспится - срам по земле будет ходить".

Мама, этот не проспится. Он слишком большой человек. Перед ним министры на карачках ползают. Да вас все равно не убедишь. Вам весь свет жалко.

Моя мать всех жалела. Кто пожалеет мою мать?

* * *

И эта высокопартийная шмакодявка, брызгая слюной, дыша запахами перегоревшего коньяка и гнилью поганого рта, поносила меня на чем свет стоит, не щадя ни Божьей матери, ни моей. Ответственный руководитель коммунистического строительства приглашал меня в светлое будущее, не оставляя сомнений в том, как со мной там будут обращаться.

Когда из заведующего вместе со словами вытекал воздух, он покачивался. Между тем волноваться на жару можно было лишь с ущербом для здоровья. Вероятно, здоровье заведующего было еще раньше подорвано самодежавным трудом и крепкими напитками, потому что

министры из боязни, что у него от натужного крика пупок развяжется, стали мягко его уговаривать не вдовить партию, не сиротить народ и побережь себя для парламента. Заведующий оказался человеком горячим, но отходчивым: он дал себя уговорить и махнул на меня рукой.

ПЛАГИАТ И РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОНОГО

Именной указ Великого Государя

и Царя Алексея Михайловича

от 7 июня 1669 года

Великий Государь указал Стольника Князя Григорья княж Венедиктова сына Оболенского послать в тюрьму за то, что у него июня в 6 числе, в Воскресенье, на дворе его люди и крестьяне работали чёрную работу, да он же, Князь Григорий, говорил скверные слова.

Триста лет минуло - год в год. Как велик прогресс за истекший период, любопытно. Возьму-ка я газету, пока наши бараны в красивом автобусе едут. Газету, о которой наш редактор говорил литсотрудникам на планёрках.

- Интересная газета или нет - вас не касается. Кто вам внушил глупость, будто мы ориентируемся на читателя? Газета - орган, зарубите на носу. И нечего мозги сушить себе и другим. Хотите освежиться? - возьмите подшивку лет за десяток, отыщите тему и переписывайте. Там всё правильно. -

Полагаю, что редактор неправ, и наша печать представляет большой интерес и для читки, и для исследований. Как бы ни были соблазнительны враньё и обман, они всегда являются антиподами правды; стоит лишь копнуть в глубинку, и правда себя окажет. Вот, к примеру, передовица - "Партия зовет к трудовым подвигам". Если вникнуть в заголовок, так всю скуку как рукой снимет.

О том, что труд - первейшее условие существования, знают даже умственно неполноценные люди, - зачем же к нему призывать? Но когда труд - подвиг, призывать к нему совершенно необходимо. А подвигом труд может быть в единственном случае, - если он низко ценится и плохо оплачивается. Вот подвижников и отмечают грамотами, благодарностями, выпелами, медалями и орденами. Государству платить трудящимся выгоднее по шкале наград за подвиги, чем по шкале оплаты за труд. Все мы давно и непрерывно совершаем подвиги. Газетам не привывать.

Вот еще статья: "Социалистическому соревнованию

высокий накал”. Надо проникнуться полнейшим презрением сверху и считать низы безмозглыми цыплятами, которые станут соперничать за первенство превращаться в цыплят-табака. Если бы пернатые патриоты малость раскинули мозгами, вряд ли они были бы в восторге от подобных поварских экспериментов.

“Красная суббота. Выйдет весь завод”. Подборка посвящена коммунистическому субботнику. Обычно с традиционным призывом ко всей стране потрудиться денёк за здорово живешь выступают рабочие известной железнодорожной станции. Но это лишь кажется. Авторство беспардонного невероятного призыва принадлежит тем, кому это выгодно, а для тех, кто трудится, данный призыв есть не что иное, как рекомендация отдать жену дяде во временное пользование.

“Герой перевыполняет план”. “За себя и за того парня”. “Как живой с живыми”. Речь идет о Герое Советского Союза, павшем в последней войне. С одобрения и по настоянию официальных корректоров текущей жизни павшего воина зачислили в заводскую бригаду, где он трудится тридцать пять лет после кончины. Ему бы на пенсию пора - ан нет, уж очень полезный для страны работник.

Как вам нравятся мертвецы, перевыполняющие план? Мёртвые сраму не имут. А кто имеет? Павел Иванович Чичиков? Жалкий авантюрист, сделавший из мыльного пузыря каких-то полтора ста тысяч рублей. Сейчас его методом гласно пользуется правительство, которому мёртвые души приносят миллионные доходы. Зоя Космодемьянская - не Елизавета Воробей и Евгений Никонов - не каретник Михеев; тут не исключается положение, что один и тот же герой прописан в ста бригадах ста городов и весей Союза. Правда, героев не хватает, и теперь принялись за “скромных, но мужественных” покойников. Полным ходом идет омерзительнейший вид эксплуатации живых мёртвыми, сопровождаемый барабанным боем, звуками литавр и бряцанием кимвал - зрелище, достойное стервятников.

Еще статья: “Вчера рекорд, сегодня норма”. Чувствуется недомолвка; газета благоразумно помалкивает насчет завтрашнего дня. А завтра будет всё то же: либо расценки понизят, либо мёртвую душу дадут. Словом, жизнь течет в том плане, в каком ее видел поэт Ишка Мятлев.

On nous vole, on nous vole
Беспрестанно. Comme c'est drôle!

Нечего напраслину возводить, интересны у нас газеты, и государство наше богатое - это правда. Что касается прогресса, то со времен царя Алексея Михайловича он выражается тремя столетиями разницы. Если это количество считать от семнадцатого века, получится как раз точный результат. Не туда сосчитали, уважаемый. Не двадцатый, а четырнадцатый век. Именно на уровне этого века покоится общественное сознание народа, великого своими лирическими страданиями. Разве не видите, какая свинья в ермолке тон экскурсии задает? Стоп, приехали.

* * *

У мавзолея Исмаила Самани, что в парке, заведующий совсем развеселился. Министры тоже радовались, как семь нянек, на дитё глядя. Только я успел сказать, что мавзолей возвели в 870 году и что ему через год исполнится 1100 лет, как заведующий перебил меня и продолжил экскурсию сам. Он поведал, как он и еще кто-то когда-то что-то где-то разрушили, очень старинное и ценное. Заложили динамит... вдрызг!.. камня на камне... Министры хохотали чуть не до упаду и вообще было очень весело.

Это были вандáлы. В них не было ни культуры, ни воспитания, ни образованности. Принципами они не располагали за неимением таковых. О достоинстве не имели ни малейшего представления, потому что его у них не было. Они утратили нормы элементарного общения; там, где требовался аргумент, они издавали окрик и разражались божбой - куда им, скудоумным, аргументировать! Их окружали послушные рабы, и сами они были рабами тех, кто повыше.

Это они ликвидировали безграмотность, а заодно с ней и литературу. Они же объявили демократические свободы и узаконили единомыслие. Превратили науку в политическое средство, а высшие учебные заведения в сословные институты. Отвели общественную мысль в русло технического прогресса. Откровенно презирали народ и иезуитски превозносили его выше ходячего облака, потворствуя самым пагубным инстинктам. И всячески добивались, чтобы один мужик трёх генералов кормил.

Когда мы селись в автобус, чтобы ехать дальше, заведующий толкнул меня в грудь локтем и оскалится в окно. Они уехали, по-видимому, принимать пищу, а я, оставшись один, стал тихонько ругаться. Не помогли монологи Гамлета и Чацкого, которые я выразительно читал,

возвращаясь в город пешком. Не выручил и Маяковский своим стихом о помпадуре из ЦК, а больше ничего литературного в голову не приходило.

Каков человек большой, а? Сколько людей его обслуживает? Я и шофёр автобуса не в счёт, так как мы за услуги ни копейки не получим. А других сколько! Секретарши, охранники, брадобреи, повара, содержанки, водители, лётчики, порученцы, милиционеры - и все на зарплате. Седой персональный врач профессорского ранга каждое утро приходит с персональным градусником измерять персональную температуру и персональное кровяное давление. Хмурится, головой качает озабоченно: "Курорт, батенька, курорт. И весьма срочно. Или Куба, дорогой мой, или Цхалтубо, или наука не ручается за дальнейшее".

Теперь заведующий с министрами уже, наверное, подъезжают к правительственной даче, которая в телефонных книгах загримирована под дачу "Интурист". А там уж и стол накрыт кувертов, этак, на дватцать, коньяки многолетние, икра в двух цветах ложкой на выбор, блюда а ля что душе угодно. Шафирканский виноград, ферганские гранаты, хорезмские дыни, ханский шашлык...

РАССКАЗ О ХАНСКОМ ШАШЛЫКЕ

Знаете ли вы, что такое ханский шашлык? Не говорите "да", потому что вы не знаете. Тот шашлык, что вам довелось употреблять, будь он "по-карски" или "по-грузински" - это всё второго сорта. Готовят его на металлических шампурах и вкус у него довольно прозаический. Ханский шашлык нанизывают на ароматные урючные палочки, и куски мяса проходятся благороднейшим соком и запахом этого дерева.

О палочках надо позаботиться прежде всего, так как будучи о двух концах, они не все годятся для этого блюда. Ранней весной, когда природа оживает и сок бросается из корней по стволу в крону, распирая почки, наступает самый подходящий для заготовки момент. Дня за три-четыре, прежде чем урюк взорвётся нежным миндальным цветом и лёгкое пышное облако окутает дерево, пойдите в сад и срежьте тонких изящных веточек столько, сколько вам надо.

Дома веточки положите в тёмный прохладный хум и накройте дощечкой. В темноте веточки уснут, не распустившись, как рыбы, хлебнувшие воздуха, а толстостенный прохладный кувшин не даст им пересохнуть. При надобности выньте палочку, снимите с нее кожуру, наса-

дите на этот вертел кусочки мяса и поставьте на мангал с чистым древесным углем.

Мясо для ханского шашлыка надо выбирать тщательно, потому что оплошность позору подобна и никто вам “спасибо” не скажет. Предпочтителен молодой барашек, но не молочный, двухнедельный, у которого мясо вялое и косточки не окрепли, а полуторамесячный, чтобы он успел травки хватить. У такого ягненка мясо сладкое, ароматное, “с пружинкой”, и есть его - наслаждение, которого сам Лукулл...

Пробовал ли я ханский шашлык? Нет, как-то не приходилось. Но я видел, как готовят веточки.

Нота-бене: Забивать барашка полагается не раньше, чем за час до приготовления блюда.

* * *

Болвана сразу видно. Успокойтесь, не про вас сказано. Подумать только, я решил жаловаться в обком. Ну и болван же я был!

На партию оскорбляться нельзя, потому что она всегда права - это ясно. На группу допустимо, но без толку: их много, а я один. Поэтому я решил обидеться исключительно на князя, который возглавлял отдел в ЦК КПСС то ли по газу, то ли по нефти, то ли чёрт его знает по чему.

Мне крепко и не без юмора сочувствовали, но советы давали разные. Те, что помоложе, советовали писать, другие, постарше, рекомендовали помалкивать и думать о семье - а ну, в случае бумеранга, что с ними станется?

- Вас послушать, - загорелся я на пустой желудок, - так подумаешь, что все коммунисты были бобылями. -

- Тогда были другие времена, - ответили мне ласково и доброжелательно.

Но мне уже попала под хвост вожжа, и я попал под начало взыгравшего норова. Секретарь принял меня и выслушал. Потом сказал, что на меня поступила жалоба, так как я вел себя неграмотно, допускал прокитайские высказывания, не по-серьёзному отнёсся к поручению политической важности, не проявил дипломатической гибкости и дело едва не кончилось мировым скандалом, из чего я должен сделать соответствующие выводы. Что касается моих претензий, то люди не всегда сходятся во мнениях даже при единстве взглядов на природу и общество, ввиду чего противоречия между ними - дело обычное. Личность, как таковая, играет бесспорно важное значение в истории, а личность, творящая историю,

тем более. (Тут я бестактно хмыкнул, вспомнив армянина-гравёра на Ляби-Хаузе и его выставочное блюдечко с юбилейным адресом: “Юрочка! Историю делают люди. Ты - тоже человек. Пусть же твое местечко в жизни будет для тебя всегда теплым”). При встрече с такой личностью мы неизбежно несем частные издержки, с которыми надо просто смириться. Международное положение в данный момент очень сложное, и я обязан это учитывать. Привстав из-за стола и давая знать, что аудиенция закончена, он сказал самое важное:

- Большой человек! -

Благодарю вас, ваше превосходительство! Вы так доходчиво разъяснили, что мне даже неудобно по мелочам. Ежели бы раньше кто-нибудь так досконально растолковал, нешто стал бы я вас беспокоить? В порядке самокритики должен заявить: слабо, очень слабо поставлена у нас воспитательная работа со слу... с обслуживающим персоналом, и не только в Тамбовской области. Большой человек, как вы, ваше превосходительство, совершенно справедливо изволили заметить, что большой корабль, а большому кораблю - большое плаванье. Положение, вот, международное тоже надо, конечно, учитывать. Соединенные Штаты и прочие. Но нас не запужать. Шапками закидаем и завсегда рады стараться. Благодарю. Не смею более обременять присутствием. Еще раз благодарю ваше превосходительство. До свидания! До свидания!

.....

Мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех народов! Чай, мыло, сахар, кофе, колбаса и другие колониальные товары! Ну что вам за дело, господа, до всех народов? Своему бы дали роздых, а вам непременно всех подавай. Да ведь не поверят они вам на слово, вот что.

Эх, господа, господа! Ведь прогонят, право, прогонят. Да еще, небось, и побить могут. А хоть и поздорову в сень сойдете, так всё едино: нет по вас ни чести, ни славы, ни будущего, ни доброй памяти.

К О Н Е Ц

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

Из одной котельной Толя мчит в другую и, прощаясь, не “до свидания” говорит, а “до аванса” или “до полочки”. Ему завидуют и называют бесом трёхжильным за то, что в трёх местах пасётся. Зависть, конечно, завистью, а он подсчитал как-то рабочие свои часы и сам себе не поверил.

- Твою дивизию! - ухватился за голову. - Семнадцать часов и не шатайся, это как? Что-то оно опять “да здравствует восьмичасовой рабочий”, а? -

- Своя рука, - отвечают. - Сам нахватал. Сверх двенадцати-четырнадцати ни у кого, один ты. Тебя кто кантует больше одной халтуры тянуть? Крупно любишь - давай вламывай, а дом отдыха на том свете. -

С трезвой головой Толя промолчит, но не дай Бог выпить, - такой утренник закатит, только слушай.

- Да! - кричит он, выкатываясь грудью. - Люблю! Крупно! Без ума! Жить не могу! И не скрываю! А кто не любит? Ты, он, Михей, Родион? Ну, покажи кого, чтоб мимо рубля прошел, я на него посмотрю. Или найди такую, чтоб за сотню не согласилась. Молчишь? Вывелись дураки, - “за туманом, за туманом”! Что-о? Да я ее на знакомстве голыми руками возьму: “Тихонов моя фамилия, зарплата пятьсот рублей” - приехали. А принципы... вертел я их, знаешь, где? Возле гостиницы в сквере по червонцу за штуку. -

С ним лучше не спорить; тогда он быстро теряет раж, умнеет и может сказать даже что-то дельное, но не сразу.

- Не маленький, сам догадайся: ты при деньгах кто? Герой Суэцкого Союза. Как себя чувствуешь? Как адмирал на катере. У тебя Суэцкого ж совсем другая походка, если они у тебя есть. Уже ты не по тротуару идешь, а по планете гуляешь. Весь на шарнирах, выше ростом, конкретный вид, по глазам профессор, на карточке объявление: мо-гу! Самостоятельность, кто не понимает... -

Самостоятельности у него тоже на троих и ребята час-тенько дают ему укорот, а каково он ее в прочих местах упражняет, - слушайте дальше, спектакль только начался.

Авторский текст рассказа литературной правкой не тронут. В машинописной копии остались пропуски, видимо, заполненные только в первом варианте, который может находиться в РГАЛИ.

- Теперь смотри на себя, вшивота безденежная, - хочешь, зеркало принесу. Кто таков? Ноль прохожая. Ручка от чайника. Ни муж, ни отец, ни товару купец, - вот! А деньгами владеешь, значит, всё взял; в одном кулаке власть, другой под сопло: нюхай, чем пахнет. Домой заскочил, - не имеет, на сколько, - главное, чтоб парад в тапочках и мухи не летали. В гости пришел, - не важно, что раз в два года, а важно, где тебя, желательный, посадить, понял? Детишкам, и тем на тебя пальцем врут: "Вон, - говорят, - дядя в новом костюме всегда руки мыл, зубы чистил, а в полдевятого давно уже спал на вашем месте". -

Такой он и есть: и одет всех приличней, и лицо имеет научное, а походку гулевую так и не выработал; усталая у него походка, грузная, - то ли башмаки импортные свинцом подбиты, то ли крупные деньги не сами в руки плывут. В спокойные часы без начальства Толя сон навёрстывает, а сигналы сработали аварийные, - тогда его будят, потому что лучше всех дело знает: "Давай, - говорят, - а потом еще спи". Сны у него тоже денежные; будто он на восьми работах занят и везде авансы через день. Он говорит, - есть такие работы, совсем делать нечего, но туда берут по большому знакомству. Рублей полтора в месяц он пропивает, это у него называется "политика разрядки", - всё время в напряжении, не расслабиться по другому. И еще он, тароватый, может себе одну роскошь позволить.

- А еще за что нас девки любят, кроме денег? Характер. А ты его у нищих видел? Не видел. А почему? А потому, - характер, он тоже своё требует. Там разбил, там поломал, там в рыло заехал, соткой извинился, туда-сюда глядь, а их уже очередь и каждый просит в рыло за полцены. Так что ж мне, твою дивизию, думать? Люблю деньги, щедрость люблю, угощать всех подряд, только чтоб под музыку. -

Конечно, это у него не характер, а вожжа под хвостом. Характер - штука постоянная, а это у него на одну минуту, пока пар не выйдет. И то сказать, не все хотят за полцены, а бывает, что и натурой требуют. В таких случаях у него либо губы расквашены, либо синяк под глазом. Но характер есть, есть.

- Вышли деньги, - становись, твою дивизию, в колонну раком по четыре и слушай, бичьё, команду. Смотреть противно! Душа с верхних этажей в полуподвал переехала, ноги кренделем, не человек, а знак дорожный: я ваш! я ваш! "Ага, - там думают, - гражданин-товарищ, такой-

то нам как раз и нужен; сперва ты нас повезёшь, потом мы на тебе покатаемся”. Нет, мужики, что хотите, а бедность, это, я считаю - стыдуха. Добывай деньги до последнего. Пока сила, - добывай. Без них я, как абортированный; что слабый, что стыд берёт, ну, глаза закрывай и - в третью ёмкость. -

Обещанную дельную мысль о том, что стыдно быть беспомощным, Толя подал вовремя, и глава эта написана с чувством вполне осознанной срамоты и позорного бессилия что-либо поправить. Если б не стыд, завопить бы сразу: “Каравул! Убивают!”, а не пускаться в растабары, но со стыда голос пропадает, да и бесполезно это, кричать, по нынешним временам. “Титаник” приписан к министерству энергетики. Министерство жиреет на кризисе, как спекулянт на поставках. Люди тощают, беднеют, кувыркаются в трудах по двенадцать часов и ничего с этим не поделаешь. Приходится хвастать тем, что есть.

- А что нам Европа! Что она нам! Руку на вентиль, повернул-перекрыл и пусть под наш баян цыганочку пляшут. Мы самые богатые в мире! По золоту ходим! У нас этой нефти хоть ж...й ешь! Нам только захотеть, так мы! мы!..-

Все аж стонут от удовольствия: да, да, да! так им и надо! Пусть попляшут! пусть попробуют! пусть узнают, туды их немцев, сюды их французов, что почём! Но если кто-нибудь размечтается, что-де, приедет барин, заметит плохую избушку и пособит лесом, того поднимут на смех.

- Ну, поехал! туши свет. -
- Ето... в Крым по путёвке. -
- На Золотые пески без “бе”. -
- Пособят, пособят, держись за землю. -
- Как эт-самое, Славке петля. -
- Сергеич, как думаешь, глухарь, пособят? -
- Конечное дело. -
- Гы! Гы! Гы! Сто рублей за вредность. -
- Жрут, жрут, твою дивизию, никак не ужрутся. -
- Ну. Что ж нам, бляха-муха, одним страдать? -
- Заступили мы, хлопцы, в Германию, да? Глазам не верим, да? Всего кругом, да? под завязку. И думаем, да? - “Чего ж он, дурак, на нас попёрся?” -
- А то и до войны без “бе” жили, и сейчас. -
- Вот и пускай, эт-самое, горяченького... -

Посторонний послушает-послушает и плечами пожмет. “Что за странные люди! - решит. - Жизнь у них не заладилась, так они из-за этого всем зла хотят”. Но люди не странные. Они самолюбивые. Тронь их за живинку,

они собственной бедой величаться начнут, если больше нечем. Гордость у них в природе, вот и куражатся. И спорить с ними - всё одно, что крестьянину астролябию продавать.

По количеству смертей и увечий министерство занимает третье призовое место: пальма первенства у горняков, серебро у автоводителей, а у нас бронзовые награды, - тоже очень почётно, хотя рассказывать о случаях, учтённых ведомственной статистикой, не так интересно; работа как работа, рискованная, правда, но обычная, а людские издержки - это шепки, когда лес рубят. Кого-то автокар задавил, кто-то угорел в топке, кого-то замкнуло током на секционнике, - что тут поучительного? Иное дело, неучтённая смерть, а она приключается здесь, как, впрочем, и в других местах, только о ней ни в каких ведомостях ни сном ни духом не упоминается.

Как всякий порядочный лайнер, "Титаник" имеет свою судовую роль, где перечислены фамилии, имена, должность, квалификация и адрес проживания. Это список производственного персонала. На обложке какая-то шкода предписала хранить его вечно, и он, в самом деле, хранится. Те, кто прибыл-убыл по-живу, те вычеркнуты насквозь, но местами та же шкодливая рука вымарала только адреса, нацарапав сверху негнушимися железными пальцами точные слова.

Данилов Вячеслав - повесился;

Зайцев Борис - убит;

Неемре Ян - расстрелян;

Клименков Александр - скончался на выходных;

Дьяконов Сергей - спятил;...

Грустно, как в драме. Хорошо, что всякая драма, если она верно списана, содержит в себе комедийный элемент, в согласии с которым можно заявить, что никто ни на кого не собирается нагонять тоску. Пусть тоскуют там, где <пропуск в рукописи - *ред.*>, а русский тип, жизнерадостный неунывака, сам, дай срок, разберется по существу, тем более, что Слава Данилов был никакой не "<пропуск>", а друг, товарищ и брат, как заповедано.

Знали мы о нем, честно говоря, не больше, чем о других, то есть, совсем немного: выпивал; жена его была; тесть в милиции работал; тёща отбирала у него полочку прямо на улице; не раз, не два приходил он под котлы ночевать; осталось после него двое сирот - вот и всё. У нашего невежества свои причины: откуда же нам о других подробности знать, когда на себя времени нет, а уж в гости пойти, за город выехать или под выходной собрать-

ся - куда там! - целая история. Да и людям на свою жизнь жаловаться тоже - и стыд берёт, и некогда, работа заедает, успевай только поворачиваться: здесь отбоярил, туда побежал, полсуток долой, а домой примчался и там завал: нестирано, несварено, немыто, - ни роздыха, ни передышки, ни малой секунды погоду заметить. Теперь каждый норовит в рабочее время всякую естественную потребность справиться: кто выпить, кто отоспаться, кто помоложе - девчонку помять, кто анекдоты потравить или душу расстегнуть, только не свою, а чужую, она дешевле. Ну, и проходит жизнь в трудовой деятельности, а деятельность эта, хоть она и совместная, да чёрт ей рад: каждый - айда сам по себе до аванса, как Толик говорит, если не до полочки. Конечно, люди не стали хуже, чем когда-то, и нечего на них наговаривать, что они, вроде того, к худшему переменялись, - это времена переменялись. Говорили же древние: “<пропуск в рукописи - *ред.*>”, - так оно и есть: времена, действительно, меняются, а людям что? Оттого и нормы пошли другие. Раньше, к примеру, человека встречали по одежке, а провожали по уму, или еще по каким-нибудь достоинствам, а сейчас о нём важно знать одно-единственное: сволочь или не-сволочь?

Так вот: Славка был не-сволочь, это точно. Был он тихий, спокойный работник, царство ему небесное, хоть и грех этак самоубийцу поминать, да ведь добрый человек был и вреда от него никому не происходило. Когда он выпивал, то, по большей части, сидел и молча плакал, а ему сочувствовали тоже молча. Обыкновенное это дело, когда взрослый мужчина плачет, за что его презирать? - его жалеть надо. Времена и без того жестокие, чтобы еще к ближнему презрением ожесточаться.

Отметил он, как положено, международный женский праздник и на другое утро захлестнулся помочами на туалетном бачке; сам на унитазе сидел, а петелька не давала ему свалиться. Похоронили его чуть что не бегом и без никаких там “земля пухом” в домашней застолье. Поэтому ребята набрали водки, перепились прямо на работе и дня два никто ни с кем не хотел разговаривать. У Славки набралось много отгулов или, проще говоря, переработок, но государство за них не платит сразу и порешили сделать - смехота! - как по облигациям: пусть, мол, покойный Данилов числится как бы на работе, а вдова пусть, пожалуйста, приходит и, пожалуйста, получает. Ну, ходила она, кукса жалкая, получала, целых полтора месяца получала, и неживой Славка целых полтора месяца проходил в бухгалтерских ведомостях как трудоспо-

собный передовик, который и живет - не тужит, а помирать не собирается. Вообще, в этой истории много было потешного. Разве не смешно?

Як вмер Савродим,
Та й на лавці лежить.
Його жінка Савродимка
За горілкою біжить.

Точно так, а вовсе не то, что теперь поют, будто мы “пред родиной вечно в долгу”, - неправда. Какой же Славка должник, если подумать? Это родина перед ним в долгу, это она ему задолжала, - займы брала, как хотела, да еще, небось, мечтала, что он ей за это “спасибо” скажет. Вот и перемешалось горе с весельем: и смеёмся до слёз, и помираем со смеху, и сами порой не ведаем, отчего оно так. Но как же не смеяться? Глянул во все глаза на беду понятную, духом сник и с ума нейдет: кто ж следующий? чья дальше очередь? А пересмеялся, - вроде через себя переступил и еще, гляди, пожил-побыл.

Знатё бы заранее, чей черёд. Побрился бы, подстригся, чистое надел, как в старину, с семьей простился со щеки на щеку и на работе с каждым за руку, а мастера особо предупредил: “Ты мне, Андреич, новый наряд не оформляй да присмотри, будь ласка, чтоб старые позакрывали”. Но это на крайний случай. А в охотку, так нет лучше: отгулял сверхурочные и ни на какую работу носа не высунул, а чинно-благородно лег в красном углу, подмигнул семье, - не шибко, мол, из себя выходите, соседей беспокоить, - и преставился. Жена тоже, поди, нашла бы час родненьким обозвать, по головке погладить, а умные дети служили бы панихиду не по грубой “матери”, а по горьковской, где сказано, будто про нас: “Прожив такой жизнью лет до сорока, человек умирал”. Много было всяких фантазий на тему жизни и смерти Славы Данилова, много строилось во хмелю догадок на будущее, но кто его безо времени угадает?

Следующим оказался Боря Зайцев. Если принимать за чистую монету всё, что глаза видят, то его скоропостижная осиротила местком, обездолила партком и поставила администрацию в полный раскоряк, а если по правде, то Борина гибель удручила больше всего тех, с кого премию срезали за плохую политико-воспитательную, а их набралось немало. Кинулись они, было, по тому же адресу “местком-партком-администрация”: “Не лишайте, мол, по силе-возможности Бориной семье помощь оказать и

товарища помянуть по традиции”, - нет, не разрешили: “Никаких, - говорят, - поблажек разгильдяям”. Конечно, разгильдяи наскребли, у кого что было, - кто трёшницу, кто червонец, - и семью поддержали, и традицию соблюли. Как-никак был Боря душа-парень, с веселым характером, все уважали, всем нравился, и не его вина, что так получилось. Если б он знал, сколько из-за него людей пострадает, сам бы сказал: “Чем вам, мужики, своего лишаться, давайте-ка лучше я в кислотный танк сигану”.

Боря пропал в светлый день аванса, - будь он трижды пропит до последней копейки, - а убил его Ян Неемре, эстонец, по прозвищу Мишка. Человека очень просто убить: махнул шкворнем и - нет его. Только-то и успел Боря сказать: “Дурак, что ты делаешь?”, а потом уже всё время лежал, сперва на полу слесарки, затем дома в гробу и выражение лица у него было, как будто кутний зуб ноет нестерпимо. Ян, между тем, еще одному перешиб ключицу. Остальные, видя такое дело, - дай Бог ноги, кто куда, какая уж там политико-воспитательная. Разогнал он всех, липовый этот Мишка, общую водку допил, у Бори из кармана аванс вынул и был таков. О происшествии сразу же в милицию заявили, а те говорят: “Без вас хватает нам заниматься, к тому же олимпиада сейчас, некогда, ловите его сами”.

Ладно, мы не гордые. Сами нашли, сами скрутили, сами доставили: - “Нате, если вам некогда”. И получил Мишка вышку. Что о нем еще сказать? Было ему под пятьдесят; судился не один раз и просидел этак лет двадцать; от долгого сидения выработалась у него привычка входить-выходить без спросу и открывать все двери подряд, неважно, что там: женская душевая или красный уголок. Русских он ненавидел, а водку пить с ними - пил. Ну и пей за компанию; зелье это, чем больше его пьешь, тем меньше оно стоит, а что националист, так это ерунда, мы сами шовинисты, разве что отходчивые, а Ян был угрюмый, как сыч, - и человека доброго загубил, и сам следом пошел.

Собрали народ по этому поводу и зачитали судебное определение. Там определять-то было всего лишь факт и меру, потому что всё ясно, никаких скрытых моментов, но наши законники если за что возьмутся, то и пальцы знать, - ничего путём до дела не доведут. И столько в том определении было про убийцу накручено-навинчено, - и такой, и сякой, и еще вон какой, проходимец, вор, самозванец, экстремист, ни одной положительной характеристики... Короче, разбомбили его раньше, чем расстре-

ляли, хоть и говорят, что двум смертям не бывать. И себя при этом не забыли выгородить, что-де милиция всегда знала, какой он преступный элемент.

- Так вы что ж его нам? нарочно подсунули? - спрашивает Литвиненко сварщик. - Чтоб он тут, значит, дел натворил, - так, что ли? Ну и держали б его под охраной, раз он элемент. Тем более, что вы такие умные, за год знаете, кто кому жизнь сократит. Говорили бы прямо: слесарь был ничего, плохому слесарю высокий разряд не дают, но при чем тут разряд? Ничего вы не знали. Вы даже задержать не могли самостоятельно. Чего вы боитесь? Это ж не фигуристы за границу убежали, а рабочий рабочего убил, - дело простое. Рассказываете, будто мы дети малые, а у самих концы с концами не сходятся. -

Махнул он рукой и сел. Видит комиссия, что у нас, действительно, низкая сознательность, и стали они меж собой переговариваться: неправильно, мол, товарищ вопросы понимает; надо, мол, поправить товарища. И про низкий уровень сказали, и про политико-воспитательную, которая не на высоте, и много чего еще наговорили, в том числе пообещали не забывать нас, отсталых, а наведываться и разьяснять. И повадился кувшин по воду. Разьясняли, разьясняли, еще больше дыму напустили. "Преступника, - говорят, - мы, конечно, расстреляем, но не сразу, пусть сперва оправдает убытки на похороны Зайцева и на монумент, а как оправдает, так мы его и шлёпнем". Тут опять кто-то из наших задает вопрос:

- Неужели, - спрашивает, - Боря Зайцев у государства на-память себе не заработал, хоть бы за отгулы, чтоб убийца ему еще памятник ставил, - где ж оно такое видано? -

А ему отвечают:

- Вы что ж, товарищи, думаете, социализм - это мощной трясти? Ошибаетесь. Вы тут будете головы друг другу проваливать, а государство вам похороны по первой категории, - так по-вашему? Не так. Государству быть в прогаре из-за вашей глупости не расчет; у государства свои законы, а дуракам закон не писан. -

Тут все разом за Боря обиделись и говорят:

- А-а! Так бы и сказали сразу, что государство отдельно. Теперь всё нам ясно, вопросов больше не имеем. -

Хотя вопросы, конечно, были всякие и много, но мы их уже решали промеж себя. Правоведы по одному, по два еще к нам ездили, а для чего? - спросить. Раза бы хватило для душевных разговоров, будь они поумней: "Живем мы, дескать, по законодательству царя Гороха: око за

око, зуб за зуб. Согласно такому распорядку Мишке полагается пуля в затылок”. И никто бы не ерепенился, а напротив, сказали бы: “Если так, значит, заслужил”. А они переливали из пустого в порожнее, что, во-первых, Яна подвели под расстрел правильно; и во-вторых, его нужно расстрелять; и в-третьих, тоже надлежит, потому что наши законы смертной казни самые справедливые, и законов таких сколько угодно: за крупное воровство, за большой ущерб, за измену родины, и за, и за, и за - пальцев на руках не хватает, разуваться надо. Словом, талдонили - ну, точь-в-точь преступник возвращается к месту преступления уничтожить отпечатки и всякий подножный компромат.

Слушали мы слушали и падала наша сознательность ниже и ниже, а в общем, чем больше слушали, тем крепче сомневались, и постепенно смекнули, что никто Мишке стрелять не собирается, - это раз; что брать у человека жизнь даже по закону никому не полезно, - два; что нам тут попросту компостируют мозги, а кому это нужно, следует подумать. И зашумел разговор душ на двадцать, а то и больше.

- Понапрасну эстонца застрелили, муха. -

- А ты хотел, его, на поруки?

- Не на поруки, а неправильно за мокрое дело по суду, понимаешь, мокрым делом. -

- Точно. Направили б, эт-самое, на особо опасную и пускай горбит, пока, эт-самое, не загнётся. -

- Стало, опять к нам? Мы тоже особо опасные. -

- А хоть и так. Без “бе” газоходы чистить, мазутные ёмкости, кислоту сливать. -

- Разов сколько обрыгался б кровью и туши свет. А что? И справедливость, и нашему труду охрана, и вообще. -

- Да их и так не стреляют, не беспокойся. -

- Что ж их, муха, к ордену? -

- Ну, орден, - носи его сам, да? а мне лучше деньгами. Свояк говорил, да? не стреляют, а посылают уран добывать. Там он, да? подобывает с полгода, пооблучается, да? и коньки в сторону, - понял? -

- Я молчу. На кой же они нам тогда мозги полощут, что к высшей мере? -

- Чтоб ты, валух, думал, будто у нас всё по правде. -

- Ух ты, какой дошлый! А мы тут, эт-самое, поглядеть на него народились. -

- Кроме смеха, а у Бори семья. Кто ее, твою дивизию, кормить будет? Государство? -

- Кха! -
- Гм! -
- Хи-хи-хи, я молчу. -
- Сосу, сосу, худею. -
- Накормят, туши свет, маслом отрыгнёшься. -
- Пшшшшш! все свои. -
- Ну вот. А кто? Ты? -
- Не холостой, эт-самое, своя рубашка, самому во шах, эт-самое, не жирно. -

- То-то, “не жирно”. А присудили б Мишку по жизни и - вкалывай, твою дивизию, семью покойника содержи. Как по-твоему, Сергеич? -

- Сабо сомой. -

- И то, мужики! Борину бабу спросить ежели, да? “Чего ты хочешь, да? Или мы этого гада за яйца принародно повесим, или будет он всю жизнь, да? с кайлом гнутья, а зарплату тебе?” Что б она ответила? -

- Ето! Так спрашивать, любая б захотела.

- О! Понял, муха, про что гуторишь? Лю-ба-я! А раз любая, значит, все. Значит, законы у нас гнилые. Скажи, Михалыч, у тебя ж высшее, муха, филогическое. -

- Да чего? Всё так. Ездил царь Александр к Наполеону и своего секретаря с собой брал Европу посмотреть. Потом спрашивает: “Ну, как оно?” А секретарь, Сперанский-фамилия, говорит: “Тут, государь, законы лучше, а у нас люди лучше”. -

- Да, врубил, туши свет! -

- Прямо так без “бе” и сказанул? -

- Давно ето было? -

- Сто семьдесят два года. -

- Ты смотри, муха! И сейчас так. -

- А немцы, те вешали. Как Ростов забрали, понимаешь, наловили жульманов душ десять и через газету объява: “Такого-то числа, понимаешь, во столько-то на площади будут вешать воров и жуликов, а жители без билета приглашаются на-посмотреть”. Пацаном дело было, ходил. Гляжу, понимаешь, ведут: один за одним, руки, понимаешь, назад, на груди “вор-бандит” написано. Еще накинул - ба! - Сева Жмых из нашего, понимаешь, двора: дезертир с начала войны, скокарь высший сорт, житья не было. И он, понимаешь, подзалетел. Ну, вздёрнули. Так веришь? - по ночам стало можно ходить, понимаешь, а жульё, как сквозь землю. Потом наши вернулись, - “Не воры, - говорят, - это были, а народные, понимаешь, мстители, а что воровство, так то, понимаешь, для отвода глаз, так надо было”. Ну, братская могила,

гранитный солдат. Мамашке севкиной медаль, понимаешь, не знаю какую... -

- Так то для страха, да? Вот и боялись. А теперь щёлкнут, да? в подвале, как шмакодявку, - кого они этим, да? запугают. -

- Всё равно, не дело к высшей эт-самое. Военное время - одно, а мирное - совсем эт-самое. -

- Я по бибиси слышал: казней, ето, нигде больше нет, у одних только у нас. -

- Выгодно потому что. Пускай дураки думают, как мы, будто Мишка накрылся, а он, муха, будет пользу давать государству, а Борина вдова с детьми не лысая, перебьётся. -

- Брешет заграница! В Пакистане кого-то исполнили - только свет туши. Опять же в Турции, - в газетах писали. -

- Ну и чего такого? Это, которые из-за власти. Какое нам дело, я молчу, пускай хоть все перережуются. -

Длинные были разговоры предлинные, а от них хоть и легче, но не надолго. Не успели двум трупам косточки перемыть, а третий тут как тут: висит, качается на ветру, деревом поскрипывает от проходной неподалеку. Женька Кудинов на смену шел к семи утра, темно еще было, троллейбусы, как всегда по субботам, только-только пошли, а с вечера снежку нападало, белым-бело всё. Смотрит Женька и видит на белом чёрное: милицейская машина и гамилтон кого-то по радиии вызывает, - не то скорую, не то подмогу. Протёр Женька свои очки близорукие - висельника заметил, а под ним еще два гамилтона снежок пушистый вытаптывают, - что-то покойник там написал. Потом разглядел мертвеца, чуть не заматерился, что, мол, нам своих таскать - не перетаскать, так еще чужие наладились. Спрашивает у блюстителей: - "А чего он тут нарисовал?" - "Чего! чего! - обозлился гамилтон, а сам мелко по снежку танцует. - Антисоветчину, гадюка, нарисовал, вот чего". - "А какую-такую антисоветчину?" - не унимается Женька. - "Проходи, - другой топтун говорит. - Много будешь знать, сам, горбатый, зависнешь, как эфтод дисидент".

Другие, из смены, тоже успели его отметить. Парень, как все; недавно, видать, демобилизовался и, похоже, эстонец; волосы длинные, модные, белесые; язык от удущья вывалился и слюней на груди намёрзла целая гуля. Только и того, что не наш, да это разве утешение? Небось, жил человек, жил и под конец жизни своей что-то сказать захотел, написал что-то. А гамилтоны по свеженанписанному медведя сплясали в тёплых валенках и не

узнать стало, из-за чего он, голова бедовая, лихо над собой учинил. Прожил человек, вроде веслом по воде плеснул и - никаких следов. Конечно, такое везде случается, но у нас это чаще, чем у других, - вот что обидно. “Тихо, граждане, - гамильтон говорит, - и без паники. Всё в порядке, разойдись малой скоростью по своим местам”.

Пашка Корягин спозаранку “Инспектора Лосева” сел читать, - бросил. “В книжках, - говорит, - милиция совсем другая, не могу в это поверить. И личность, - говорит, - евойскую забыть не могу: глаза вылупил, морду, это, перекосоротил, язык высунул и дразнится. А тут суббота, взять негде. Может, помянуть, так оно бы это? а? полегчало?”

- Как же, не полегчало! - отвечает Вася Поликанов. - Как дважды два, понимаешь. А где? Закрыто всё. -

- Как я, мужики, соображаю, - говорит Женька, шевели по-верблюжьи горбом, - хорошее дело, помянуть. Несмотря на, как говорят. Может, у него нет ни души. Может, он детдомовский. Может, толковый парень был, а? Что ж ему, так виноватым и оставаться? Надо простить. -

Открыли столярку, вынули из рундука две бутылки политуры, отомкнули ремцех, врубили вертикальный станок сверлом в жидкость, лако-краску на легированную сталь намотали, спирт в посуде остался - полчаса дела. Женька налил в кружку до отметки “на помин”, побалагурил: - Закурим листового, помянем деда Лесового, двух Матрён, Луку с Петром, Сидора, Макара, ядрёна мать, Захара... Эх, понеслась душа в рай! - и выпил. Вася опростал свое под “мягко лежать”, Ваня Будовский пожелал бедолаге небесного царства вопреки канонам, а Паша сказал наверняка, что все там будем, хотя в смене был моложе всех. Так и простили незнакомца.

Им вообще в этот день крепко не повезло. Распили они спирт, включили телевизор, а там передача об охране природы: какой-то браконьер оленя подстрелил, а вокруг мяса собрались служащие в галстуках и хнычут, - кто в разлив, кто на вынос. Вася смотрел, краснел, синел, наливался да потом как гаркнет:

- Глуши сундук! Заткни ему хайло, собаке! Люди гибнут-весятя, а им, понимаешь, хоть бы что. По падле нюни распустили, сволочи, понимаешь, конца вам нет. Заткни, а то плоскогубцами кину. -

- Погоди кидать, - говорит Женька, глядя в программу. - Тут сразу после природы “нотабенья”: “Рабочим часам - наивысшую отдачу”. - Боюсь, подпитку провороним, - засосут. -

- Всё равно, вырубай, - упёрся Вася. - Не могу я, понимаешь, спокойно глядеть на ихние хари.

И проворонили они подпитку. Сорвало у них насосы, остановились котлы. До конца смены бегали, режим налаживали, весь хмель выдуло, а к троллейбусу шли - от дерева проклятого отворачивались и помалкивали, один только Ваня сказал:

- Домой приду, одеколончику ахну. Жена флакон "Се-режи" держит, вот я его из ревности и того. Ахну и - спать, быстрее забудется. -

Таких покойников трудно забыть. Долго помнятся мучительным выражением лица, как будто всю жизнь кислым питались и померли в тисках верстачных. Лишь Саня Клименков симпатичный был покойник. Но он трудно болел и уже при жизни напоминал мертвеца, потому и в гробу лежал, как живой: спокойно, величаво, барин-баринном, усы нарастёс, костюм коричневый, новогодний.

Он попросился к нам в смену четвертым, когда Леша Гладышев после вендиспансера на увольнение подал. Мы, конечно, сразу поняли, что не жилец, и работать его не заставляли, но он сам от нас не отстать старался и мелькал - голова поперёд ног.

- Сидел бы ты, слушай, - говорил ему Сеня Любин. - Расшибёшься, чего доброго, на паёлах или на антресоли свалишься, склеивай тогда тебя по частям. -

- На Варшаву! - задирался Саня нараспев. - А я, как Антей: за землю подержусь, еще крепче встану. -

- Тебе б санаторий, - советовал Толик. - Подлататься, твою дивизию. Подал бы в местком, гляди, подмандили б тебя в Сочах или где, запчасть какую новую... -

- Жалел волк кобылу, - отвечал он бодро, - а местком Клименкова. Санаторий, ребята, пройденный этап и не про таких, как мы. Вы не знаете, потому что здоровые, а я знаю, было дело. - Он вдруг озлился, ударил кулаком по цыплячьей своей груди и стал похож на хоря. - Да ты-то меня чего вынуждаешь? Ну, не хочу я с ними никаких дел. Не-хо-чу! понятно или нет? -

Справляться с мускульной работой он не мог с самого первоначала и однажды заявил:

- Вы, ребята, не особо меня балуйте. Если мешаю, я хоть завтра могу на больничный. Только неохота мне в больницу, не выйду я оттуда. И премий по бюллетню заплатят дырку от бублика. А жить на голый оклад, - сами знаете. -

Мы стыдливо хлопали глазами и говорили со всеми знаками препинания: - Ты чего это, Саня, горишь? Ко-

му ты лишний? Будь тут хоть до пенсии, - что мы тебе, чужие? Хочешь - походи, устал - полежи. Об чем толковать нашел, - брось! -

Ночная вахта у него была облегчённая, с полуночи до двух, когда "Титаник" скинет с себя нагрузку и умиротворенно заурчит в четверть силы. Стоял он ее всегда добросовестно и во-время включал сигнализацию, так что мы успевали и собраться, и закурить, и даже лицемерно обрадоваться встрече с инспектором. В такие моменты Сеня Любин вполне соответствовал должностному положению сменного диспетчера.

- А-а, товарищ Плеханов! - кричал он лучезарно осклившись. - Лунная ночь, тихая погода! Неплохо выглядите, давненько не видать, как здоровье? не спится? А мы только вот-вот приборку закончили, чай у нас. Толя, плесни чайку товарищу проверяющему. Вам с лимончиком или без? Саня, уступи место старшему тебя по должности. А мы как раз политинформацию надумали, хорошо, что вы пришли, чем больше народу, тем активней со стороны. В Саратовской-то области, слышали, сколько сенажа на зиму? О-о-о! Или в Уренгое молодцы чего вытворяют семимильными шагами, га? А Садат опять за своё с евреями конспирировать. Но ничего, есть еще ребятки в Биробиджане... -

Сенька - яхтсмен, пианист и наглец. Без подготовки с ним разговаривать - не проходит. Плеханов его не переносит; черкнёт подпись, повернётся этакой Фортуной к неудачникам и - во-свосяси, а Любин дает отбой: - Кому что снилось, досматривай! Я его напугал, не вернётся, дважды в одно место снаряд не бьёт. -

Плеханов тоже помер, но незаметно. Спросили мы как-то у очередного проверяющего: - "Что это Плеханов совсем нас позабыл?" - "А он от инфаркта помер". Вот так штука! Отставной политработник лет шестидесяти, мог бы еще потерпеть, хотя премии драконил за всякую мелочь, да Бог ему теперь судья. А при жизни Клименков Саня раза три нас от него выручал.

Такие встряски были, понятно, в редкость. Обычно Саня досиживал до положенного часа, будил меня и ложился на мое место. Однажды я проснулся раньше времени, слышу - кто-то впотьмах руками по стенке перебирает со стоном. Я догадался, что это он, спрашиваю: - Саня, что болит? - а он отвечает: - Всё болит. - Это было один-единственный раз, когда он пожаловался. Вообще-то, он даже и не спал, - просто лежал от слабости, а иной раз вставал и приходил посидеть.

- Рассказ пишешь? - спросил он по случаю.
- Рассказ, - я ответил.
- Напиши про меня. -
- Я не могу про тебя, Саня. -
- Почему? -
- Ну... ничего о тебе не знаю. -
- Как же не знаешь, когда работаем в паре? -
- Так этого ж мало. Для рассказа сюжетную фигуру надо, а твоя фигура - эпизод. В романе ты еще туда-сюда, а в рассказе... -

- Ну, роман напиши. -
- Я не пишу романов. -
- Не можешь? -
- Не пробовал. Может, и смог бы, - время не позволяет. Сам видишь, как у нас с ним. Чуть-чуть. Тебе на рыбок аквариумных, мне на рассказ, - не больше. -

- А с перебоями? -
- Ну! Большая вещь работы день в день требует. Режим. Возьми Толстого. Или Сименона. Или Хемингуэя. Или кого угодно. Знаешь, как у них? С шести до девяти - бумагу пачкать. С девяти до десяти - завтрак, почта, газеты. С десяти до часу - прогулка на яхте. Или верхом. Или садоводство. Сад, конечно, собственный. Яхта и лошадь - тоже; чем хочешь, тем занимайся. С часу до трёх - деловая переписка. Потом до четырёх - обед. После обеда всхрапнул пару часиков. С шести до восьми - чай со сливками или кофе под рукопись. Друзья, семья, кабаки, визиты, театр и прочее - до полуночи. Затем баиньки, а завтра то же самое. Кто ж меня кормить будет, если за роман сяду? -

- Понимаю. Это ты верно про меня объяснил. -

- Что "верно"? -

- Что рассказ с меня не напишешь. Да и роман. Неинтересный я. И жизнь у меня - эпизод без интереса, нечего рассказывать. Отца не знаю. Матери тоже. Брошенный я, подкинутый. Может, и детей не люблю из-за этого. Про таких раньше кратко писали: "Иван, не помнящий родства", - вот и весь рассказ. Извини. -

Под Новый год я подарил ему что-то из своей писанины, не помню в точности, что. А с января мы уже боялись, что он умрёт на работе в возрасте Спасителя, но он дотянул до апреля и умер от рака на выходных. Позвонила жена и говорит: так и так. Мы собрались, полкотельной собралось, и поехали хоронить. День Сане выдался - лучше не бывает: светлый, тёплый, ласковый; не день, а нежность мира сего. И он лежал: умный, завлекательный,

с иголки, ну, джентльмен, - влюбиться можно, ни разу мы его таким не видели. В начале года он побрился, но за три месяца усы у него вновь отросли во всю мощь, - пышные, цыганские. Детей он не заводил, жена осталась бредить дома в температуре. Были на кладбище тесть, несколько друзей да мы, а больше никого. Человека четыре высказались о нем, и у всех отлично получилось. Даже по части философии неплохо. Вроде того: "Живые закрывают глаза мёртвым, мёртвые открывают глаза живым". Или: "Дерево срублено и его можно вымерять. Саня окончил жизнь, и можно о нем сказать несколько правильных слов". Если же всё, накоротке сказанное, свести воедино, выйдет примерно так:

"Он был мужественным человеком. Года два он смертельно болел, и мы знали это, но никогда не слышали от него жалоб. Жил он в общежитии и мечтал о своей квартире, но ни на кого, помимо себя, не полагался, потому что было в нем слишком развито чувство собственного и человеческого достоинства. Был он жизнерадостен, умел шутить и понимал шутку - единственное, что украшает и облегчает тяжкое житьё наше. Характер у него был взрывной, беспокойный; с ним можно было соглашаться или спорить, но оставаться равнодушным - нет, не было среди нас равнодушных к нему. Кроме нужды и бедности ничего он не знал; кроме жены, друзей и нас никого больше не имел, даже родителей. По этой причине он работал до последнего.

Теперь он скинул с себя отрепья нашей лживой и грязной жизни, а квартиру ему предоставила мать сыра земля без ходатайства месткома. И мы, наследники, собрались здесь, чтобы честно поделить всё, что от него осталось. Что ж нам делить? Какое наследство? Память. Это имущество мы сбережем и не промотаем, пока сами живы. Спасибо, Саня, что был с нами. Прости, Саня, если что не так. Прощай, Саня".

Потом были грустно-весёлые поминки, а за ними неожиданность: Саня Клименков стал прорисовываться да так чётко, - ну, прямо, садись и пиши. Будь можно, так бы ему теперь и сказал: "Саня, ты не эпизод, но тебе просто не дано было об этом знать. А я выполнил твою просьбу. С перебоями, правда, но выполнил. В отдельный рассказ ты не вошел, но место для тебя всё же нашлось. Что за вещь по жанру я написал, - мало меня заботит; еже писах - писах, пусть разбираются, кому не лень. Я даже фамилиями не погрешил. Что с вас взять, с мёртвых? Вам теперь и миллион лет, как одно мгновение. Ни

ответственности, ни сраму, ни долгов - ничего, одна только память. Хороним мы вас по-старинке, в землю, а из той земли родина образуется. Уж какая ни есть, а родина, - так и живём”.

И живут люди от одной драмы до другой. А они разные, эти драмы, и в каждой что-нибудь забавное: фарс, ирония, шутка тонкая, порой даже до буффонад дело доходит, потому что смешное с печальным так в нашем быту повязано, как жизнь со смертью. Такое вот совмещение жанров приключилось, когда Серёжа Дьяконов допился до голубых чертей и с ума сошел. Казалось бы, ум потерял - всё потерял, беда! чему радоваться? А вот же! Явился он спозаранку на щит, сам взъерошенный, глаза блестят и говорит сменщику:

- Ночь не спал. Жена с дочкой к своим уехала, родители - еще раньше, один на хозяйстве. И откуда их столько набралось, - полная квартира. -

- Кого? - поинтересовался сменщик.

- Лилипутов. Маленькие, мохнатые. По-за шторами, под столом, в холодильнике, - куда ни глянь. Соберутся и пищат: “Сергей, ты не спи, а то квартиру спалим”. Как заснёшь? Встану, разгоню их, сволочей, маленько, - “А ну, киш отсюда, туда вашу сюда и обратно!” - а они опять соберутся и по-новой: - “Сергей, не спи”.

Сменщика мороз по спине продрал. Отодвинулся он от Серёжи и спрашивает:

- Давно не пьёшь? -

- Давно. Послезавтра третий день будет, - пошутил тот и сразу же поправился. - С места не сойти, третий день в рот ничего не беру выше пива. -

- Ты и пиво бросай, - посоветовал сменщик. - В нем тоже градусы. -

- И до чего ж, гады, хитрые, - продолжал Серёжа о лилипутах. - Газеткой позакрываются, а сигаретами дырки в ней жгут. Ну, глаза закрою, слышу, как бумага горит, - чаду напустили. До самого до утра так. Утром смотрю, - на работу пора. Закрыв я их в квартире, чёрт с ними, пусть что хотят, то и делают. -

- Знаешь что? - посоветовал сменщик. - Ты до обеда покрути контрольную задвижку, какая потуже, намотайся, пообедай, но выше кефира ничего не пей. А после смены не на халтуру иди, а в кино, и попробуй после поспать. -

- Ладно, - пообещал Серёжа.

Он расписался в приёмке смены, но задвижку крутить не стал, - не дурак же он бесполезную работу делать, - а взял лом и пошел к мазутчикам.

- Здесь у вас птичка спрятана, - показал он на прибор-самописку. - Зачем вы ее туда посадили? Отпустите, пускай летает. Что она вам сделала? Неужели вам не жалко птичку в тюрьме держать? -

Мазутчики уставились на него во все глаза, ничего сообразить не могут, а когда до них дошло, всех как ветром сдуло врассыпную. Прибор вылетел, как пробка, с одного раза. Разламывая его по кускам, Серёжа всё время разговаривал с птичкой.

- Погоди, - говорил он. - Скоро я тебя выпущу. Не бойся, не трону, зачем ты мне? летай на здоровье. А-а, тебя тут нету! Значит, ты в другом месте! -

И приступил к новому прибору.

Его обуюла великая освободительная миссия, самая благородная из маний, какие только бывают. Может, она у Серёжи возникла по общим причинам, как у всякого русского, когда он трижды хлопает себя по груди и говорит какому-нибудь австрийцу или венгру: "Мы вас освободили". Вызвolyать и освобождать, - это у нас в крови, с этим ничего не поделаешь. Причем, неважно даже - кого, нам это все равно, лишь бы другим волю предоставить. Сейчас, например, поговаривают, что пора иранцев идти вызвolyать, хватит им, чернявым, в неволе томиться. Словом, для других мы всегда готовы, а у самих птичка внутри сидит и такие порой фокусы отчебучивает, как с Серёжей. А возможно, были у него причины частные. В прошлом Серёжа нёс армейскую службу во внутренних войсках и посмотрелся на всяких лагерников, - вот оно из него и выходит.

Разгромив мазутное хозяйство, он перешел к главной трассе. К этому времени за его действиями наблюдала целая толпа, перед которой он выступил с провокационной речью.

- Здесь женщина! - кричал он, стоя на трассе, будто на трибуне. - Здесь женщина, ее посадили, но мы не позволим! Что ж вы стоите? А еще мужики! Где ваша совесть? Она же женщина! слабая! а ее тут держат. Эх, вы! -

Трасса выходит из котельной стальными трубами метрового диаметра и теоретически в ней вполне хватит места женщине разместиться, но что ей там делать практически, знал один Серёжа. Он поднял палицу и нанёс по трассе богатырской силы удар. Порвалась толь, кусками брызнула бетонированная обмуровка, хлопьями полетела стекловата и вскоре металлический звон оповестил, что лом коснулся трубы.

- Надо его остановить, - сказал Станчик.

- Дурак, - натужно просипел Силантьев, аж слюна в дудке закипела. - Держи его, хлопцы, дурака этого, не пускай! -

- Ты что, matka-боска! - обнял поляка татарин Хайруша. - Он ломом дербалызнет, как Борю Зайцева, а скажет, - лилипута прогнал. -

А Серёжа был что неотразим, что бесподобен. Его все здесь считали красивейшим мужчиной, а сейчас и подавно, - глаз не оторвать, весь “Титаник” им любовался. Коль скоро благородная цель в самом деле облагораживает, то надо заметить, что взопрел, разурмянился и еще больше прибавил в обаянии именно за счет этого. Человек стремящийся, борющийся, мыслящий и ищущий вообще пленительно хорош, если он, конечно, стремится к благу, борется со злом, мыслит по-добру и ищет правду, а Серёжа только то и делал. Это ничего, что лом не причинял толстостенной трубе никакого ущерба и дважды вырывался из рук, - всё равно красив он был собой, как никогда. Он очаровал даже врача “Скорой помощи”, который подошел к Серёже и сочувственно сказал:

- Ничего тут ломом не сделаешь. Автоген нужен. -

- Без тебя знаю, - отозвался Серёжа. - Автоген! Ты его где возьмешь? -

- Да есть у меня знакомый, можно у него... -

- Ну, мало ли! Что ж я, на руках его понесу? -

- Зачем на руках? Я при машине. -

- Так бы и сказал. Поехали. Чего время терять? -

Он бросил лом, отёр потное лицо рукавом робы, а проходя мимо, сплюнул в сторону экипажа и поехал за автогеном. До сих пор ездит, скоро два месяца.

Я не люблю “Маленькие трагедии” Пушкина. Мне от них стыдно и зябко, как на ветру, и я долго потом не могу согреться.

ДИВЕРСАНТЫ

I

В году, памятном нашим дедам, когда они поздравляли своих бабок с Новым Веком и с Новым Счастьем, инженер Белелюбский* построил мост, и обошелся он ему в два миллиона. Средства, разумеется, были не его, а казённые, и всё же, - много это или мало? - если спросить. Любая цифра в отдельности ничего не означает, и для человека, мечтающего поныне сколотить тышчонку-другую, это деньги, конечно, сумасшедшие. Чтобы увериться, что речь идет не о деревянной межколхозной гребле с резными перилами, а о чем-то, действительно, огромном, надо опять-таки у предков пару данных позаимствовать. Дойная породистая корова по тем временам стоила на ярмарке пятнадцать рублей. Почти столько же в месяц получал на содержание от казны один ссыльный, проживавший в селе Шушенском, и этого ему хватало не только концы с концами сводить, но и сочетаться церковным браком с Наденькой, которую он очень любил... Оглянувшись через плечо подобным образом, можно, кажется, и головой кивнуть: да, мост был значительный и денег ушла на него уйма.

Если проезжать его на поезде, очень приятна мысль, будто Эйфель, построив знаменитую башню, приехал сюда и соорудил еще одну, но уложил ее, двухверстовую, горизонтально, с одного берега реки на другой, а внутри для пушей важности пустил чугунок. Всё это оттого, что люди, не имеющие точных сведений, питаются предположениями, как лисица виноградом: иностранца знают все - нашего никто не знает, даже свои. Лишь недавно талант русского инженера получил некоторую огласку и авторитетное признание, да и то - при очень вынужденных обстоятельствах.

На шестьдесят восьмом году своего железнодорожного существования мост претерпел нечто, о чем люди, потеврявшие тогда своих близких, до сих пор вспоминают с

В богатом наследии писателя мы выбрали неоконченную машинопись повести "Диверсанты" и рукописные черновики к ней. Полный вариант может храниться в РГАЛИ, куда сдана часть архива Б.Ю. Крячко.

** Реальное лицо. В БЭС (М., 1997): Белелюбский Николай Аполлонович (1845-1922) - инженер, ученый, по его проектам построены крупные ж.-д. мосты через Волгу, Днепр, Обь и др.*

некоторым удивлением. Зима в тот год приключилась небывалая, - даже ветхие старики, как ни морщились, не могли такой припомнить. А под мостом, конечно же, протекала речка, придававшая ему не только художественную фотогеничность, но и практическую ценность. Когда-то древле речку называли Бешеной, а позже переименовали в Аму-Дарью, хотя первоначальное имя ей личилось больше. Ее плотная, пополам с глиной, жижа неслась к Аралу мелко ли, глубоко ли, но сокрушительно и стремглав во все времена года, сливаясь по оттенку с песчаными берегами. И вдруг вся эта быстрина цвета скверного столового кофе остепенилась, угомонилась и замёрзла впервые от сотворения, если не мира, то уж моста, - наверняка.

Надо полагать, от одного ледостава ничего бы особенного не произошло, если бы родная отчизна не граничила в верховьях с заречными монархиями. Но, на беду, она граничила и бойко с ними по воде торговала, а внешняя торговля, да будет это всем ясно без доказательств, никогда не прекращается во избежание дефицитов, клирингов и множества прочих неудобств, по сравнению с которыми чума, война и недород почти ничего собой не представляют. Читателю этого, конечно, не понять, а раз так, то и объяснять ничего не надо; пусть читатель себе усвоит, что без внешних сношений нам никак нельзя и - будет с него.

Тогда же воинские подразделения нашей армии, непобедимость которой многократно доказана, провели операцию "Миссисипи". Артиллерия ударила по фарватеру из крупнокалиберных пушек, военно-воздушные силы совершили массированную бомбёжку ледяного покрова на всём протяжении государственной границы, десантники атаковали пирс и побережье на подступах к портам и переправам, другие разновидности войск тоже оказались на высоте, проявив отличную боевую и политическую подготовку. Безупречно выполнив приказ и понеся лишь незначительные потери, наши части отошли на исходные позиции, сохраняя и морально-боевой дух "эх, повоевать бы!", и образцовый порядок движения "левое плечо вперёд". Нужный участок реки высвободили ото льда, и внешняя торговля возобновилась, а ненужный остался, как был, - туда снесло течением битый лёд, и получилось что-то вроде зимнего гренландского пейзажа кисти неизвестного мастера второй половины двадцатого столетия.

По весне высокая полая вода вскрыла лёд, вздула до краёв реку, и новоявленная Гренландия плавно двину-

лась вниз. Доплыв до моста, айсберги не пожелали следовать дальше, а упёрлись в опоры и создали сперва запруду, потом дамбу, потом плотину, а потом прибрежный областной город Чарджоу оказался как бы ниже уровня мирового океана и превратился в город Китеж, известный по былинам и по классическому оперному наследию.

Премьер страны бросил дела и прибыл к месту происшествия в сопровождении военных и гражданских лиц мужского пола. Он осмотрел с вертолётa неучтённую самостоятельность природы, очень удивился, что ледяную махину держит один только мост, и погрузился вслух о беспомощности правительства перед стихиями. Правительственную грусть генералы приняли к сердцу ближе всех и предложили операцию “Гудзон” в смысле более прицельной артиллерии и более точного бомбометания, убеждая премьера, что потеря моста не есть потеря престижа, во-первых, а во-вторых, эти решительные люди усматривали здесь именно то положение, какое решалось просто и быстро: руби до седла, остальное развалится. Государственный деятель безоговорочно отнёс их воинственные советы и сказал, что пусть город хоть трижды захлебнётся, а уничтожать мост, это чудо строительной техники, равновеликое разве что бруклинскому собрату, он никому не даст. Так нечаянно выяснилось, что по теперешним расценкам неторговых предположений мост стоил трёх областных центров вкупе со всеми учреждениями, предприятиями, жителями и тому подобными потрохами, и, следует надеяться, лишку запрошено не было, поскольку своему товару купец цену знал.

В самом деле. Подвесной мост у местечка Сазакино и близко не надо в расчёт брать. Еще два-три мостка у истоков тоже нельзя принимать всерьёз, даром, что к одному из них сам Александр Филиппович Македонский, говорят, руку приложил, но что это за мост, если бы кто видел: шест в руки и - оп-ля! - с одного берега на другой. Нет, по части созидательной Белелюбский превзошел Македонского более, чем хронологически, да и пользы людям доставил куда больше, нежели двурогий завоеватель всеми своими победами. Что тут было: счастливый случай? гениальный прогноз? противостояние планет? - недосуг думать. Я многожды видел реку и мост, и знаю, что это - седло, которое один-единственный раз удалось набросить на бешеную, необъезженную, необузданную кобылицу по кличке Аму-Дарья.

Рассказывают, что, когда мост заканчивали, один из опорных быков рухнул, и Белелюбский от огорчения не

то застрелился, не то повесился, не то еще что-то такое. Враньё, конечно. Просто: публика, любя сладенькое с кисленьким, привыкла клеить всему значительному какую-либо трагическую аппликацию, как будто не достаточно трагична судьба умнейшего человека полной своей безвестностью и абсолютным забвением имени-отчества. А мост, между прочим, стоит до сих пор и котируется... дай Бог нынешним так прочно стоять и так высоко цениться, только не по курсу городов и весей, а в пересчёте на звонкую монету.

Но публике не втемяшишь, что надо любить и чего не надо, и народ, как единое целое, познаёт себя исключительно редко, а именно, в моменты крайних бедствий, таких, к примеру, как наводнение. Едва в селе Фараб вода на улицах поднялась до колена, жители, приняв катастрофу за благо, кинулись грабить магазины и склады. Награбленное добро тащили домой уже по пояс в воде. А когда, наконец, притащили и стали искать место, куда спрятать, нигде такого места не было: вода подпирала к ноздрям. Начальство тоже вело себя без предубеждений и паники. Первый телефонный “сос” прозвенел не раньше, чем ишакам и детям стало не хватать собственного роста, чтобы держать голову над зеркалом водяной поверхности. Кстати же, надо отдать должное прессе, а журналисты - народ смиренный, тише воды, ниже травы, что им велят, то они и несут. Газеты отразили событие как бы единой статьёй “Урожаю быть”, где говорилось, что зоне поливного земледелия нынче Бог милости послал: воды, как никогда, и грядущий урожай предстает уже сейчас в самых благоприятных на него видах.

Чего ради я распространяюсь? А вот чего: этот самый мост немцы хотели в сорок третьем году взорвать. Конечно, в столь отдаленных от мировой мясорубки краях “хотели взорвать” звучит вроде того, что Гитлер хотел поката́ться на слоне, а так как кратчайший путь из Германии в Индию пролегает через Россию, то он вероломно на нас напал. Невероятность, - вот как это всё называется. Однако впереди столько невероятного, что я не на шутку боюсь, как бы мне не угодить в один ряд с Иваном Андреевичем, потакавшим публике баснями, потому что жанр - жанром, а правда - правдой, и я просил бы читателя не путать жизнь с оскорбительной для автора аллегорией.

II

Под Москвой Николая Петровича Ерышева ранило осколком в живот. В госпитале его кромсали, латали,

штопали, кроили, дотачивали, зашивали, потом опять резали и перешивали всё наново. Следы хирургической поножовщины так и остались ему на вечную память, и когда он заголял расписанное шрамами пузо, глядеть было больно, словно тебе самому нож в кишки воткнули. Из-за этого он никогда не ходил на пляж, чтобы людей не смущать, а впоследствии и в кино бросил ходить, но совсем по другой причине и гораздо позже, всего за несколько лет до того, как умер.

В тот раз он поправился. Даже больше того: был признан комиссией годным к боевой, строевой и политической и начал спокойно готовиться к отправке на передовую без страха, без надежд и совершенно без тех чувств, какие героям приписывают. О славе и подвигах он не мечтал, будучи по характеру человеком непритязательным, а думал, что, раз на фронт, значит надо, вот и всё. Боялся же он лишь одного, чтобы его вторично не стукнуло по тому самому месту, по животу, и молил судьбу, чтобы немец брал повыше, если уж на то пойдёт.

Нежданно-негаданно его откомандировали совсем в другую от войны сторону. В глушь. В затишье. В тёплый куток. В благодать, за которую кадровый интендант аттестата не пожалел бы. Благодать именовалась городом Куня-Ургенч в Туркмении и лежала на самой кромке Кара-Кумов, являясь районным центром весьма обширной, но пустынной местности. Городом этот грязный кишлак можно было считать только по старинке, раньше чем его развалили Чингиз-хан и Тимур, да и впечатлял он не погородскому, если бы не десяток древних зданий, - стоят нагло, крепко, красиво, вот-вот скажут: “А мы - город” или “А мы - культура”, а то еще “А мы раньше Москвы стали. И раньше Берлина тоже”. Зато в остальном всё было, как было: зной, лето, пыль, духота, базар, кривые тесные улицы, шелуху от семечек ветром раз в месяц метёт, узбеки, туркмены, казахи, каракалпаки, и все молчат, а из Европы одно начальство.

Но что ему перво-наперво в глаза бросилось: так это - много мужчин по всем статьям военнообязанных, то есть прямо-таки обязанных быть на войне, а не здесь, и все на вид важные, пловные, шашлычные, никто никуда не спешит... Кто же бы догадался, что этим солидным людям на роду написано всю послевоенную жизнь сопровождать Николая Петровича от даты к дате в качестве то депутатов, то делегатов, а ему придётся время от времени читать их кристальные жизнеописания: трудился на руководящей, ковал в тылу и прочие кузнечные аргументы, - кто

об этом сказать мог наперёд? Он знал, правда, что военком и начальник энкаведе влиятельнейшие и богатейшие в городке лица, но как-то не связывал одно с другим или плохо связывал, ненадолго, до победы, а затем, дескать, всем им жирный плов отрыжкой выйдет...

В обязанности капитана Ерышева входило держать на учёте подрастающих мальчиков, у которых не было перспективных родителей, и по исполнению восемнадцати лет рекрутировать таковых на защиту родины и Его, даже не так родины, как Его, от Коего всё зависело и там, и тут, и чёрт знает, где еще. Работа, вроде бы, терпимая: “обязаны явиться, ложка, миска, котелок, за неявку...” - и так далее, - сиди, подписывай, рассылай, с часу до трёх перерыв на обед. Но почта функционирует вкруговую; похоронки доходят, повестки до одной возвращаются в военкомат, будто Ерышев их сам себе выписывает, а телефона в пустыню не провели, обратиться не к кому. Состояло у него под началом несколько допризывников, - разбитные ребята, из городских, на все вопросы отвечают “Знаешь!”, но спросу с них - не дальше городской черты. Поневоле складывалось так, что всё надо было самому.

Площадью район едва ли уступал Дании, Бельгии или Голландии, а количеством раздолья на отдельную живую душу крупно их превосходил. Николай же Петрович вместо того, чтобы гордиться данным превосходством, чувствовал себя, как на разорванной улице, пребывая в постоянных экспедициях по отлову рекрутов. Трудности в комплексе выглядели так: туркмены тогда еще не отвыкли кочевать - раз, не хотели воевать - два, держали боеспособный молодняк вместе с овцами на дальних отгонах - три, то и дело проявляли экстерриториальность и уходили со скотиной в соседние районы, а Кара-Кумы - пустыня внушительная, всё равно, что Европа-Север плюс Европа-Центр, если сравнивать, одно слово - паронама, как говорил военком Мирошниченко.

Чем он, собственно, и занимался. Круглый год. От призыва к призыву. Повестки наловчился заготавливать впрок. Кой-кого он так и не увидел в глаза до парада победы, но многих настиг и призвал под ружьё, так что неизвестно, кто кому больше обязан, капитан Ерышев родине или она ему. Он и досадовал, и удивлялся: их стоило лишь найти, вручить повестку, намекнуть на закон военного положения - и они являлись, не пробуя дальше скрываться: покорные, тупые, точно загодя расстрелянные. Капитан и без того знал, что перехлопают их там ра-

ныше времени и больше всех, и ему их жалко было. Кроме того, они были симпатичны наивным фатализмом и устной обязательностью: да - да, нет - значит, хоть убей, ничего не добьёшься. Впрочем, это уже относилось к этнографии, потому что на вопрос, чем отличаются туркмены от прочих меньшинств, Николай Петрович отвечал, что прочие меньшинства соврут и недорого возьмут, а туркмены - нет, предпочитая вранью воровство.

Географию сезонных переселений и выпасов капитан освоил не слезая с лошади. Ездить верхом тоже выучился по нужде не хуже номадов и седло выбрал туркменское, развалистое, потому что оно не так сильно колченожило, как русская “лодочка”, и в нем удобнее было дремать минутным птичьим сном, когда совсем невмоготу. А язык оказался приемлемым на слух и податливым до чужих; год спустя Николай Петрович был убеждён, что владеет им совершенно, тогда как фактически его устные познания шли не дальше глагольного императива - самой краткой и убедительной формой общения властей с народом во все времена. Загоняв до непригодности пару карабаиров, капитан Ерышев или “рус кафтан”, как его туркмены звали, очутился при деле.

Лошадь выдерживала сезон, человек - больше. Швы ему в госпитале накладывали, верно, сапожной дратвой и цыганской иглой, поскольку они у него не разошлись, и он, теряясь после в догадках, ничем не мог оправдать сверхъестественное состояние своего здоровья тех лет. После третьей лошади Николай Петрович возмечтал о фронтовых друзьях, которым в окопах под пулями и горя мало, и домечтался до рапорта об отправке на фронт его самого. Ответ пришел в краткой резолюции наперекосьяк листа: “Отказать по существу рапорта”. Он еще написал. Его приструнили построже, а заодно вычеркнули из списков представленных к наградам. Он снова подал и получил из Ташкента нагоняй с угрозой задержать производство в чин. Тогда он стал клянчить себе в помощь какого-нибудь несчастного лейтенантишку из увечных, но чекист Шилов провёл с ним воспитательную беседу по теме “Идёт война народная и - чтоб это было последний раз”. Больше капитан уже ничего никогда не просил.

Итак, воевать туркмены не хотели, но говорить об этом напрямик нельзя, лучше сказать, что они умирать не хотели, а “рус кафтан” заставлял их это делать против воли, за что и стяжал в округе лихую славу так же моментально, как петлицы на погоны сменил. Его знали по молве и в лицо, от него шарахались врассыпную и сторо-

жились пуще почтальона: тот был вестником случившегося, а Николай Петрович - предвестником, а кто зловедней, догадаться нетрудно. Называли его по-всякому: канун скорби, гонец печали, вербовщик мёртвых, чёрная птица беды... Древний гортанный язык очень красиво и точно передавал то, чем он занимался: обездоливал, сиротил, вдовил и разбойничал на самых законных основаниях.

Для начала кто-то ему сунул гюрзу в седельную сумку, но на его счастье гадина не стала ждать, пока человек полезет к ней здороваться, и, не выдержав тряской езды, выползла, соскользнув жгутом по сапогу наземь, а он ее проводил бесстрастным взглядом. В другой раз, - он уже вручил повестки и взял у будущих гвардейцев автографы, когда старый туркмен сказал ему: - “Пора умирать, беглёр”. Николай Петрович подумал, что старик о себе говорит или горько шутит, тогда как тот и не собирался шутить, а молодцовски ткнул Николая Петровича в бок, и вербовщик, прыгнув в сторону, почувствовал, как лезвие сыграло ему по рёбрам, точно палка по штaketу. Конечно, туркмен от преклонного возраста был слабее ребёнка, и капитан мигом выкрутил у него нож и закинул. Потом гонец скорби мылся, шпаклевался и обматывался, молчаливо презирая мстителя, который, сидя на закорках, разглядывал исполосованную шрамами капитанскую брюшину и плакал. Гость отквитал хозяину тем, что вышел из кибитки не простившись, и старик униженно поковылял за ним вслед и скулил у стремени, как побитая собака.

За недосугом и тоской Николай Петрович ни с кем не посмеялся над своими забавными приключениями, пока война не прошла, а других приключений, подобных этим, с ним не случилось. Возможно, что его дальнейшее сравнительное благополучие проистекало из русского фатализма, - “Так надо” и “Ничего не поделаешь”, а это почти одно и то же, что туркменское “Иншалла!”, - “Если захочет Бог!” По-видимому, Бог захотел, чтобы джигита Ерышева оставили в покое, и внушил местным правоверным жителям через старого туркмена некоторое почтение к его недорезанной особе, но не исключена вероятность и благотворного климатического воздействия, потому что к той зарубке, которой можно теперь пометить полвойны, “рус кафтану” для полного сходства с азиатами не хватало только обрезания, а в остальном это был прирождённый сын пустыни и саксаула: обугленное лицо, выдающиеся от худобы скулы, хитрые от щедрого солнца глаза, длинно обозначенные ноги, постоянно спадающие га-

лифе и резко подавшийся вперёд корпус, выявлявший привычку рвать с места в карьер при любой погоде. Кое-что от прежней модели осталось в нем навек, и порой он был здорово похож на собаку, взявшую след, и на лошадь, прядящую ушами...

Военкоматом правил подполковник Мирошниченко. Этот военачальник ничего собой особенного не представлял, если не считать, что был он первейший взяточник и зажиточнейший гражданин. В штаб-офицеры он выбился еще до войны, прошагав марш-марш от одного кубика к трём шпалам, когда вакансий было полно: одного вверху пришлѣпнут, десятерым внизу очередное звание светит. Вот и он поднялся и дожидался теперь полковника, а сам, как раньше вместо “панорамы” говорил “паронама”, так и продолжал. При мало-мальски разумной постановке общественных дел ему бы и писарем не быть, но при неразумной он, что называется, казнил и миловал по усмотрению, хотя о многом с него грех было спрашивать, - шибко человек головой хромал. Интересно, что, чем плоше складывалось положение на фронтах, тем больше у него находилось времени писать книгу “Двадцать лет в строю”, приурочивая ее то ли к победе, то ли к поражению, то ли к чему-то среднему между этими двумя крайностями.

Еще один - старший лейтенант Нестерук. У него свои заботы: спецотдел, связь, язва желудка, учёт, домашние скандалы, совещания, где кому-то надо присутствовать. Словом, погоня в военкомате носили трое, а остальные, гражданские, были либо женщинами, либо калеками, вроде конюха.

Немцы как раз что-то под Курском злоумышляли, а у Николая Петровича выдалась редкая неделя, когда не надо было никуда ехать. В один из таких дней он сидел в неприбранном своем кабинете и наливался зелёным чаем, подгоняя температуру организма к температуре воздуха, как вдруг дверь открылась и вошли трое чужих: солдат, сержант и лейтенант. С оружием. У каждого вещмешок, - они их молча в угол сложили. Переглянулись. Лейтенант подошел к николай-петровичеву столу и, безотрывно глядя на чайник, доложил:

- Товарищ капитан! Группа немецко-фашистских диверсантов в количестве трёх человек прибыла в ваше распоряжение для сдачи в плен и задержания. -

Пистолет он тут же после доклада снял вместе с портупеей и положил на стол. Двое других тоже завозились, капитулируя. Все трое капитану показались какими-то металлическими...

III

Ну, парень, думаю, это ты не по адресу. Видал я штуки почище, а тут тебе не у Пронькиных. Прошлый год, я тогда только-только заступил, тоже пришли двое. В штатском, правда. Не то геологи, не то еще кто, но, в общем, поисковые какие-то, я не вникал. Из самого что ни есть песочка. Четверо там остались, двое выбрались не в своем уме. Кантату о Сталине по нотам плясали. “Дирижёры мы, - говорят, - имени Пятницкого”. После нас по всему Куня дирижировали, пока не повязали. Перегрелись там. Размягчение мозгов. Запросто. Особенно, когда воды нет. Плавится голова, - понимаешь? Человеку в такие моменты сдаётся, будто он или - генерал-майор, или инженер-самоучка. Со мной самим раза два чуть-чуть не того... Интересно знать, кем бы я тогда был, маршалом или главбухом?..

Те были дирижёры, думаю, эти - диверсанты, - один чёрт. В военкомате - дело послеобеднее - как всегда, ни души, ни лялечки, одна жара. Трофеи я сразу от них, на случай, подальше, потому, - раздеваться если догола начнут - пускай, а салют откроют из всех видов - это хуже, я малосемейный, но против. Ну и осторожность, ясно. Я с ними под эту дудку: “Да брось ты, - говорю. - Садись. Садись, ребята. Все мы, - говорю, - тут такие: кто шпион, кто диверсант, кто папе своему дедушка”. “Беломору” нет, “Маяк” получали, выложил пачку - закуривай. Примус подкачал чаю ради. С оглядкой, конечно, на сто восемьдесят, чтоб без баловства.

Лейтенант документы собрал, подаёт. Беру. Посмотрел, полистал, почитал всякие там “предписывается”, “удостоверяется” и так дальше. “Порядок, - говорю, - тёзка. Завтра с утра будет старлей Нестерук, - отметит. А пока отдохайте, хоть на конюшне, там сено, я конюху скажу, хоть в доме колхозника с блохами”. “Какой, - говорит, - порядок, когда всё это - филькина грамота? Документы - липа, фамилии - липа, и никакой я тебе не тёзка. Давай, - говорит, - пиши, а я диктовать буду: кто, зачем, при каких обстоятельствах - всё подробно”. Они настоящие фамилии называли, да я их забыл, не моё дело.

Знаю только, что солдат, щупленький такой шибздик, с одной сопلي перешибёшь, он у них был радист и казначей. Собой пацан-пацаном, а лысый, потому, говорит, что от вибрации волосы повылезли. Он на фанерном бомбовозе задом наперёд летал - стрелок-радист. Так этот радист свою собственную фамилию забыл и пользовался липовой за родную. Бомбовоз сбили с самого начала, да

он еще, когда падал, разломался: хвост отдельно пошел в болото, а из хвоста этот самый, стрелок ворошиловский, высыпался. “Немцы, - говорит, - наблюдали, чуть со смеху не сдохли. Ни синяка, ни царапины, ничего, лишь в грязи весь и фамилию забыл”, - ну? Я узнавал для интереса. Оказывается, бывает. Всё человек помнит, одну фамилию нет, - ну, не чудак? И не вспомнит, хоть ты ему что, пока знакомый не попадётся или однофамилец.

Оно при такой ситуации, конечно, и от ума отойти недолго, - это понятно. Не то, что фамилию, биографию забудешь. И повезло одно к одному, что в расположение немцев свалился; наши особисты с бесфамильцем чикаться бы долго не стали. С другой стороны, как жить без названия? Всё одно, что без штан, даже сравнивать нечего. Тут уж какая есть, такую и давай, и за то спасибо. Но это я теперь объясняю, а тогда он мне говорит: “В лагере был под номером, фамилию в школе присвоили, а своей не помню, забыл”. По разговору тамбовец или рязанщина, что-то, в общем, такое.

Ясно, думаю. Все с приветом. Как один. Сейчас еще сержант скажет, что на гитлеровской дочке женат и - полный ажур. Тот, правда, помалкивает. Серьёзный такой сибирячок и в кости - дай Боже. Он у них по квалификации за взрывника полагался как специалист этого дела. Нет, - говорю, - лейтенант. Всё это голословно, без доказательств, никак не могу помочь, а верить за здорово живёшь - не обязан. Если б доказательства, - говорю, - тогда еще куда ни шло, а просто так, “Здравствуйте, мы - шпионы”, это - я извиняюсь. “Так вам, - говорит, - что, доказательства требуются?” И сержанту: “А ну, давай, - говорит, - выкладывай доказательства”. Тот на своём сидоре, значит, очкур дёрнул, да ка-ак сыпанёт по столу...

Етит-твою карусель! Первый и последний раз живой миллион видел. Деньги, они тогда хоть и дешевые были, а всё ж таки. Сотни, сотни, сотни, пачками, новые, аж хрустят. Не поверил. Самодельные, думаю. Было дело, подполковник Вашура из милиции мне раньше показывал одну такую. Тоже сотенная, новая, с хрустом. Я смотрел, смотрел, ну, настоящие деньги, как ни крути. А он говорит: “Ты внизу почитай”. Я прочитал. Там, где должно напечатано буквами “сто рублей” на братских языках, идёт, значит, так: “Если ты форменная блядь, то дай мне сдачи с этой грубой фальши”, а дальше уже совсем загнута в мать, в перемать и в министра финансов. Только этим и отличались, а больше ничем.

Ну, не поверил и не поверил. “Поддельные, - говорю,

- давай забирай, складывай обратно безо всяких-яких”. Сержант встает есибриячок: “Никак нет, товарищ капитан, - говорит, - настоящие. Нам, - говорит, - они не на дорогу дадены, а на серьёзное мероприятие, месяца так на полтора-два. Чтoб следов не было. Конечно, - говорит, - если б мы сегодня - тут, завтра - там, тогда можно хоть какие, а так - нет. Приехали мы. Гарантия успеха, спросите в Госбанке”. “Это, - я говорю, - не доказательство”. Глупо, конечно. А что еще? Ну, арестуй я их, пятое-десятое, мне завтра скажут: “Указаний не было. Не согласовано. Не разработано. Вовремя не доложено. Самодеятельность”, а наша руководящая кобылка, если ты поперёк встряёшь, так может лягнуть, что - вечная память героям Отечественной войны. И потом, - ненормальные все-таки, чокнутые. Кто, где и когда видел шпионов, чтобы сами напрашивались? Вот и я им говорю: “Это еще не доказательство”.

Лейтенант выше себя подскочил: “Ага! Не доказательство! А что доказательство? Мост взорвать?” “Какой еще мост?” - спрашиваю. “Такой, - отвечает. - Который железнодорожный через Аму-Дарью. Взорвём - поверят? Нас на то и посылали”. “А ты, - говорю, - испробуй. Так тебя туда и пустили. Там охрана - будь здоров”. Смотрю, ржёт лейтенант, как мой маштак, безо всякой субординации. “Опупели вы тут все, - говорит. - За два года войны не образумились, мудаки сверхбдительные. Шпионы, по-вашему, вроде тех, что в кино, и ноги у них к попе тоньше. Нам на мосту чего делать? К ветке выйти и - считай, накрылся твой мост посерёдке на длину товарняка, - понял? Дурной работы потом будет для комсомольцев лет на сколько восстанавливать”. Понимаешь, вот же чувствую, что точно шпион; рассуждает - крыть нечем, а пере-силить себя не могу, не верю - и всё. Зло взяло. Схватил я железяки ихние, сгрохал всё разом на стол. “А ну, разбирай, - говорю, - где чьё. Не буду арестовывать. Сказал, не буду, и не буду”.

Они на попятный. Деваться-то некуда. “Товарищ капитан, не горячитесь” и всё такое. Отошел малость, спокойней им растолковал. “Понимаешь, - говорю, - не могу. Не в компетенции. Не имею права. Не уполномочен. К подполковнику Мирошниченко обращайтесь. Завтра с утра. Ночевать - ночуйте. Базар под боком. Чайхана...” и прочее. Про дела вспомнил: “В песках были?” “Были”. “Встречали кого?” “Встречали”. “Где?” Лейтенант карту развернул, я только рот раззявил и вроде бы засомневался: уж больно карта толковая, сразу подозрение, что не

наша. “Махнёмся?” “Не могу. Вещественность как-никак”. “Немецкая?” “Немецкая”. Точно. Майор из смерша мне потом еще одну приметку показал: скрепки в документах не ржавеют, значит, первый признак - фальшивые. А в наших документах скрепки ржавеют.

Повезло им крупнейше, на заказ. Здешний казах Кинсаролды, колдун и полоумный, всё напополам, - он их встретил. В такие пески, кроме него, мало кто забирается, боятся, а он ходит с отарой. Овцы справные, в теле, песок они, что ли, у него жрут? Сам до ста считать не умеет, тёмный вообще, а другого такого поискать: где кто пасёт, где вода, какая будет погода или когда зима к холодам повернёт... Справочное бюро, а не казах. У меня с ним был случай. Двое говорят: видели тогда-то, там-то. Сверил, - что за чёрт? - видели его, выходит, в один день, только в разных местах, одно от другого, почитай, километров триста.

Он меня не любил за то, что сына мобилизовали, а сын у него тоже чабан. Чабанов брали под гребёнку. Неправильно. Чабан, он на своем месте дорого стоит. А пошли его воевать - грамоты у него только расписаться, остальное - сено-солома, какой из него толк? По моему смыслу, им бы всем - бронь, а тех, кто до конца войны хером груши околачивал, тех подчистую, без жалбы надо было сразу... Короче, этот самый Кинсаролды их и выручил. Они уже совсем сухие были, губы облизать нечем, он их отпоил...

Я тогда еще в холостяках ходил, потому - пробурлаковал до войны, а потом жениться часу не было. С одной кореечкой жил. Баба - не надо лучше. Ласковая, работающая и ни грамма хитрости, а мужику что еще надо, как не это самое. Беда, детей не носила, а то бы я с ней так и остался. Домой пришел, спать положились - не могу заснуть, хоть глаза выколи, сам замучился и ее замучил. Подумаю: а что, как шпионы? - так меня сразу и прошибает, весь лежу в мыле, сон чёрт-те куда девается, на бочках за ночь мозоли натёр. Блазнится, понимаешь, будто они уже к мосту подъехали. От нас к нему вёрст пятьсот с гаком, но всё равно, будто и нет никаких этих гаков и они уже там шуруют всюю. Ни разу в жизни не спал, как тогда. Лежу и всё время думаю, как передовик производства: скорей бы утро да на работу. Утром прихожу, смотрю, - все трое на месте. Сидят умытые, подполковника дожидаются. Так у меня от сердца и отлегло...

Мирошниченко еще дурей меня, он справку у них затребовал; если они на самом деле те, за кого себя выда-

ют, то у них должна быть строго секретная справка, которая дана, мол, настоящая в том, что такие-сякие действительно являются... И подпись чтобы. Геббельс там или Риббентроп - неважно, лишь бы разборчиво и с печатью. Те ему объясняют, что справки такой у них нет, а есть деньги, но подполковник упёрся на своем: деньги - деньгами, а справка отдельно. Толковали они с ним толковали, чуть не до обеда проваландались, ни до чего не дотолковались, насилу добились сообщить о них в округ, кому следует, что, мол, шпионы вторые сутки ошиваются, не хотят объект идти рвать, паразиты, сами без дела и другим работать мешают. Мирошниченко им так и сказал: "Я как член партии официально заявляю..." Привычка у него такая была: чуть что, так сразу и "член партии" и "официально", и всё такое, себе цену набить. "...Если б вы были дезертиры, мы бы вас задержали, но так как вы не дезертиры, то задерживать вас не наша хвункция, обращайтесь в милицию". Это мне лейтенант потом рассказывал... Не успели они с порога, как военком Нестерука вызвал и меня: ему приказал подчистить документацию на случай внезапной проверки, а мне сказал, чтоб никуда не отлучался, пока не выяснят, потому что, не исключено, и дезертиры, а на слово верить нельзя, пусть с ними Вашура разбирается, подождём.

К подполковнику Вашуре эти трое в тот день не пробились. Там во всём городе порядок заведен такой был: если ты с утра начальство не застал, приходи завтра пораньше, а сегодня иди домой, потому - у начальства без тебя дел хватает. Так что, пока эти с военкомом рассусоливали, подполковник Вашура дал своим энкеведистам ценные указания и подался, может, по бабам, может, на плов - одно другому не мешает. В общем, попали они к нему на другой день лишь. И вообще, у них приходилось по одному только учреждению на день, больше не успевали.

Являются утречком. Вашура уже в курсе, - ему Мирошниченко позвонил построжее с ними. А Вашура - тоже хохол, но культурный и не строгий. "Вольно, отставить, здравствуйте, товарищи, слышал, слышал, проходите, присаживайтесь, как жизнь молодая..." Разговор. Сам сидит, слушает, пальцами по столу выбивает, задаёт вежливые вопросы, а в конце говорит: "Очень сожалею, товарищи, даже сочувствую, но помочь не могу, поймите меня правильно, тем более, что вы - диверсанты. Вот если б вы прошлый год к нам обратились, тогда вас арестовать - наша святая обязанность. А сейчас такими во-

просами у нас другая организация занимается. Эмгебе. Майор Шилов. Это - как отсюда выйти, сразу направо и..." И Мирошниченке сразу позвонил: "Есть подозрение, что замаскированные налётчики, взяли, если не кассу, то Госбанк, возможно, в соседней области, и теперь хотят сесть по суду за ограбление, чтоб на фронт не идти, поэтому надо обождать оттуда запрос, а пока понаблюдать, что они станут с этим капиталом делать".

Эмгебе тогда только наклюнулось: в центре - из министерства, на местах - из милиции, а конкретно, у нас, внутренние дела - Вашура, госбезопасность - Шилов. Они как раз между собой выясняли, кому кто из них подчиняться должен. Вашура, вроде, постарше званием, к тому же Шилов у него раньше в замах ходил. Но Шилов, как отделился, про это самое стих составил:

Ты - подполковник, я - майор,

А на тебя кладу прибор.

Что клал, то клал. Другой, правда, тоже не давал спуска, но общественность чувствовала, что Шилов главней, и подчинялась. Насчет старшинства они так до самой до победы и спорили, пока их в разные места на повышение не разогнали. Ненавидели друг друга как я не знаю кто, и не было на свете говна такого, чтобы один одному в обед не пожелал...

Пришли они в райэмгебе на четвёртые, выходит, сутки. Шилов уже знал, кто такие. Он с ними и разговаривать не стал. "Диверсанты?" "Так точно". "Ясно. Вы свободны. Можете идти". "Куда?" "Откуда пришли. Вас кто послал? Начальник милиции?" "Так точно". "Вот к нему и идите. И передайте так: дураков нет!"

У Шилова тогда дела поважней были. Тутушный какой-то аксакал на заём подписывался и ляпнул вроде того, что занимать занимают, а без отдачи. Старика, понятно, за шкуру и на дознание: где? что? когда? за сколько? Шилов самолично занимался. Выяснилось, что у деда этого до революции пять баранов было, и что родственник какой-то его из Ирана вышел лет двести назад, и что в колхоз дед не сразу поступил, и всё такое, а в общем, суду всё ясно: скрытый басмач и антисоветский элемент, червонец ему - хлоп! А он возьми и помри прямо на глазах. Неувязочка. Судили, судили, а присудили - глядь! - был человек, да весь вышел, пустое место, сажать некого. А дед как в воду глядел. Я иной раз облигации выниму, разложу и думаю: ну что мне с этими акциями делать? По наследству, что ли, пустить? Вот обдурили, так обдурили. Всех. Теперь, гляди, ждут не дождутся,

чтоб люди забыли про это и чтоб опять... а... без отдачи. Не-ет, мудрый, мудрый был старик...

А эти трое после Шилова стали ходить куда попало: в райком - так в райком, в райсовет - так в райсовет. Даже в комсомол обращались с заявлением: “мы, нижеподписавшиеся” и, в общем, “нашу просьбу просим не отказать”. Райком тогда против эмгебе - всё одно, что нынче парикмахерская, скажем, против ЦеКа. Секретарь, “местный кадыр”, сам фронта боялся и родственников берёг, а у любого местного родни всякой - рота, становись! - во сколько. Станет он, что ли, по-другому рассуждать, чем Шилов? Главная у секретаря задача - начальство обеспечить девчонками, у каких еще пыль с губ никто не сдувал. Об комсомоле не след и говорить: мощная организация - куда кто пошлёт.

Картина, скажу, не на каждый день: ходят по Куня-Ургенчу три вооруженных диверсанта, пороги обивают, Христом Богом просят, чтоб арестовали, и ни одна душа не хочет их пальцем трогать. На улицах пацаны им “Шпионлер, салам алейкум!” кричат, на базаре круг них спекулянты кучкуются, смотрят, как они урюк едят. Шилов думает, что Вашура над ним шутки шутит, Вашура думает, что - ход конём, воры, набиваются лихую годину в тёплом карцере переждать, а у Мирошниченки котелок надвое варит: не то они переодетые инспекторы, не то - дезертиры, значит, сперва надо уточнить. Что еще интересно, так это Нестерук, - он их на учёт поставил. “Гриня, - говорю, - что ты чудишь? Они же с твоими штампами теперь законно по всей Азии мотаться пойдут”. “Ничего, - говорит, - не могу. Документы в порядке, обязан. Мало какие басни они тут понарассказывают”.

Я боялся, чтоб они куда дёру не дали. Здорово боялся. Они, правда, что ни день без договора заходят вроде бы на глаза показаться. Зайдут - “Ну, как?” - что я им скажу? Вижу, что не трепяся, толковые ребята, симпатия есть у них какая-то. А я им не то что помочь, - спросить боюсь; приплюсуют потом сообщничество и - поминай, что Ерышевым звали. Слушаю, что сами расскажут. Раз мне взрывник говорит: “А что, товарищ капитан, ежели в самделе к ветке пробиваться, к мосту. На попутных суток за двое доберёмся. Нас там, глядишь, скорей арестуют”. “Что вы, - говорю, - ребята, за пятьсот вёрст киселя хлебать. Погодите маленько. И здесь арестуют, - чего ходить? Не всё сразу, конечно. Недоразумения везде случаются. Да вы духом не падайте, добивайтесь своего, раз начали”.

Он же рассказывал, как в плен попал. Лежат они в пшенице вот-вот косить, батальон их или сколько, держат рубеж, а у самих - ни окопов, ни укрытий и вообще ни хрена, кроме соломы на корню. По цепи команда: немцы боятся рукопашного боя, в штыки, значит. Комбат, само собой: “Ура! Вперёд! За Ро...! За Ста...!” - на том и поперхнулся, немцы ему пулей глотку заткнули. Выкосили их там вместе с озимой пшеничкой; человек, может, полста целых осталось. Потом лагерь. Потом, у кого родственники на оккупированной местности, отпускать стали помалу. Подписку, значит, и топай на хауз, да больше не вой. А у него родственники за Иркутском, и жрать, как из пушки, - в концлагере какие харчи? Тут как раз в диверсионную школу стали записывать, он и записался. Такое обыкновенное дело - жрать охота. А у нас как? Умри, умри и еще раз умри, потому что страна требует и приказ такой вышел за номером... Етит-твою карусель, да что я - трёхжильный?.. Как оно там было в точности, - чёт, нечет? - не мне судить, а вижу, что вполне нормальный сержант человек при данных обстоятельствах и, я бы даже сказал, очень понятный. Остальные тоже люди, как мы с тобой, и, сказать честно, на их месте любой в своем уме точно бы так сделал, ей-бо...

Переключивали они из пустого в порожнее, переключивали, целая неделя у них - тью-тью, ну и, конечно, нервы не выдержали. Я к Нестеруку заскочил, не помню по что, слышу, кричат: “Перестреляю блядей!” По голосу - лейтенант. Я бегом к военкому. Залетаю, а мне радист автомат в пузо, я аж скорчился. “Что ж ты, - говорю, - делаешь, курва бесфамильная, у меня ж кишки на живой нитке. Пусти, дело керосином пахнет”. Если б я как по-другому, сделал бы он из меня ситечко за мое здоровье... А у лейтенанта “тэ-тэ” на взводе, еле успел ему локоть задрать, так он дважды в стену бабахнул. “Остынь, - говорю ему, - не глупи”. Он, правда, в момент отошел, успокоился. Ствол продул, в кобуру сунул, потом говорит Мирошниченке: “Ну, сука партийная, если сегодня не сообщишь в Ташкент, завтра - первая пуля. Коммунист. Я бы срать с тобой на одном поле не сел”. И понеслась. Чего он ему там только не наговорил, чего не наговорил!... Всю точку зрения, как есть, - на!

Военкома не признавать: серый сидит, как покойник, только губами шлёпает и, лопни глаза, из штанг прямо на пол течёт, - паронама, двадцать лет в строю, зассанец. По-людски, гнида, помереть боится, чтоб добро, значит, без хозяина осталось. И что мне особо непонятно, - этот

куркуль, оказывается, всё время запрос ждал из округа и не заикался пол-словом, пока в штаны не напустил. А лейтенант - отчаянная голова. Я тогда еще подумал, - долго не проживёт...

Посмотрел я на них. Один за одного. Но это еще ладно, а вот откуда у них у всех правильное мнение, - вопрос. Сидят в кабинете (я их от военкома к себе выпроводил) и Нестерук тоже тут, а радист говорит: "Ничего, - говорит, - товарищ лейтенант. Завтра мы с ними, как пить, разделаемся. Это же всё подстроено. Удивляюсь я, товарищ лейтенант, как вы с вашим образованием сразу не усекли. Тут же одни враги народа. Они же нарочно создают нам все условия, чтоб мы мосток на воздух пустили. Я, - говорит, - на другой день догадался". Понимаешь, куда дело повернулось? Мы им всю жизнь дурь в голову вбивали, немцы год или сколько на мозги капали, а они всё одно по-своему маракуют. "Дичь, - говорю ему, - порешь, хреновину с морковиной. Если у вас не всё сразу получилось, так и - враги народа? Какой-такой, к матери, из меня народу враг? Против кого второй фронт открываешь, дура? Сделал бы я тебе вибрацию, чтоб везде волосня пооблезла, - жалко, что не время. Вам же хочу помочь. Сейчас, - говорю, - топайте восвояси и отдыхайте пока без паники, а я, тем часом, попробую по-хорошему".

И - к военкому. Он еще не просох, но впустил. "Товарищ подполковник, - докладываю, - обстановочка. На нашем участке завтра намечаются бои местного значения. Противник начнёт с нас и будет двигаться по маршруту: раймилиция, эмгебе, райком и так дальше. Учитывая боевой дух неприятеля, а также его вооружённость до зубов, полагаю, что без подкрепления нам их будет не удержать. Предлагаю заранее сообщить в центр и просить подмогу". "Да, да, - говорит, - давай, Ерышев, крути, связывайся; приказываю. Скажи, - банда, немецко-хвашистская сыволочь, каратели... Пускай шлют взвод, а лучше - два, немедленно, сегодня, завтра поздно будет". "Смершу сообщать?" "Да, да, всем сообщи, всем. По тревоге. Диверсанты, шпионы, предатели... Всё взорвать хотят, всех уничтожить... Уже одна попытка была, так и скажи..."

Конечно, про перестрелку я не стал докладывать, и что военком рыбы наловил - тоже. Сказал, в основном, как было, и тут же ответ получил. Утром эти трое являются, как обещали, я сразу же лейтенанту: "Имею распоряжение вас арестовать". "Оружие сдать?" "А на кой оно

мне? Охранять вас всё равно некому. Сами себя охраняйте. По очереди. Следователь послезавтра будет”. “Ну, - смеются, - до послезавтра можно. Больше ждали”.

Я тогда уже с ними освоился и был без зазрения и безо всяких-яких, даже думал: вот бы кого из них себе в подмогу оставить. “А что, сержант, - взрывника спрашиваю, - рванул бы мост или не рванул бы?” “Как тебе сказать, - говорит. - Ежели честно, то не знаю. По обстановке. Ежели другого выхода нет. Лейтенант про это больше знает, мы ему в сложных делах верим. Конечно, я и сам не дурак, понимаю: строили-строили, год или больше, может, тыща человек от света до света вкалывали, а я пришел, заложил и в момент - как корова языком... Не-хорошо”. “А присяга как же? Или приказ?” “Присяга! По присяге я должен уже десять раз в земле сгнить, понял? А я до сих живой. Политрук наш тоже, бывало: “Помни присягу. Умри как один. Ни шагу назад. Живым в плен не сдаваться”, а сам потом у всех под ногами путался: “Ребята, не выдавайте”. “Да живи ты, - говорю, - кому ты нужен?” Меня из лагеря брали, он еще там был. Целый, живой. Мужик как мужик, только дурачком прикидывался. Вот и вся присяга. Или приказ. Мы когда в ихней школе на диверсантов учились, там тоже арапа заправляли: “Выполните приказ - будете жить на курорте в Швейцарии, свой дом и всё, что твоя душа желает”. Ну, скинули нас сюда, погрелись мы, позагорали, прикинули что почём, глядим, - выполнять нечего”. “Выходит, - говорю, - ты и своих наебал, и немцев?” “А то! - говорит. - С дураками свяжись... А с мостом такое: ушли мы на третью ночь с твоей конюшни в один дом ночевать. Древний такой, ни окон, ни дверей, всё повыбито, а - кирпичный, лет тыщу стоял, говорят, и при нас еще, гляди, лет двадцать простоит, ежели кирпичи с него не таскать... Что на отшибе, на пустыре, он там один такой, башня близко старинная, а кругом битый кирпич, - город, по-моему, был в старину. Знаешь?” “Знаю”. “Так вот: ложились мы потемну, а утром я проснулся, по-над собой глянул - глазам не поверил. Ребят побудил: глядите... Потолок там какой, видел?” “Ну, видел, - говорю. - Потолок как потолок, разрисованный только и круглый, как бульба”. “Долбоебы вы тут все, - говорит, - тёмные и не лечитесь. Раз-ри-со-о-ванный! Сходи еще раз глянь, может, поймёшь чего. Первый раз в жизни красоту видел такую. Больше не увижу, это точно. Красота, она тебе что? Ты ежели до нее дотронулся, то в говно тебя уже и на канате не затянешь... А ты говоришь: рванул... Нет, брат, не рва-

нул... А вообще-то, вас тут всех перевешать надо. Радист в точку попал: враги вы своего народа. Пускай, - думаете, - красота пропадёт, вроде сама по себе, а без нее лучше, потому - долбоебов растёт вон сколько, а нам только их и нужно. Грязищи кругом, говна всякого... И ни один гад не почешется прибрать, поберечь...”

Я потом ходил, уже после них. Хонака́ Турабекханым называется. Тыща, не тыща, а шестьсот лет стоит, как один год. Глянул я наверх, будто у сержанта глаза займы выпросил. Красота - етит-твою карусель! Неописуемо! Ни в Москве, ни в Ленинграде и близко ничего наподобие не видел, как в этом засратом Куня-Ургенче. Гляжу, аж в глазах свербит, и про того, кто потолок рисовал, думаю: что ж ты, чёрт полосатый, со мной вытворяешь? - одну душу вынул, другую поставил... Через то я, может, и рассказываю... Прав сержант, кругом прав, я его понимаю... Видишь ли, какое там дело: один раз ты туда глянул - жить захотел, другой раз глянул - про запас взял на всякий случай. Я б этот потолок показывал или перед смертью, чтоб не блажил человек, будто зря землю топтал, или для агитации тем, кто говорит, - жизнь, мол, пропащая, правды не добьёшься...

Напереживался я за них. Думаю, думаю: а что как пришлют вшивоту вроде Мирошниченки или Шилова? Он же их с одного погляда распишет на исполнение... И что бы ты думал? Нормальный мужик. Майор. Грубый, правда. Неразговорчивый. И рябой весь до страшноты. На груди, как у меня, нашивка - тяжелое ранение. “Где?” “Под Москвой. А вы?” “Тоже там”. Как он в “Смерш” затесался - не пойму. Это отдел такой в контрразведке, - “смерть шпионам” сокращённо. Ох и любят у нас глупые слова, ох и любят! Думают, если назовём вот так-то, сразу все шпионы в штаны, как Мирошниченко, напустят и передохнут, как мухи в осень. Хотя, с другой стороны, нельзя ведь, чтоб сто живоглотов на душу населения... Повезло, в общем. Человек попался всё-таки.

Побеседовал. Сперва с ними. Потом со мной. Потом с другими. Военком ему говорит: “Эта хвашистская сыволочь в меня до двух раз стреляла”. Майор говорит: “Вполне возможно. Удивляюсь, что не больше”. “Могли убить”. “Ну, потеря не особо какая”. “Партию оскорбляли”. “Показалось. У страха глаза большие”. “Прошу отметить хвактически”. “Если, - майор говорит, - фактически, то вас под трибунал в первую голову. Не советую распространяться”. Заткнулся подполковник, сучок, паронама... А со мной так: “Это ты мне говорил, а это не

говорил, потому - ребят под монастырь подводишь, а они не предатели, я предателей видел-перевидел, а эти не из таковых, что “пощадите, я всё скажу”, они еще воевать будут дай Бог каждому. Подпиши здесь и здесь”.

Лейтенант как в плен попал? Тоже из-за ничего. Дали ему пушек пару и приказ держать дорогу любой ценой, а что стрелять нечем - не имеет значения. Вроде панфиловцев: “Пойдут, хлопцы, танки, так вы их до последнего бутылками лупите, а другого ничего обеспечить вам не можем”. Вот и лейтенант, - сел на виду, курит. Мимо танки прут, немцы голые на броне физзарядку делают, “ляля-ля” кричат. Потом машина, офицерёе ихнее. “Почему не стреляли?” “Снарядов нет”. “О, гут, гут!” Еще бы не “гут”, етит-твою карусель! Я бы туда эту грузинскую морду поставил, чтоб он, сучий потрох, сам себя оборонял...

Майор лейтенанта спрашивает: “Возможность у вас была девяносто девять и девять. Почему не взорвали?” Тот отвечает: “Противно”. Одно слово, а всё объяснил, добавлять ничего не надо. Вот если б он по-идейному закрутил, насчёт морального духа, патриотизма, светлого будущего и прочей муры, тогда б, наверно, майор засомневался. И я тоже. А так - всё правильно. Съездили они на гетеэске (самоходка гусенично-тракторная) в пески на базу. Всё натурально, как есть, - диверсанты. Майор срочно с Ташкентом на связь. Что поднялось! Самолеты, штабники, войска, ну прямо передовую в тылу открыли. На мосту через Аму-Дарью охрану утроили, составы стали до моста выдерживать на случай мин с механизмом. Во всё живое приказ был стрелять без предупреждения, хоть в воде, хоть на суше. Это когда узнали, что их не трое было, а пятеро. Лейтенант об этом тоже докладывал, только его никто не хотел слушать...

IV

Людей было пятеро, а парашютов - семь, потому что на двух болтались контейнеры. Семь одуванчиков покачались без свидетелей в ночном небе Кара-Кумов и опустились точно там, где было раньше на карте пальцем ткнуто и карандашом помечено, или, как военные говорят, в заданном квадрате. Все пять без утайки собрались, как у себя, поскольку остерегаться было некого. Капитан разлил на пятерых французский коньяк; они выпили и заели шоколадом, сидя на тёплом песке. Пустыня приняла их ласково и мягко; еще падая они - - - -

ИЗ ЧЕРНОВИКОВ*

Капитан Федор Иванович Козин.

Передать звание и имя точнее, чем в документах, было нельзя.

Если бы дилетант взялся перелагать иностранные фамилии, то из “гауптмана Теодора Иоганна Хозе” он без усилий составил бы некоего капитана Федора Ивановича Козина...

Документы были оформлены именно так. Был в этом риск, но риск оправдывался абсурдом, исключавшим догадки о том, что капитан Козин Федор Иванович и гауптман Теодор Иоганн Хозе ничем решительно друг от друга не отличаются. Это было похоже на скверный затасканный анекдот, который переврали так правдоподобно, что он обрел свежесть новизны.

В группе, кроме него, было еще четверо. Покачавшись, как одуванчики, в тёмном прохладном небе, все благополучно воткнулись в тёплый детский песочек барханов и без особых промедлений собрались на огонёк. Радист Коля съехал с гребня песчаной горы, с удовольствием зарываясь руками по локоть в нагретый еще вчера песок и, отряхнувшись, сказал:

- Ишь ты, чёрт! Говорят: пустыня-пустыня. А она... Можно без парашюта.

- Это, Коля, тебе. У тебя опыт. А нам нельзя! Опасно. В особенности Петровичу, - отозвался капитан, раздавая папиросы. - Стропы-то не полопались, а, Петрович?

- Ничего, - с усилием ответил Петрович. - Обогнал всех, потому падал резво, а - ничего.

Капитан разлил коньяк и пошутил:

- С благополучным возвращением на родину, дорогие товарищи! - Он первым выпил коньяк, зажевал шоколадом и сплюнул. Коньяк был французский, шоколад лучший на свете голландский, слюна получилась тёмно-коричневая, пустыня была туркменская, а они, все пятеро, были самыми пошлыми, обыкновенными диверсантами.

Люди думают, что диверсанты народ особый: переговариваются не словами, а паролями, семизначными цифрами и движением бровей, носят красивые плащи и держат руки в карманах, стреляя друг в друга через каждые полчаса.

**Из черновиков рукописных, разрозненных, где имена и фамилии героев не раз меняются, а отдельные эпизоды повторяются в разных вариантах.*

Ничего подобного. Диверсанты вели обычные разговоры, которые никто не назвал бы таинственными, многозначительными и умными, да и сами они больше походили на рыбаков, собравшихся позоревать.

- Тихо здесь. И эха никакого. Непривычно, - задумчиво сказал лейтенант Черных.

- Привыкнем, - отозвался капитан. - Вон Ато и привыкать не нужно. Приехал человек! Сидит дома, плов ест и это, как его, пьет... Ато, что у вас пьют?

- Айран, - ответил туркмен.

- Вкусный?

Ато чмокнул языком и тихо засмеялся сквозь зубы. Ему хотелось домой. Тут было совсем близко. Капитан тоже засмеялся и тоже тихо, попадая в такт, как в шаг путнику.

- Домой пока не придется, дорогой. Не грусти. Вот закончим дело, возьмем да и отправим мамаше по почте тысяч пятьдесят, а?

- Если закончим, - вставил лейтенант зевая.

- Хандришь, Женя. Брось. Во всяком деле тысяча шансов. Ты даже не подозреваешь, как их много... Думаешь, они начальством учтены? Дудки...

.....

Если пустыню рассматривать на карте глазами генштабиста, то там плюнуть некуда - угодишь в колодец. Везде колодцы, и у каждого свое имя. Названия все - неизменяемые и все со смыслом, но смысл их трудно постижим издали, а вблизи, оказывается, другого названия и подобрать нельзя. Кому придет на ум, что в колодце Трёх Святителей воду находят только весной и осенью, в колодце Дохлого Верблюда вода отдает тухлятиной, в колодце Проходи-Скорей-Дальше воды вовсе не бывает, а искать колодец Хозрет-Хызра значит то же самое, что искать Землю Санникова: одни говорят, что такого источника вообще нет, другие голову прозакладывают, что он есть, вода в нем мягкая, хоть стирай, и холодная - в любую жару зубы ломит. До колодца Четыре Безгрешных Девственника было рукой подать. Расстояние вымеряли по карте - восемь с половиной километров.

Капитан велел Ато взять канистру и шпарить одна нога здесь, другая - там.

- Лаббай! - ответил туркмен.

Это было неожиданно и непривычно слышать. Все четверо вздрогнули и глянули на Ато, будто видели его впервые. Он, в самом деле, переменялся: сонная одурь

пропала, ноздри нервно расширились, взгляд сделался колючим и хищным.

- Ты что, на войну с фашизмом собрался? - спросил капитан. - Вы только гляньте на него, сейчас запоет: "Вставай, страна огромная"...

Все облегченно засмеялись, уж такой капитан шутник, что поискать. Другой бы за голову взялся. Хотя никто не знал, что такое "лаббай", все поняли: парень даст тягу при первой возможности.

- Пойдем вместе, найдем двести. Пусты козла в огород, - заговорил капитан...

.....

Они шли медленно, будто месили горячий песок, появляясь на гребнях барханов и опять пропадая, а за ними оставалось три борозды, похожие на лыжные следы. Разговаривать было больно. Как только во рту пропала клейковина, язык сделался сухим, и противная сушь входила в них всё глубже с каждым глотком раскалённого воздуха. Когда в глазах начинало рябить, они прикладывались к фляге. Глоток воды не доходил до желудка, но взгляд ясенел, опять виднелись дальние барханы и волновались в мареве дразнящие близкие озёра.

Каждый из них думал о чем-то, но думы их не были рассудочными, а скорее напоминали грёзы сладкого и тягостного сна, от которого не было охоты пробудиться. И еще одно: их призрачные видения были самостоятельны и удивительно при этом совпадали, как совпадают последние блики сознания замерзающих от холода людей.

Радисту Васе казалось, что он снова лежит в болоте, как два года назад, и нет никаких немцев, а кругом полно замечательной гнилой воды и прекрасной прохладной грязи, куда ему по-свиному хотелось зарыться по уши.

Лейтенант Юрасов крутил головой, будто пораженная вертячкой овца. Страшным усилием воли он гнал прочь наваждения умирающего разума, но они вновь и вновь возвращались. Он видел себя мальчиком, приехавшим в деревню поздней осенью. Листья на деревьях в саду уже облетели, но яблоки остались висеть точь-в-точь игрушки на ёлке. То жарко-красные, то прозрачно-восковые, они висели, сгибая ветки, огромные, как мячи, сплошь покрытые росными капельками стаявшего инея и дразнили прохладным непередаваемым ароматом. Ему было хорошо стоять в саду одному и чувствовать холодок, пробившийся под сатиновую рубашку.

Минёр Петрович был покрепче и поздоровее. Его крестьянская природа, превозмогавшая до сих пор всё на

свете, противилась иссушающей мозг и тело жажде. Грёзу у него не было. Это было бы даже смешно: минёр Петрович и вдруг - грёзы. Хотелось пить что угодно: воду, квас, молоко. Он терялся от мучительного желания пить что-нибудь, и его грёзы были похожи на воспоминания, среди которых больше всего то, что по душе. Он не грезил, а вспоминал, что в погребе дома всегда стояли кринки с холодным как лёд молоком, в сенях дёжка с кислым квасом, а его Настасья, молодая и крепкая, несла от колодца воду. В каждом ее движении было что-то лебединое, упругая стать так и играла под коромыслом, а вёдра, полные до краёв, не плескались, потому что в каждом ведре было по солнцу.

Пополудни третьего дня они увидели мираж, но не поверили, что это правда. Прямо неподалёку возникла целая улица пятиэтажных домов и тополияная аллея. В мираж даже впервые не поверили, потому что улица среди бела дня была безлюдна и мертва, а здания и деревья висели, незаземлённые, над пустыней и просвечивались пустотой.

- Мираж, - сказал лейтенант хриплым шёпотом. Радист Вася испуганно посмотрел на командира, а минёр Петрович махнул рукой и, как коренник загнанной тройки, тяжело двинулся дальше.

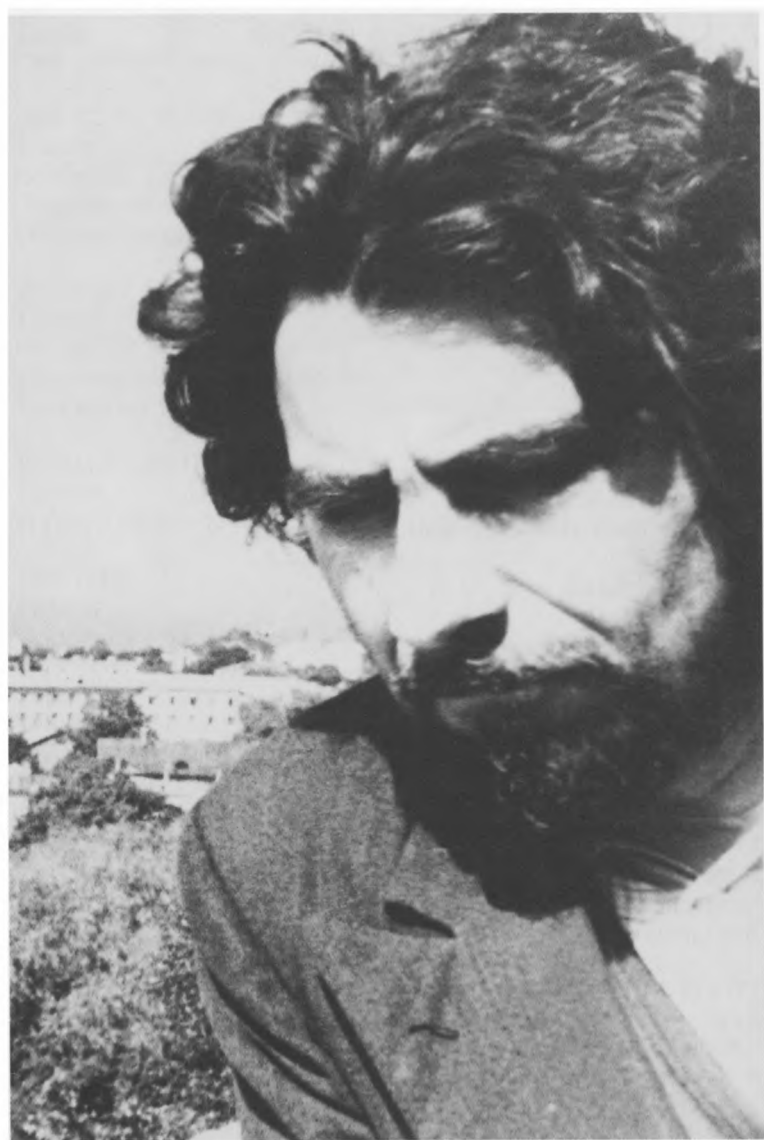
Вскоре случилась беда: радист Вася вдруг остановился и запел. Песня была не песня, а чёрт знает что: бестолковые путаные слова сопровождались бессмысленной жестикуляцией, и спутники на мгновение почувствовали дикий жуткий страх. А в следующее мгновение минёр Петрович с гипнотической медлительностью подошел к певцу и открытой ладонью лениво ударил его по шее. Вася ткнулся носом в песок, полежал ничком и сел с видом человека, которого только что разбудили.

- Ну, будет, Вася, пошли, - сказал Петрович как ни в чем не бывало.

- Надо идти, Вася, - громко прошептал лейтенант. - Троице надо дойти. Двоим веры нет.

- Дойдем, - сказал Петрович.

Утром четвертого дня им повезло. Они убили варана. Со второй пули лейтенант разворотил голову громадной ящерице, а Петрович тут же вспорол тесаком жесткую...



Содержание

ПИСЬМА К ИНГРИД

I

1972 (16.10)	
Хива	
Я Вас помню.....	5
1973 (13.3 - 29.3)	
Бухара	
...Держу взаперти сюжеты и образы	
Деликатная змея,	
Бемоль и типографская краска.....	6
1973 (21.4 - 28.6)	
Бухара	
Поселись там, где поют	
А муки любви сильны? Сон о Шекспире	
Если умеешь ждать...	
Да будут глаза твои светлыми.....	12
1973 (2.7 - 8.11)	
Бухара	
С кончика моего языка	
Генеалогия, послание Музы и завешание С.Н.	53
1974 (10.1 - 15.1)	
Ленинград	
Я забыл самого себя в городе Таллине.....	89
1974 (19.1 - 28.2)	
Хива	
Человек, не имеющий дома	
В сторону этого сада направит он свой путь.....	90
1974 (1.3 - 6.4)	
Хива	
Слышу крик совы: монотонный, как жалоба...	
В теплую темную ночь бесшумно лопнут почки.....	114
1974 (9-10.4)	
Хива - Ургенч	
Одна ночь и всего один день... так долго.....	129
1974 (13.5 - 10.6)	
Хива	
Жизнь еще и тем хороша, что на свете есть соловьи... ..	130

1974 (14.6 - 19.6)	
Бухара	
Кому надо, то узнает и в гробу.....	136
1974 (31.7)	
Таллин	
Твой возлюбленный, твой муж.....	138
1975 (22.9 - 18.12)	
Таллин	
Котельная душу из меня вынула...	
Странно себя чувствовал на берегу: чужим	
Сегодня писал ночью.....	139
1976 (7.8 - 20.8)	
Таллин	
Не хватает, во-первых, тебя,	
а во-вторых, сесть за рукопись...	
То к котлу, то к насосу, то к прибору.....	149
1979 (1.6 - 25.7)	
Таллин	
И сам я точь-в-точь коршун над степью.....	150
1980 (21.8)	
Таллин	
Просто люблю, как могу	152
1982 (15.4 - 2.6)	
Таллин	
Болезнь совершенно царская...	
Повесть висит буквально на крючке	
Влез я на Парнас и не слезаю.....	153
1982 (30.8 - 18.9)	
Бухара	
Мой лучший в жизни рассказ...	
Сбылось больше, чем не сбылось	158
1984 (27.1 - 1.02)	
Москва	
“Дед Борис! Не уходи!” -	
“О, моя юность! О, моя свежесть!”	161
1987 (19.5 - 23.6)	
Таллин	
Илья разговорчив без умолку...	
У котят начинают ушки темнеть.....	162

1989 (19.2 - 19.3)	
Пярну	
Море покрыто толстыми льдинами...	
В литературных делах повсеместное замешательство.....	164
1991 (26.5)	
Люксембург	
Как хорошо, что здесь нет ни коммунизма, ни советской власти.....	166
1994 (27.8)	
Пярну	
Закончил повесть на сорок страниц...	
Любви с удобствами не бывает	168
1996 (14.1 - 25.2)	
Пярну	
Радость: учебник испанского и чудные семейные фотографии...	
Рукописи мои не затерялись.....	170
Ингрид Майдре. Любить и быть любимым.....	172
Инес Майдре-Аарвиг. Космополит Советского Союза.....	187

II

Владимир Крячко. Отцовские тетради.....	193
Бухара. Минарет Калян	
Касыда	197
Усто.....	204
Учитель.....	211
Турист по имени Чингиз-хан.....	216
Случай, ставший легендой	225
Бобои-Парадуз.....	237
Город и люди.....	240
Александр Крячко. “Андрес Койт по соображениям безопасности...”	246

III

Экскурсия.....	261
Маленькие трагедии.....	289
Диверсанты	308

Издатель:
Eesti Kultuurikeskus Vene Entsüklopeedia (VE) -
Эстонский культурный центр “Русская энциклопедия”
Box 1016, Tallinn 10302
тел. 6 403 945
Nil.Vysgorod@mail.ee

Дорогой друг, Инур, здравствуйте.

Я напишу Ваши Season's Greetings



и с Вашей любовью, но
быть так же, как
серебряных. Ой, как бы
бы, где она присутствует
этим, а в Бухаре с ма-
гоза. Работало в газете
они правятся. Как-
о, а я люблю слова
их, и на слух, и на
вид, так что это как раз то, что мне надо.

Мало только, что в газете принимают
слова стандартные, в которых уже нет
ни смысла, ни даже смысла. Очень
Экспрессом почти не замечалось. Очень
мне только Лилу, но даже не знаете,
Инур, как плохо. Ну да что же делать.

Там у меня была замечательная змея,
очень воспитанная и хорошая. Но когда
я уезжал оттуда, уже она спала где-то
в море и там осталась. А собаку свою
я взял. У меня есть собака. Зовут - Белла
потому что она, как черная клавиша
среди белых. Вся она цвета вороньего
корма, а на груди - белоснежная блузка!
а лапы - в белых перчатках! На редкость
красивая собака. Там-тогда года тому назад